НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XXIV

НЬЮ-ЙОРК

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. 13 — 5-ая строка сверху напечатано: лечит; надо: лечить.

Стр. 228 — 1-2-ая строка сверху после слова «империализма» пропущено: Революционизирование этого тыла не может не подорвать империализма.

Стр. 230 — 18-ая строка снизу напечатано: злорадного; надо: злобного.

16-ая строка снизу слово «знание» должно было быть напечатано курсивом.

8-ая строка снизу после слова «деяния» пропущено: разнонациональных вождей коммунистического движения,

Стр. 233 — 5-ая строка сверху напечатано: или; надо и

Стр. 234 — 8-ая строка снизу напечатано: они так в этом успели: надо: он так в этом успел.

Стр. 236 — 12-ая строка снизу напечатано: Так; надо: Там.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XXIV

8-ой год издания

НЬЮ-ЙОРК

1950

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

От редакции 5

Евг. Замятин. — Атилла 7

Н. Берберова. — Мыс Бурь 71

СТИХИ:

Н. Белоцветова, А. Браиловского, А. Горской, М. Кригер, Г. Кузнецовой, Л. Страховского, М. Чехонина 145

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

З. Гиппиус. — Он и мы (о Д. С. Мережковском) 153

Б. Николаевский. — Новый поход против деревни в СССР..... 184

Н. Берберова. — М. О. Цетлин 209

С. Панина. — Памяти А. В. Жекулиной 214

М. Мабо.-Азовский. — Памяти М. М. Федорова 220

Ю. Иваск. — Н. Н. Белоцветов 225

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

А. Керенский. — Как это случилось? 228

В. Станкевич. — Homo Gaudens 239

Ю. Денике. — Новые источники и их критика 259

О. Анисимов. — Коммунизм и послевоенная Европа 273

БИБЛИОГРАФИЯ:

М. Карпович. — «Истоки» М. А. Алданова. — «Речи» В. А. Маклакова 286

М. Вишняк. — "The Election to the Russian Constituent Assembley of 1917" 289

В. Александрова. — «Юность» Б. К. Зайцева 295

Ю. Иваск. — «След Жизни» Д. Кленовского. — «Семь лет» В. Варшавского 298

К. Солнцев. — «Пляшущий Демон» А. М. Ремизова 299

В. К—ая. — Tamara Talbot Rice "Russian Art" 302

В пятую годовщину смерти Михаила Осиповича Цетлина, основателя и одного из первых редакторов «Нового Журнала», мы хотим принести его светлой памяти дань нашей душевной привязанности и признательности.

Не только имя его продолжает появляться на заглавном листе нашего издания. Он наложил печать своей личности и на самый дух «Нового Журнала».

Твердая непримиримость в тех случаях, когда дело шло об основных моральных ценностях, сочеталась в Михаиле Осиповиче с широкой терпимостью в отношении к различным общественно-политическим течениям, поскольку все они находились по эту сторону непереходимой для него границы между добром и злом.

Его не могли оставлять равнодушным исторические события нашей бурной эпохи, и он глубоко переживал и трагические судьбы нашей родины и повторные удары, наносимые делу международного мира. Но он знал и то, что не единым хлебом — и не единой политикой — жив будет человек; и никакие испытания, личные или общественные, не могли отвлечь его от служения вечным ценностям.

Так определился и характер нашего издания. На страницах его нет и не может быть места для отрицателей свободы и проповедников нетерпимости, как нет его и для сторонников соглашательства с ними, но в этих широких пределах журнал наш предоставляет своим сотрудникам полную возможность высказывать самые разнообразные общественно-политические, философские или эстетические взгляды.

Copyright 1950 by the New Review. All Rights Reserved.

Стремясь по мере наших сил и возможностей откликаться на политическую злобу дня, мы не хотим, однако, целиком уходить в злободневность, памятуя о том, что поддержание культурной традиции и признание автономии культуры является необходимым условием духовного здоровья — и одним из могущественных средств в борьбе против тоталитарного варварства.

Мы знаем, что на этих путях мы остаемся верны тому духу, в котором «Новый Журнал» был задуман его незабвенным основателем.

Вместе со всей русской эмигрантской общественностью, редакция «Нового Журнала» приветствует Ивана Алексеевича Бунина по случаю исполнившегося его восьмидесятилетия.

И. А. Бунин не только старейший, но и первый русский писатель нашего времени. Мы гордимся тем, что на страницах нашего журнала появился целый ряд его произведений.

О творчестве Бунина писалось уже много и многое еще будет написано. Почетное место в истории русской литературы ему твердо обеспечено. Он уже вошел в нее как один из классиков русской прозы и один из выдающихся русских поэтов.

Сейчас мы хотим только выразить И. А. Бунину чувство нашей благодарности за всё, что он дал русской литературе, и пожелать ему побольше сил, физических и духовных, для дальнейшего обогащения ее сокровищницы.

Редакция.

АТИЛЛА

(Трагедия в четырех действиях)

Над трагедией «Атилла» Е. И. Замятин работал около трех лет. Много времени ушло на изучение материалов эпохи. Было сделано несколько вариантов. Пьеса была закончена в 1928 году и была прочитана на заседании Художественного Совета Ленинградского Большого Драматического театра в присутствии представителей 18 ленинградских заводов (таково было тогда правило принятия пьес советскими театрами).

Пьеса получила «общественное одобрение», как «революционная и художественно-ценная, трагическая и насыщенная действием». Представители рабочих от некоторых заводов внесли в официальный протокол заседания более подробные заявления с весьма лестной оценкой пьесы.

Очень лестный отзыв о пьесе дал М. Горький, который писал, что он считает пьесу «высоко ценной и литературно и художественно» и что «героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней».

Пьеса была принята театром к постановке, была разрешена Главреперткомом и объявлена в репертуаре театра. Были заказаны декорации, начались репетиции.

Но затем все работы над пьесой неожиданно были приостановлены: пьеса, наполовину уже срепетированная, уже объявленная в афишах, была запрещена ленинградским Облитом.

Все попытки дирекции театра и самого автора апеллировать к высшим инстанциям в Москве — оказались безуспешными.

Позже Е. И. Замятин писал: «Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение».

Это вынудило автора принять решение о выезде за границу. Осуществить это намерение удалось благодаря содействию Горького.

За границей Е. И. Замятин продолжал работать над начатым еще в России романом из эпохи Аттиллы, довести до конца который ему помешала смерть.

Первая, законченная часть этого романа, была напечатана в посмертном сборнике в 1939 году под названием «Бич Божий».

Печатаемая ниже трагедия в печати никогда не появлялась. Это — тот самый текст ее, который был принят в 1928 году к постановке ленинградским Большим Драматическим театром.

Редакция.

ЛИЦА

АТИЛЛА, *владыка Великой Скифии.*

КЕРКА, его жена.

ИЛЬДЕГОНДА, *заложница Атиллы, дочь короля бургундов*

ВИГИЛА, *ее жених, один из послов Восточного Рима.*

СЕНАТОР МАКСИМИН
ПРИСК } *послы Восточного Рима.*

ОНОГОСТ
ЕДЕКОН
ИСЛА } *приближенные Атиллы.*

ЗЫРКОН, *шут Атиллы.*

АЭЦИЙ, *магистр римской пехоты и конницы.*

АННИАН, *епископ аврелианский.*

ГОУР
КАМЕЛЬ } *римские рабы в Аврелиане.*

МАРУЛЛ, *римский поэт.*

ДУЛЕБ, *оратай.*

ЯТВЯГ, *один из ближних кметей Атиллы.*

1-й КМЕТЬ.

2-й КМЕТЬ.

ПОСОЛ от ГИСПАНСКИХ ВАРВАРОВ.

ПОСОЛ от ГАЛЛОВ.

ГЛАШАТАЙ *Атиллы.*

ЧАШНИК *Атиллы.*

СКИФСКИЙ КОБЗАРЬ.

ГОТСКИЙ ЗИНГЕР.

ПЛЕННЫЙ ЕФИОП.

КМЕТИ и ВОИНЫ *Атиллы.*

БУРГУНДСКИЕ СОЛДАТЫ и РИМСКИЕ ВОИНЫ *(в Аврелиане).*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Палата во дворце Аттиллы: дерево, грубая резьба. На помосте, устланном звериными шкурами, скамья и сбоку другая пониже. У дверей, во внутренние покои — Старший Страж. Слышен звук римской трубы-буцины и ответный скифский рог.

СТАРШИЙ СТРАЖ *(прислушиваясь):*
Ао! Труба . . . *(1-му Стражу):* Зырчь, зырчь — живо!
1-й СТРАЖ. *(бежит, смотрит в окно, возвращается).*
К нам.
СТАРШИЙ СТРАЖ. Кто?
1-й СТРАЖ. Чужие.
СТАРШИЙ СТРАЖ. Вопи сюда наших — живо *(1-й Страж уходит).*
ЕДЕКОН. *(Входит. Старшему).* Ну, привез гостей к Атилле.
СТАРШИЙ СТРАЖ. Кого?
ЕДЕКОН. От Восточного Рима троих послов. Да еще бургунды пристряли к нам в дороге: ехали сюда же, везли Атилле заложницу — дочь их короля. Вот девка!
СТАРШИЙ СТРАЖ. Поглядим!
ЕДЕКОН. Зря будешь глядеть. Покуда мы ехали все вместе, так с нею уж успел снюхаться один из римлян — посол, какой помоложе. Вот к этому приглядись, да крепче!
СТАРШИЙ СТРАЖ. А что?
ЕДЕКОН. А то, что выйдет у нас такая потеха, какой никогда... *(замолкает, входят Вигила и Ильдегонда).*
СТАРШИЙ СТРАЖ. Чего стал?
ЕДЕКОН. Тише, он самый . . . и с ним — она. Идем туда — я там тебе доскажу . . . *(уходят во внутренние покои).*
ВИГИЛА *(Ильдегонде):*

Всё во сне, всё сейчас улетит, как дым,
ты останешься здесь у Атиллы, а я . . .
А я — *(останавливается).*

ИЛЬДЕГОНДА. А ты поедешь один — через степи,
по каким мы мчались с тобою вдвоем —
поедешь назад . . .

ВИГИЛА. Нет . . .

ИЛЬДЕГОНДА. Как нет? Что ты хочешь сказать?

ВИГИЛА *(молча смотрит на Ильдегонду. Потом):*
Ильдегонда моя . . . *(целует ее).* Прощай!

ИЛЬДЕГОНДА. Прощай?
Но ведь я через год к тебе вернусь,
Пусть варвар Атилла, пусть лютый волк —
не тронет заложницы даже он.

ВИГИЛА. Я знаю.

ИЛЬДЕГОНДА. Отчего же так горек твой поцелуй —
как будто прощаешься навек,
как будто смерть за углом стоит?
Скорее скажи, пока вдвоем.
Молчишь? Идут . . . Скажи!

ВИГИЛА. Нет!

(слышен грожкий — в нос — голос Приска. Входят Приск и Максимин).

ПРИСК. Вигила, дорогой — я уверен: всё, что рассказывают про гуннов — это ложь. Эти милые дикари так почтительны со мной, что, право, мне даже как-то неловко . . .

(из внутренних покоев быстро входят 1-й Страж и двое других.).

1-й СТРАЖ *(кидается к Приску, хватает его за шиворот):* Стой! Кто такие?

МАКСИМИН. Из Византии римские послы —
К Атилле. Понял? Дай дорогу!

1-й СТРАЖ. *(своим)* Ао! Сюда! Щупь их! *(стражи начинают обыскивать Вигилу).*

ВИГИЛА. Прочь, варвары, рабы . . .
Сперва пойдите грязь с клешней отмойте.

1-й и 2-й СТРАЖИ. А рррабы-ы? Мы рабы-ы? Аррчь . . . Аррчь его! *(с мечами на Вигилу).*

1-й СТРАЖ. Стой! Не порть им шкуру!

МАКСИМИН *(1-му Стражу)*.
Ты Едекона знаешь? Так пойди
Спроси его, кто мы такие?

1-й СТРАЖ. *(2-му и 3-му)*. Чуть что — сарычь в башку! *(уходит)*.

ПРИСК *(Максимину)*. Положись на меня! Я сейчас всё устрою . . . *(подойдя к стражам, начинает речь)*. Мои дорогие, многоуважаемые варвары!

2-й СТРАЖ. Что-о?

ПРИСК. То-есть, вообще . . . глубокоуважаемые . . . э-э-э . . . существа!

3-й СТРАЖ. Цыть! . . . На место!

ПРИСК. *(отходит поспешно. Максимину)*. Это . . . это они всё шутят . . . Я уверен!

МАКСИМИН. Позор! *(садится на скамью, опускает голову на руки)*.
Мы, римляне, должны терпеть всё это.
Как нищие ждать у его дверей,
чтобы дождаться . . . Чего? как знать?

ПРИСК. Но, дорогой Максимин, говорят Атилла сегодня в прекрасном расположении духа, я — тоже. Так что мы добьемся мира, мы спасем Рим — я уверен.

МАКСИМИН. Да, пожалуй, если мы пред ним —
мы, римляне, пред варваром, пред гуннoм,
перед Атиллой станем на колени . . .
Да и тогда . . .
он может гуннам крикнуть: — «стой» —
но время ведь и он не остановит.

ПРИСК. То есть, как это — время?

МАКСИМИН. Ты видишь, у меня трясутся руки,
глаза слезятся, рот беззубый — видишь?
Такие ж руки, рот, глаза — у Рима.
Рим стал старик, как я.
А варвары — от них воняет пóтом,

но их глаза и зубы — посмотри:
любой из них пихнет меня, как Рим,
и Рим, как я, — в куски.

ВИГИЛА. Нет, этого не будет! . . .

МАКСИМИН. Ты знаешь средство, чтоб лечит от смерти?

ВИГИЛА. Да, знаю: смерть.

(Отходит в сторону. К нему — Ильдегонда).

ИЛЬДЕГОНДА. Вигила, ты бледен? Твоя рука
в моей дрожит. Что задумал ты?
Быть может, могу я тебе помочь?
мои руки не так нежны, как твои,
не умею играть на лютне я —
но умею играть копьем, ножом . . .
Ты скажешь мне?

ВИГИЛА. Я должен молчать — я клятву дал.
Ты скоро увидишь всё сама.

(Входят Едекон, Старший и 1-й Страж. Старший отводит стражей от послов. У Едекона за поясом топор, в руках мешок с чем-то круглым).

ЕДЕКОН. *(Ильдегонде).* Эй, красотка, там во дворе твои бургунды ждут тебя. *(Ильдегонда выходит. Едекон — послам):* Ну, гости, привет вам от хозяев. Жить вам столько годов, сколько волос на голове у Максимина.

СТРАЖИ *(пальцем на лысину Максимина).* Га-га-га!

ЕДЕКОН. Ишшь! *(Стражи замолкают. Максимину).* Ты не гневись на них: как лисий, так они ваш римский дух не терпят. Я им сказал, чтобы носы зажали и отошли подальше.

СТРАЖИ. Га-га-га!

ПРИСК *(Максимину).* Вот видишь, я говорил тебе! Дух великого Рима должен победить — он победил.

(Максимин отмахивается от него, понурившись садится. Приск, пожав плечами, подходит к стражам, протягивает руку).

Дорогие, я ваш! . . . *(Никакого впечатления. Пожимает плечами, отходит).*

ГЛАШАТАЙ *(пробегает)*. Атилла! Атилла! Он вернулся с поля, он вошел в свой дом!

ВИГИЛА *(в стороне. Едекону взволнованно)*.
Скорее — скажи еще раз,
что наш уговор не забыл,
что ты исполнишь . . .

ЕДЕКОН *(дает ему мешок)*: Держи.

ВИГИЛА. Зачем? Это что?

ЕДЕКОН. Князю Атилле подарок. Дыня.

ВИГИЛА *(ощупывает)*. Дыня? Постой . . . постой . . . нет! Эта дыня созрела на человечьей шее!

ЕДЕКОН. Хоть и римлянин, а не дурак: угадал.

ВИГИЛА. Чья голова? Говори — кто?

ЕДЕКОН. Вледа.

ВИГИЛА. Как Вледа? Брат Атиллы? Ты его? . . .

ЕДЕКОН. Не я — топор.

ВИГИЛА *(молчит, потом)*. Едекон, прости меня.

ЕДЕКОН. За что?

ВИГИЛА.
Я верил тебе — и я не верил,
Я боялся: а вдруг изменишь?
Но эта голова немая
говорит за тебя — кричит, —
что их звериное отродье
ненавидишь ты, как я,
что Атиллу, этого волка . . .
нет хуже . . . бешеного пса . . .

ЕДЕКОН *(хватает его за горло)*. Молчи! Не смей!

ВИГИЛА. Едекон, пусти! Ты, что?

ЕДЕКОН *(другим тоном)*. Дурак, услышат — всё пропало.

ВИГИЛА.
Показалось мне, что ты . . .
Нет, нет, я знаю — ошибся . . .

ГЛАШАТАЙ *(пробегает)*. Атилла! Атилла! Как солнце в небе он взойдет сейчас!

ВИГИЛА.
Да, сейчас . . .
Еще миг, как волос тонкий,
натянутый, как струна,

и конь судьбы помчится,
копытом давя людей . . .
(Хватает за руку Едекона).
Так помни же:
я Атилле письмо подам,
и как только он ко мне нагнется,
ты сзади — в него топором,
а я ему — нож в грудь.

ЕДЕКОН. Будь покоен: мой топор найдет . . . кого надо.

ВИГИЛА *(вынув кошелек, встряхивает его).*
Как золото звенит — ты слышишь?
Засыплет тебя император
всего, с головы до ног . . .

ЕДЕКОН *(приглядываясь к кошельку).* Дай сюда. *(Выхватывает кошелек).*

ВИГИЛА. Зачем?

ЕДЕКОН. Римская башка! Стражу надо купить или нет? А то зарежут нас, как баранов.

ВИГИЛА.
Мое имя там, золотым шитьем . . .
Отдай мне этот кошелек назад.
Вот здесь другой.

ЕДЕКОН. Не веришь? На и делай всё один. *(Протягивает кошелек).*

ВИГИЛА. Нет, я верю, верю я, только . . .

ГЛАШАТАЙ *(входит).* Атилла! Атилла! Славьте! Трепещите! Ликуйте!

(Под дикую музыку, в неистовом плясе вбегают несколько воинов. Входит Керка и ближние кмети Аттиллы. Затем — Онигост, Исла, шут Зыркон и, наконец, Атилла).

ВОИНЫ, СТРАЖИ *(колотят в щиты).* Арра, Атилла! Арра, Атилла!

(Атилла садится; Керка тоже на скамье пониже. Остальные стоят, за исключением Приска. Он уселся, расправляет складки).

ЕДЕКОН *(кидается к нему):* Встань, встань!

ПРИСК *(встает)*. А почему?

ЕДЕКОН. Идол римский, не знаешь разве: сидеть при нем может только она одна. *(Показывает на Керку)*.

ПРИСК. Она? А почему?

ЕДЕКОН. Потому, что она может лежать под ним. Понял? Дуб!

(Атилла обводит кругом глазами, все цепенеют. Тишина. Встретился взглядом с Керкой).

КЕРКА *(встает с поклоном)*. Супруг мой, князь — живи и здравствуй . . .

АТИЛЛА *(небрежно)*. Живи и ты. Здорова? Как спала?

КЕРКА. Мне не спалось. Я всё ждала, что ты . . .

АТИЛЛА. Потом . . . *(увидел Ятвяга среди кметей)* А, здесь, Ятвяг? Когда вернулся?

ЯТВЯГ. Вчера. Привез сюда пятьсот возов . . .

АТИЛЛА. Расскажешь после.
Ну, Оногост, с кого начнем?

ОНОГОСТ. С кого велишь. И так и эдак можно:
Ждут и свои, ждут и чужие.
Восточный Рим к тебе прислал послов —
их Едекон привез. Вон там стоят.
Тот лысый — он сенатор. Да-а!

АТИЛЛА. Сенатор? Ха! К нам варварам, сенатор?
Ведь нас они зовут скловены, славы —
по римски, а по нашему — рабы.
Какая честь! К рабам послом сенатор!

ОНОГОСТ. Прикажешь их позвать?

АТИЛЛА. Пусть подождут. Мы варвары, что делать!
Ты знаешь мой обычай: по порядку:
Кто раньше всех пришел — того веди.

ОНОГОСТ. Да раньше всех так: голяк какой-то пришел, я ему сказал . . .

АТИЛЛА *(нахмурившись)*. Что сказал?

ОНОГОСТ. Чтоб шел он . . . *(Поймав взгляд Атиллы)*. Нет, чтоб стоял . . . то-есть, так и эдак: чтоб стоя шел.

АТИЛЛА. Зови его сейчас же . . . ты, двухъязыкий!

(Оногост бежит к двери, впускает Дулеба).

ДУЛЕБ *(кидается к Атилле)*. К тебе за управой! Не в мочь терпеть. Мы тебе челом бьем на одного из твоих.

АТИЛЛА. Кто мы?

ДУЛЕБ. Дулебы мы, орем мы землю и сеем просо, живем. Так наехал к нам с людьми твой . . . *(замолкает)*.

АТИЛЛА. Ну, что ж ты? Дальше!

ДУЛЕБ. Здесь он . . . Боюсь!

АТИЛЛА. Здесь я. Не бойся. Где он — укажи!

ДУЛЕБ *(показывает на Ятвяга)*. Он . . . наехал, взял оброк с нас. Мы дали сполна: по мере с дыму. А через день — глядим, опять он тут — другажды давай ему оброк. Ну, обидно. Мы не дали. Так он велел нас в кнутья, коих до смерти, коих до крови. Меня, гляди: вон как иссек! *(поворачивается спиной, начинает спускать порты)*.

АТИЛЛА. Не надо — верю. *(Ятвягу)*. Подойди. Он правду говорит? Гляди в глаза мне!

ЯТВЯГ *(дрожа, стоит молча, прикованный к глазам Атиллы)*.

АТИЛЛА *(спокойно Ятвягу)*. Пойди, убей себя. Сейчас же!

ЯТВЯГ *(подходит к страже, ему дают нож, он ударяет себя ножом. Падая, кричит)*. Атилла — живи и здравствуй! *(его уносят)*.

ДУЛЕБ. Ты милостив, князь . . . и страшен.

АТИЛЛА. Не тебе: — неправде. Иди. *(Дулеб уходит. Едекону)*. А, мой топор! Вернулся? Ну, что в Восточном Риме видел, а?

ЕДЕКОН. Баб . . .

АТИЛЛА. Как баб? А император Феодосий?

ЕДЕКОН. А вот я тебе скажу: «Кобылу видел», а ты меня тоже спросишь: «Как кобылу? А хвост?»

АТИЛЛА. Чудак! Пожалуй, не спрошу.

ЕДЕКОН. Ну, вот. Так Феодосий на бабах растет, как на кобыле хвост, и они им вертят, как хотят. А другие, чтоб походить на баб, вот это самое себе *(показывает)* ножом долой, и голоса у них бабьи, и рожи бабьи — евнухи по их.

АТИЛЛА. Ты это видел? Так. Что ж слышал?

ЕДЕКОН. Имя.

АТИЛЛА. Какое?

ЕДЕКОН. Атилла. Об Атилле, про Атиллу — все, у всех ты в глотке застрял, как рыбья кость: плюются, а кость всё там. Только на одного и есть у них надежда, что он сумеет вынуть кость.

АТИЛЛА. Кто ж этот лекарь?

ЕДЕКОН. Аэций.

АТИЛЛА.
Аэций? Тот, кому я дал приют,
когда опальный он бежал из Рима?
Мы рядом с ним, бок о бок шли на готов,
В бою он жизнь мне спас — ты видел?
Помнишь?
И мы теперь сойдемся с ним врагами?
Ну, что ж: хороший враг — милее друга.

ЕДЕКОН. Страшен враг не в поле, а в доме.

АТИЛЛА. О чем ты?

ЕДЕКОН *(встряхивает мешок)*. Об этом. Я принес тебе подарок. Возьми . . . *(подает Атилле мешок)*.

ВИГИЛА *(послам)*. Теперь . . . смотрите! Смотрите!

АТИЛЛА *(раскрывает мешок)*. Брат, Вледа . . . ты?

ГОЛОСА *(шопотом)*. Вледа . . . Вледа! Вледа! . . . *(мертвая тишина)*.

АТИЛЛА *(голове)*.
Молчишь? Не слышишь?
Ты помнишь, как с тобой однажды
мы увели отцовского коня
и — в степь, сквозь солнце, травы, пыль?
Ты сзади сел и за меня держался —
и в шею мне дышал теплом —
теперь ты дышешь холодом в лицо . . .
(молча смотрит).
А помнишь, ты метнул стрелой в лягушку?
Лягушка дергалась, потом затихла,
и ты меня спросил: «Что с ней?»

Ну, что ж с тобой теперь? Затих? Молчишь?
Ты знаешь, что письмо не император,
не Феодосий получил, а я?
(Едекону) Сперва ты показал ему письмо,
потом ударил топором, ведь так?

ЕДЕКОН. Да, так.

АТИЛЛА. И сразу, смаху — он не крикнул даже?

ЕДЕКОН. Он не поспел.

АТИЛЛА. Вот так же мне с плеч голову снеси,
когда увидишь, что как с псами пес
я с Римом снюхался. Ты понял?

ЕДЕКОН. Понял.

ИСЛА. Так, так Атилла! Так!

АТИЛЛА *(голове)*.

Ты тоже понял? Поздно? Ну, прощай!
Мой Вледа, брат, предатель милый . . .
(целует голову, закрывает мешок).
(Едекону) Чтоб знали все, что он изменник,
Чтоб наказали сыновьям и внукам,
Чтоб вспомнив ночью просыпались с криком —
пойди и труп его повесь на тын,
да голову в руках пусть держит сам —
стервятникам на встречу — пусть клюют.
Ты слышал? Ну, иди!

(Все замерли. Едекон с мешком отходит от Атиллы).

ВИГИЛА *(кидается к Едекону)*.

Скажи: ты сам дьявол — или кто?

ЕДЕКОН. Узнаешь скоро . . . Гляди твоя . . .

(Ильдегонда, одетая пышно, входит. Садится на скамью).

АТИЛЛА *(увидел)*. Кто смел там сесть? *(с разных сторон кидаются к Ильдегонде, Атилла останавливает их)*.

Ты знаешь наш обычай:
при мне дано сидеть моей супруге.

Ты что ж со мной спала
и хочешь, чтоб про это знали все?
(Смех).

ИЛЬДЕГОНДА. У вас, быть может, есть обычай,
чтоб женщины зверям давались.
У нас такого нет, ошибся.

АТИЛЛА. Пусть стоит! Поднять ее!

(К Ильдегонде подбегают, заставили встать, грубо держат. Вигила делает движение к Ильдегонде. Максимин хватает его за руку).

ИЛЬДЕГОНДА *(Вигиле).*
Не надо — я сумею сама.

АТИЛЛА. Подойди *(Ильдегонда стоит).* Ты что же боишься?

ИЛЬДЕГОНДА. Боюсь? До сих пор боялись — меня.
(Подходит).

АТИЛЛА *(смотрит на нее).*
Да, вижу: тебя бояться можно.
Не знал я слова такого: страх,
но так хороша ты, что даже страшно.

ШУТ ЗЫРКОН. А, я, князь, на двенадцати языках говорю.

АТИЛЛА *(не отрываясь от Ильдегонды).* Умен! Что ж дальше?

ЗЫРКОН. А то, что судьба на всех языках бабьего рода.

АТИЛЛА. Судьба? Судьбу согну я, как лук,
тетиву сплету из ее же волос —
судьба моя будет мне служить!

ЗЫРКОН. Будешь гнуть — не перегни, а то лопнет, да в лоб . . .

(Ныряет под скамью. Атилла берет за руку Ильдегонду. Она резко вырывает руку).

КЕРКА *(всё время не спускавшая глаз, бледнея, встает).*
Князь, позволь мне уйти!

АТИЛЛА *(не слышит, или не слушает). (Ильдегонде).*
В лесу волчонка я раз поймал:
теперь он ходит за мной ручной.

ИЛЬДЕГОНДА. В лесу раз волк на меня напал,
его кости я зарыла под сосной.

АТИЛЛА. Хорошо сказала! Так! *(Ильдегонда хочет уйти).* Подожди!
Ты стоишь того, чтобы при мне сидеть.
Ты хочешь?

ИЛЬДЕГОНДА. Нет.

АТИЛЛА. Поняла ли ты, что я тебе сказал?
Ты вспомни: у нас обычай есть . . .

ИЛЬДЕГОНДА. Да, помню.

АТИЛЛА. Теперь твой ответ?

ИЛЬДЕГОНДА. Нет.

АТИЛЛА. Нет, ты скажешь мне — да!

ИЛЬДЕГОНДА. Когда пух утонет, когда камень всплывет,
тогда быть может скажу.
(Отходит от Атиллы).

ЗЫРКОН. Съел молодец тридцать пирогов с творогом, а тридцать-то первый с рыбьей-то костью!

АТИЛЛА. Ты замолчишь? *(К Атилле подходит Керка. Керке, глядя на Ильдегонду).*
С кем она говорит? Кто он?

КЕРКА. Позволь мне, князь, уйти к себе.
Я больше не . . . не могу . . .

АТИЛЛА *(не слушает, смотрит на Ильдегонду и Виглу).*
Кто он? С кем она говорит?

КЕРКА. Ее жених — посол из Рима.

АТИЛЛА. Жених? Вот что!
Так римлянка она? Не знал!
Ну, римлян я люблю лишь мертвых.

ИСЛА. Вот эту речь я узнаю:
Теперь Атилла говорит!

АТИЛЛА. Понравилось тебе, старик?
Так вот тебе еще подарок:
пойди скажи ей, чтоб сейчас же
отсюда убиралась вон.
И больше, чтобы никогда

не попадалась мне. Не то . . .
Иди!

(Исла идет к Ильдегонде, грубо выводит ее).

ОНОГОСТ. Оно хотя — хоть будто так,
но повернуть — так выйдет эдак.

АТИЛЛА. Брось жвачку! Говори живей!

ОНОГОСТ. Не римлянка она. Ее отец —
король бургундов.

АТИЛЛА. Ехидна и змея — одно.
Союзники бургунды с Римом.

ОНОГОСТ. Змея — она кольцом, конечно, так . . .
Но вот и эдак тоже *(показывает руками)*
прямо вроде.
И если клюнет в сердце . . .

АТИЛЛА *(задумавшись)*. Что? В сердце? Да . . . *(очнулся)*.
Постой . . . Ты слышишь: что это? Вот?

ОНОГОСТ *(подбегает к окну)*.
Выезжают в ворота. Она — впереди.
Обернулась . . . Крикнула . . . Кони —
вскачь.
Не видать больше: пылью заволокло . . .

АТИЛЛА. Эй, Едекон! Вернуть ее!
Скачи — не жалей ни коней, ни себя.

ЕДЕКОН. Уж от меня бы птичка не улетела: ко мне в руки — в капкан. А только я сейчас не могу: не видишь, что ли — послы ждут.

АТИЛЛА. Тебе что за дело до послов?

ЕДЕКОН. Что за дело? Я обещал послам . . . *(тихо)* . . . помочь убить тебя.

АТИЛЛА. Что? Повтори!

ЕДЕКОН. Убить тебя.

АТИЛЛА. *(Молчит. Ужасен. Улыбается).*
Так вот каких послов к нам шлют!
Ну, император, я с тобой . . .
(Едекону) Дай мне топор! Постой . . . не надо . . .
Скажи: все трое иль один?

ЕДЕКОН. Один. Он грамоту тебе подаст.

АТИЛЛА. Что ж, примем дорогих гостей — по чину!
Ну, Оногост, зови послов.

(Оногост жестом приглашает послов).

МАКСИМИН. *(Приску и Вигиле).* Идем! *(Идут к Атилле).* *(Атилле):*
Владыка Скифии! Наш император
как брату шлет тебе привет от сердца . . .

АТИЛЛА. От сердца или в сердце?

МАКСИМИН *(сбитый с толку, остановился. Продолжает).*
. . . и он тебе желает долго жить.

АТИЛЛА. Еще бы! Знаю! От меня скажи,
что ровно столько ж, ни минуты больше
ему желаю жить. Ты понял?

МАКСИМИН *(опять остановился. Продолжает).*
По доброте своей наш император
дал беглецам из Скифии приют.

АТИЛЛА. Приют для всех, кто с Вледой заодно?
Так, так!

МАКСИМИН. Но ты хотел, чтоб выдали тебе их,
мы привезли их всех до одного.
Не будь суров: согрей их, накорми,
тебя об этом император просит.

АТИЛЛА. Для них мне ничего не жаль — увидишь.
(Едекону) Их друга Вледы терем опустел,
отвесть туда их . . . *(Максимину).* Разве
я не щедр?
(Едекону) И в терем к ним загнать быков штук пять.
(Максимину) Довольно, правда? Но у вас, у римлян,
они отвыкли мясо есть сырьем,
как мы в походах. Что-ж: поджарим мясо.
(Едекону) Весь терем обложи кругом дровами,
забей покрепче двери — и зажги.
(Максимину) Не хочешь ли пойти полюбоваться,
как просьбу императора исполнят?

КМЕТИ, СТРАЖА. Ха-ха! Ржуй Рим! Так!

МАКСИМИН *(Атилле).*

Ты смеешь надо мною издеваться —
над сенатором, над римским послом?
Так я — *(овладев собой, Вигиле и Приску)*
уйдем, пока не поздно.
Я — стар, но еще есть во мне кровь,
я могу . . . я забуду, что я посол . . .
Уйдем . . .

ВИГИЛА. Уйти? Нет, я не уйду!
Письмо император дал,
я должен вручить письмо —
и я должен... Пусти! *(подходит к Атилле).*

АТИЛЛА *(вглядываясь в подошедшего Вигилу — медленно).*

Так это должен сделать ты?
Ну, ближе. Ближе, чтоб верней!
Теперь как раз удобно. Правда?

ВИГИЛА *(протягивает письмо, рука дрожит).* Письмо . . .

АТИЛЛА. Ну, что ж еще? Я жду!

ВИГИЛА *(держа в руке письмо, другой рукой под взглядом Аттиллы, ищет нож, запутался в складках одежды).*

АТИЛЛА *(спокойно).* Помочь тебе найти твой нож?

ВИГИЛА *(растерянно).* Мой . . . нож?

АТИЛЛА. Ну да — твой нож. Что смотришь?
Ведь ты хотел меня — ножом? . . .

КЕРКА *(кидается между Аттиллой и Вигилой).*

КМЕТИ, СТРАЖА. *(К Вигиле со всех сторон).* Ножом! Аррчь его! В клочь! В хрупь!

АТИЛЛА. Не тронь! Связать его!

МАКСИМИН *(тем, кто вяжет Вигилу).*

Не сметь! Он — посол!
(Атилле) Скажи дикарям своим,
чтоб не смели оскорблять посла!

АТИЛЛА. Посла? Не посол он — убийца.
(Едекону) Говори!

ЕДЕКОН *(Атилле)*. Царский евнух сказал о тебе — ты бешеный пес и на кого брызнет твоя слюна — все бесятся и рвут хозяев в клочья. И сказал: если я ему *(на Вигилу)* помогу убить тебя, так император отсыплет мне золота столько, сколько во мне весу. А весу во мне, что в добром медведе. **Ого!**

МАКСИМИН. Бесстыдный варвар, ты лжешь!

ЕДЕКОН. Лгу? Ах, ты лысая тыква! Вот кошелек — гляди: на нем зернью нашито имя «Вигила». Это он дал мне купить стражу.

МАКСИМИН. Ты выкрал у него кошелек!

ЕДЕКОН *(быстро нащупав, выхватывает нож у Вигилы)*. А это что? Ага, проглотил язык! *(Атилле, взявшись за топор и показывая на Вигилу)*. Прикажешь его сейчас же?

АТИЛЛА. Постой . . . *(думает секунду)*.
Мальчишку этого — плетьми!
(Вигиле) Прославленным вернешься ты к невесте . . .
Пускай узнает: чем ты кончил подвиг . .

ВИГИЛА. Нет! Нет! Только не это!

ИСЛА. *(Атилле)*
Ты лучше бы его убить велел.

АТИЛЛА. Не много ль чести? Да к тому он
посол, ведь жизнь посла священна.
А впрочем, если он . . . *(Вигиле)*. Ты
хочешь смерти?
Скажи — умрешь сейчас же. Нет? Молчит.
Ну, значит . . . *(Едекону)* Что ж: веди
его . . .

ВИГИЛА. Будь ты прокл . . .

(Едекон зажимает ему рот и быстро вытаскивает его).

АТИЛЛА. Так вот как мира хочет Рим?
В руках письмо, а за спиною нож?
Послы затем, чтобы нанять убийцу?
Убить меня, чтоб скифов заковать?
(Максимину) Так пусть он молится — твой император!
Скажи ему — пусть об земь бьется лбом,

пускай торопится считать грехи:
ему недолго жить — идет Атилла . . .
(Максимин хочет уйти).
Держать его! Чтоб до конца дослушал,
чтоб римляне узнали, что их ждет!
(Приск, оглядываясь, крадучись, пробирается к дверям и выходит).

МАКСИМИН. И я живу! О, стыд!

ОНОГОСТ *(подводя к Атилле послов).*
Евдокс — посол от галлов.

ПОСОЛ ГАЛЛОВ. Леса у нас полны крестьян, рабов,
бегут от римлян, ночью лес живет:
горят костры, куют мечи и пики
и к Риму ненависть в сердцах куют.
Как друга варваров тебя все знают
и как грозу для римлян ждут тебя.

АТИЛЛА. Скажи им, что гроза близка
и скоро хлынет ливень — да такой,
что смоет Рим с лица земли!

КМЕТИ и СТРАЖА. Арра! Арра!

ОНОГОСТ. Посол от наших родичей-вандалов,
от тех, кто сорок лет назад
с мечем в Гиспанию прошли.

ПОСОЛ ВАНДАЛОВ. Король мой Гензерик
прислал сказать тебе, что он готов
ударить в римлян с тыла — ждет тебя.

АТИЛЛА. Скажи, что я уж поднял молот свой,
и так ударю, что в куски Европа!

МАКСИМИН. О, Рим! Старик мой Рим — прощай!

АТИЛЛА. Теперь труби, глашатай,
Труби на запад, север, юг, восток,
чтоб все от Вистулы до самой Волги
услышали мой клич: вперед на Рим!

ГЛАШАТАЙ *(трубит).*

ВСЕ. Арра! Атилла! Атилла!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Внутри Аврелиана, осажденного Атиллой. Зубчатая верхушка городской стены и над ней — верхний ярус башни. Видимая часть (нижнего) яруса башни образует обширную каменную площадку на уровне стены. Весь город чувствуется где-то внизу, виден купол христианской базилики, крыша еще какого-то здания.

Старик раб, Камель, прикованный цепью к башне, вертит точило, точит мечи. Издали — удары тарана, глухой гул боя, крики и вдруг грохот: что-то рухнуло. Камель вскакивает.

ГОУР *(вбегает на площадку — Камелю — восторженно)*. Отец! Отец! Отец!

КАМЕЛЬ. Гоур, ты? Что случилось?

ГОУР. Рухнула-а! Северная башня рухнула! Атилла бил в нее таранами с утра — и она рухнула!

КАМЕЛЬ. Значит, настал последний час?

ГОУР. Да, последний час! Но не для нас с тобой, не для рабов, а для них — для римлян, для короля бургундов — вот для кого! Теперь уж скоро — не знаю: через полчаса, через минуту — Атилла ворвется в город — и тогда мы свободны . . . *(кричит)*. Сво-бод-ны! Ты понимаешь?

КАМЕЛЬ. Тсс . . . тсссс . . . не кричи: услышат. Они здесь . . . они здесь . . .

ГОУР. Кто?

КАМЕЛЬ. Дочь короля Ильдегонда и с ней ее молодой римлянин. Гляди: вон, они, внизу, они уже подходят к башне.

ГОУР. Пусть слышат. Не боюсь: пришло время им нас бояться.

КАМЕЛЬ. Смотри, не ошибись. Вспомни: утром глашатай короля кричал, что еще сегодня до заката придет на помощь Аэций с римским войском.

ГОУР. Нет, Аэций не поспеет! Нас много — таких, как я. Я сейчас пойду и подниму их всех. Я знаю, у кого ключи от городских ворот: у епископа Мы пойдем к нему, мы . . .

КАМЕЛЬ *(взглянув вниз)*. Тсс . . . они идут сюда — скорее уходи. И будь осторожней, будь осторожней! Помни: ты у меня один.

ГОУР. Я не один. Нас много — не бойся! *(уходит)*.

КАМЕЛЬ *(вслед ему)*: Мой Гоур . . . Как он хорош сейчас! Какой огонь в глазах . . .

(Входят Ильдегонда и Вигила).

ВИГИЛА. Ильдегонда . . . что же делать — что делать?

ИЛЬДЕГОНДА. Постой . . . *(прислушивается. Удары тарана)*. Вот опять . . . Ты слышишь?

ВИГИЛА. Это новый таран подвезли,
бьют где-то уже недалеко,
вот-вот посыпятся камни —
и Атилла . . . *(удары тарана)*.

ИЛЬДЕГОНДА *(прислушиваясь)*.
Опять! Опять!
Это он — стучит в мою дверь,
это он пришел за мной, —
Я знаю! . . .

ВИГИЛА. Мы погибли.

ИЛЬДЕГОНДА. Еще нет.
Но висим мы на волоске:
Аэций с войсками близко,
подоспеет — мы спасены,
опоздает, хоть на минуту —
конец . . .

(За стеною, издали крики: «Аррчь. Ао!»).

ВИГИЛА. Что такое?

(Подбегает к зубцам стены, смотрит перегнувшись).
Это скифы . . . Стреляют из луков . . .

ИЛЬДЕГОНДА *(тоже смотрит)*.
Целят прямо в тебя . . . Отойди!
Вигила! Вигила!

(Вигила отскакивает от стены. В плече у него торчит стрела. Он выдергивает ее и медленно опускается на землю).

ИЛЬДЕГОНДА Вигила! я с тобой! Ты слышишь?
Это я! Открой глаза! *(пытается поднять его).*
Кто здесь есть? Сюда скорей!
(Звеня цепью подбегает Камель).
Скорее . . . помоги расстегнуть . . .
Подними . . . снимай . . . Теперь это . . .
(Снимают с Вигилы верхнюю одежду, начинают расстегивать нижнюю. Вигила приходит в себя. Камель возвращается на свое место).
ИЛЬДЕГОНДА. Он жив! Очнулся! . . . Вигила!
ВИГИЛА *(отталкивает ее и, запахивая одежду, вскакивает).*
Ты видела? Ты видела? Говори!
ИЛЬДЕГОНДА. Что видела?
ВИГИЛА. Следы на моем теле . . .
Ты видела их? Говори же!
ИЛЬДЕГОНДА. Какие следы? Постой,
Дай рану перевяжу . . .
ВИГИЛА *(обнажая меч).*
Отойди! Не касайся меня!
ИЛЬДЕГОНДА. Опомнись, что с тобой?
Скажи, что с тобой?
Скажи, чего ты боишься?
О каких говорил следах?
ВИГИЛА *(опуская меч).*
Н-ни о . . . каких . . . Я . . . не . . .
знаю . . . не помню . . .
(За стеной отдаленные крики: «Атилла! Атилла»!
Вигила хватает Ильдегонду за руку).
ВИГИЛА. Ты слышишь — кричат — «Атилла»!
ИЛЬДЕГОНДА *(взглянув за стену).*
Он на приступ идет . . .
ВИГИЛА Ильдегонда . . .
Если так случится, что нас
живыми он в плен возьмет . . .
ИЛЬДЕГОНДА. Нет!

ВИГИЛА. . . . умоляю тебя, обещай мне,
что его словам не поверишь,
что его не станешь слушать,
забудешь всё, что он скажет . . .
ИЛЬДЕГОНДА. О чем ты? Не понимаю . . .
Ты должен мне объяснить . . .
(Вигила торопливо уходит).
Куда? Постой . . . ты же ранен.
ВИГИЛА. Стрела только чуть задела . . .
Меня ждут . . . не могу . . .
(убегает вниз).
ВОИН-БУРГУНД *(входит).*
Король, твой отец, приказал передать
тебе свой последний привет.
ИЛЬДЕГОНДА. Он убит?
ВОИН-БУРГУНД. Еще жив, но он бьется сейчас на стене,
откуда никто не уйдет живым:
сам Атилла там — впереди своих.
Как буря дыханьем вздымает волны,
пока не сокрушит всё на пути,
так и он. Что же можем мы — против бури?
ИЛЬДЕГОНДА. Ступай . . . Подожди. Скажи королю,
что если погибнуть ему суждено,
пусть помнит, мой нож всегда при мне.
(Воин-бургунд уходит. Удары тарана).
ИЛЬДЕГОНДА *(прислушиваясь).*
Всё слышней, всё слышнее стук,
Атилла всё ближе, всё ближе . . .
ЕПИСКОП АННИАН. *(Входит. Ильдегонде — в отчаянии).*
Я их люблю . . . Ведь они живые . . .
Понимаешь? Живые! Говорят!
Я слышу их голос!
ИЛЬДЕГОНДА. Чей голос?
ЕП. АННИАН. Моих книг . . . одиннадцать тысяч книг!
Гляди: это Цезаря манускрипт,
Гая Юлия Цезаря!

ИЛЬДЕГОНДА. Ну, так что же?
ЕП. АННИАН. Как что же? Сейчас ворвались,
разбросали все мои книги . . .
ИЛЬДЕГОНДА. Кто ворвался?
ЕП. АННИАН. Рабы, солдаты . . .
Ключи у меня искали,
ключи от городских ворот,
чтобы открыть ворота Атилле . . .
Гнались за мной по пятам,
сейчас будут здесь . . . вот: слышишь?

(Крики приближающейся толпы).

ИЛЬДЕГОНДА. Постой . . . Дай притти в себя . . .
Как злые птицы — беды
отовсюду слетелись, клюют.
(Молчит, потом)
Нет, не сдамся! Слушай, епископ:
ты им скажешь, что Аэций идет,
что он уж близко, он — тут . . .
ЕП. АННИАН. Они ждать не хотят.
ИЛЬДЕГОНДА. Так заставь их!
ЕП. АННИАН. Как?
ИЛЬДЕГОНДА. Угрозами, лестью, чудом,
чем хочешь! Ключи при тебе?
ЕП. АННИАН. Вот они.
ИЛЬДЕГОНДА. Спрячь их подальше.
ЕП. АННИАН. Идут . . .
ИЛЬДЕГОНДА. До конца держись!
Я тебя подожду — вон там . . .
И помни: ни одно твое слово
от меня не уйдет — все услышу.

(Скрывается за башней на другой стороне площадки. Крики толпы слышнее. К еп. Анниану подбегает Гоур, за ним еще несколько рабов и солдат. Двое-трое из толпы появляются на крыше здания, остальная толпа внизу, ее только слышно).

КАМЕЛЬ *(глядя вниз на поднимающегося по ступеням Гоура).* Он! Он — мой Гоур — впереди всех!

ГОУР *(еп. Анниану).* А-а, вот ты где, монах! Ключи! Ключи!

ГОЛОСА ВНИЗУ. Ключи! Ключи!

СОЛДАТ НА КРЫШЕ. Мы — бургунды, какого чорта дохнуть нам за Рим?

ГОЛОСА ВНИЗУ. Верно! Верно! Ключи! Ключи!

ЕП. АННИАН. Аврелианцы! Дайте мне сказать
последнее. Потом я в вашей воле . . .
(Толпа затихает).
Смотрите! вот! Вы видите пергамент?
ему цены нет. Тысячи таких же
древнейших, драгоценных книг . . .

ГОУР. Ты опять о книгах? Мы — люди: понял? Мы жить хотим!

ЕП. АННИАН. Нет, вы хотите, чтобы всё погибло.
Терпели вы осаду целый месяц —
и вдруг в последний час хотите сдаться!
В тот час, когда вот-вот придет к нам помощь,
когда Аэций, может быть, совсем уж близко.

ГОУР. Не верьте ему, он лжет — Аэций далеко. Зато Атилла близко — наш Атилла!

ГОЛОСА ВНИЗУ. Атилла! Атилла!

ГОУР. Без разговоров — ключи давай!

ГОЛОСА. Ключи! Ключи!

(Слышен звук римской букцины).

ЕП. АННИАН. Постойте . . . *(торжествуя).*
Слышите? Трубят! Еще!
Вы узнаете звуки римских труб?
Святая Дева, будь благословенна,
ты чудо сотворила. Это он —
Аэций! *(Гоуру).* Что, солгал я? А, молчишь?
Скорей на башню, кто-нибудь скорее,
оттуда римляне уже видны . . .

СОЛДАТ НА КРЫШЕ. Я иду. И если это Аэций . . .
(спускается с крыши).
ГОУР *(в отчаянии)*. Нет! Нет! Не верьте!
ГОЛОС НА КРЫШЕ. А вдруг правда? Смотрите: он уже влез.
Он смотрит, он уже, наверное, увидел . . .
Он сейчас будет говорить! Тише!
ЕП. АННИАН *(солдату на башне)*.
Ты видел? Римляне идут? Ведь так?
СОЛДАТ. Да, римляне . . .
ЕП. АННИАН *(влюбленно пергаменту)*.
О! Ты спасен . . . спасен!
СОЛДАТ. Но этих римлян, скованных, в цепях, —
чтоб подразнить нас—гонят гунны к стенам.
ЕП. АННИАН *(закрывает лицо)*.
ГОУР. Обманщик! Убить монаха! Убить!
(Окружают еп. Анниана. Над головами видна его поднятая рука с пергаментом).
ИЛЬДЕГОНДА *(выбегает из башни)*. Стойте!
ЕП. АННИАН. Мои книги! Кни . . . *(падает под ударами)*.
СОЛДАТ *(поднимая ключи)*. Вот они — ключи!
ГОЛОСА. Ключи! Скорее к воротам! Атилла! Атилла!
ИЛЬДЕГОНДА. Злодеи! Король прикажет вас всех . . .
ГОУР. Теперь приказывает не король, а я.
ИЛЬДЕГОНДА. А-а, ты?
ГОЛОСА. Гоур с нами! Веди нас!
ГОУР. Идите, я за вами следом,
только цепь раскую у отца . . .
ГОЛОСА. Да здравствует Атилла! Атилла! Атилла! *(уходят)*.
КАМЕЛЬ *(любуясь Гоуром — восторженно)*. Мой Гоур! Мой Гоур!
ГОУР. Поставь ногу сюда, скорее.
КАМЕЛЬ. Ты рожден, чтоб вести за собой народ.
ГОУР. У меня будто выросли крылья,
мне кажется, — сейчас полечу . . .
(Нагнувшись, начинает расковывать Камеля. Ильдегонда подходит сзади, вынимает свой нож).

ИЛЬДЕГОНДА *(ударяя ножом Гоура).*

Лети, подлый раб, изменник!

КАМЕЛЬ. Мой мальчик! *(хватает один из груды мечей, кидается на Ильдегонду).* Ты проклятая! *(цепь мешает ему приблизиться к Ильдегонде, отошедшей на несколько шагов).* А-а . . . не могу . . . Ушла . . . *(в сторону Ильдегонды).* Всё равно: ты не уйдешь — ты не уйдешь — ты не уйдешь от меня! Помни!

(Ильдегонда по другую сторону башни обессиленно опускается на каменную скамью. В руке нож, смотрит на него неподвижно. Появляется Марулл).

МАРУЛЛ. Ильдегонда, я тебя ищу повсюду . . . Спрячь, спрячь меня! *(Она в той же позе).* Разве ты меня не узнаешь? Я — Марулл, придворный поэт, я столько раз слагал оды в честь короля, твоего отца, и в честь тебя.

ИЛЬДЕГОНДА *(очнувшись).*

Ты видел отца? Ты видел?
Что с ним?

МАРУЛЛ. Я видел, как этот бешеный зверь —
Атилла — пустил в него стрелу:
твой отец пал мертвым . . . Спрячь меня!

ИЛЬДЕГОНДА. Так Атилла убил моего отца?
Хорошо! Не забуду! . . .

МАРУЛЛ. Спрячь меня!

ИЛЬДЕГОНДА. Уходи!

(Марулл прячется за выступ башни. Слышны крики и боевая песня гуннов где-то близко).

ИЛЬДЕГОНДА *(прислушиваясь).*

Это гунны! Это они! Это он!

ВИГИЛА *(вбегает).*

Им открыли ворота . . . Он — здесь!
Атилла — здесь! Ильдегонда,
всё кончено . . .

ИЛЬДЕГОНДА. Нет.
Скорей, пока не поздно — в башню . . .
быть может, там нас не найдут . . .

железная дверь — крепка . . .
быть может Аэций успеет . . .

ВИГИЛА. А если — нет?

ИЛЬДЕГОНДА. Так успеем мы . . . умереть . . .

(Пробегает мимо Камеля, подслушавшего их разговор, и по ступеням вниз. Марулл торопливо пишет что-то).

КАМЕЛЬ. Так! Волки в капкане . . . *(нагибаясь к Гоуру).* Теперь тебе уж недолго ждать . . . Они в капкане, в капкане, в капкане! . . .

(С противоположной стороны на площадку башни поднимается Атилла, с ним Исла, Едекон, Зыркон, два-три воина).

ИСЛА. Ну, вот, Аврелиан у наших ног:
Любуйся! Что ж молчишь? Куда ты смотришь?
Как будто ищешь ты еще врага?

АТИЛЛА. Ты прав: ищу.

ИСЛА. Кого же?

МАРУЛЛ *(появляется).*
Атилла, ты! Тебя искал я всюду!

АТИЛЛА. Зачем?

МАРУЛЛ. Затем лишь только, чтоб сказать:
привет тебе, Атилла, богоравный . . .
Что я? — все боги перед тобой — мальчишки!

(Зыркон начинает шапкой мести перед Маруллом).

АТИЛЛА *(Зыркону).* Ты это что затеял, шут?

ЗЫРКОН. А разве ты не видишь — он на брюхе сейчас поползет, так чтобы не замарался . . . *(смех).*

АТИЛЛА. Оставь . . . *(Маруллу).* Еще что скажешь?

МАРУЛЛ. Я оду написал. Дозволь прочесть, —
тогда могу я умереть спокойно.

АТИЛЛА. Чтоб умереть спокойно — что ж читай.

МАРУЛЛ. Рим трепещи! Слышишь звяк, слышишь гул,
слышишь топот с Востока?

Гунны могучие мы — мы несемся,
как буря на Запад.
Гунны могучие мы . . .

АТИЛЛА. Скажи-ка: а давно ты гунном стал?

МАРУЛЛ. Сегодня . . . Нет: вчера . . . Что я —
с неделю!

АТИЛЛА. Ты старый гунн! Такие нам нужны . . .
(Едекону) Ты завтра в бой его пошлешь на римлян,
да в первый ряд, пусть там себя покажет.
(Маруллпятится и кидается на утек).

ЗЫРКОН. Ага, живот схватило!

ВОИНЫ. Сра Ха! . . . Хо! . . . Хухусь! *(бегут за Маруллом).*

АТИЛЛА. Оставьте! Или мало вшей у вас, —
Еще одну хотите завести?
Идем!

КАМЕЛЬ. Постой! не уходи!

АТИЛЛА. Чего ты хочешь? Кто ты?

КАМЕЛЬ. Римский раб.

АТИЛЛА. Пора забыть, что был им. Встань, старик!
(Одному из воинов).
Сейчас же расковать его.

КАМЕЛЬ. Зачем не видит этого мой сын?
Зачем? Как он любил тебя, как ждал!
И вот, смотри — дождался . . .

АТИЛЛА. Убит? Скажи мне, кто убил его?

КАМЕЛЬ. Ты обещаешь мне его убийцу,
чтоб я мог сам — вот этой вот рукой . . .
Ты обещаешь? Ты — Атилла?

АТИЛЛА. Да, обещаю. Ты его получишь —
Скажи, кто он?

КАМЕЛЬ. Она, она здесь — в этой башне.

АТИЛЛА. Говори же скорее: кто?

КАМЕЛЬ. Ильдегонда.

АТИЛЛА. *(Схватив Камеля).*
Ты сказал . . . Ильдегонда? Там?

КАМЕЛЬ. Да . . .
АТИЛЛА. В этой башне? Дверь . . . где дверь?
КАМЕЛЬ. Железная дверь — внизу.
АТИЛЛА *(кричит вниз)*.
Это я, это я — Атилла!
Двери в башню ломай живей!
Топоры! Таран сюда!
(всем) За мной!
(Все быстро уходят. Остается только воин, раскованный Камеля).
КАМЕЛЬ. Сейчас, Гоур . . . сейчас . . . Лежи спокойно. Еще минута — и им конец, конец, конец! *(Уходит вниз вместе с воином Атиллы).*
ГОЛОСА ВНИЗУ. Ао! Бей! Аррчь! *(удары топора).*
(На башне, на самом верху, появляются Ильдегонда и Вигила).
ВИГИЛА. Они знают, что мы здесь — они знают!
Топорами бьют в дверь — ты слышишь?
ИЛЬДЕГОНДА. Пока держится дверь — есть надежда . . .
ВИГИЛА. Снизу видно . . . Уйдем отсюда!
ИЛЬДЕГОНДА. Всё равно . . . Никуда не уйдешь.
ВИГИЛА. Смотри таран несут!
ИЛЬДЕГОНДА. Таран? Значит, нам конец . . .
Теперь минуту жить:
Сейчас Атилла ворвется . . .
ВИГИЛА. Я знаю, он расскажет тебе . . .
Но ведь ты ему не поверишь, —
не поверишь ему? Обещай?
ИЛЬДЕГОНДА. О чем ты? Скажи, пока не поздно.
ВИГИЛА. Чтоб я тебе . . . сам?
Никогда! Скорее умру!
ГОЛОСА ВНИЗУ. Бей! Гой! Хрряс! *(Удар. Треск).*
ИЛЬДЕГОНДА. Пора . . . Вот . . . Возьми!
(дает ему свой нож).
ВИГИЛА. Что ты? Чего ты хочешь?

ИЛЬДЕГОНДА. Ты любишь меня? Да?
Так направь мне нож в сердце:
ты биться его заставлял
и ты остановишь.

ВИГИЛА. Нет!

(Внизу удар, треск).

ИЛЬДЕГОНДА *(раскрывая платье).*
Дай руку . . . Мою грудь — узнаешь?
Ты хочешь, чтобы другой
коснулся меня вот так?
Ты видишь: шатер, ночь . . .
белеют колени во тьме . . .
Это я — на ложе Атиллы . . .

ВИГИЛА. Дай мне нож! *(Поднял. Опускает).* Нет!

(Внизу удар, треск, что-то падает).

ВИГИЛА *(взглянув вниз).* Ворвались! Ильдегонда . . .

ИЛЬДЕГОНДА. Сейчас от Атиллы узнаю
о тебе всю правду . . .

ВИГИЛА Нет!
Не узнаешь! *(поднимает нож).*
Г л а з а . . . не могу . . .
Отвернись . . . Теперь — прощай . . .

(На верх башни врываются Атилла, Едекон, Исла, Камель и несколько воинов-скифов).

АТИЛЛА. Аррчь, аррчь их!

ДРУГИЕ. Аррчь!

(Короткая схватка. Вигила пытается защищаться ножом. Едекон обезоруживает его, скручивает ремнем руки, засовывает за ремень нож).

ЕДЕКОН (*Вигиле с издевкой).* Держи крепче, пригодится: я этим ножом пощупаю у тебя сердце.

ВИГИЛА. Ты . . . гнусный предатель! Палач!

ЕДЕКОН. Та-ак? Ну, я заклепаю тебе рот *(затыкает ему рот полой его одежды. Атилле, который держит Ильдегонду).* Давай девку скручу!

АТИЛЛА *(не отвечая ежу, Ильдегонде).*

Когда ты вот так, стиснув зубы, стоишь
и глаза свои мечешь в меня, как копья,
ты еще прекраснее — слышишь?

(Ильдегонда пытается закрыть грудь).

Зачем? Всё равно ведь ты моя:
Захочу, так увижу тебя всю.

ИЛЬДЕГОНДА. Ты убил отца . . . Берегись . . .

АТИЛЛА. Ха-а! Мне бояться тебя?

ЕДЕКОН *(подняв топор).* Дай-ка я ее . . . вернее бы дело.

КАМЕЛЬ. Она — моя! Он обещал ее мне!

ИСЛА *(посмотрев вниз, Атилле).*

Кончай с ней скорей. Пора!
Там в городе что-то случилось,
кричат и сюда бегут . . .

ЕДЕКОН *(с поднятым над Ильдегондой топором, Атилле):*

Прикажи!

ВОИН-СКИФ *(запыхавшись, вбегает наверх башни):* Аэций!...
Аэций! Римляне!

КАМЕЛЬ *(Атилле).* Она моя! Ты обещал!

АТИЛЛА *(Камелю).*

Молчи! Сейчас нет ни тебя, ни ее:
Есть только римляне и я . . .

(Отстраняет Ильдегонду).

ИСЛА. Так, князь! Вот — теперь — это ты!

АТИЛЛА *(Исле).*

Выводи из города всех — скорей!

ИСЛА. Как? Уходить?

АТИЛЛА. Не в клетке, в поле мы примем бой,
на равнинах Каталауна, завтра
с Аэцием встреча. Рим — или мы!

(Уходят, уводя Вигилу и Ильдегонду. Мгновение сцена пуста, слышен мерный топот, звуки римских букцин. Затем на площадке появляется Центурион, с ним несколько римских воинов. Увидели труп епископа Анниана).

ЦЕНТУРИОН *(кричит вниз)*. Аэций — сюда! Сюда!
АЭЦИЙ *(нагибается над трупом еп. Анниана)*.
Как? Епископ Анниан? Убит?
ЦЕНТУРИОН. Король тоже. Ильдегонда в плену.
АЭЦИЙ. Мы . . . опоздали . . .

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ночь после Каталаунской битвы. Лагерь Атиллы. Поставленные в круг грубые скифские телеги, крытые дубом. Впереди с закрытой занавесью — вежа Атиллы. Перед вежей на страже Едекон с топором. Входит Атилла.

ЕДЕКОН *(бросается к нему, ощупывая его, трется головой, радостно рыча, как большой пес)*. Гу-у-у-у? Гу-у-у!
АТИЛЛА. Ну что, что?
ЕДЕКОН. Ты живой, живой вернулся! Я всё стою и думаю: а ну, как его принесут . . . А ты вот — живой! *(берет у Атиллы щит, вглядывается)*. Кровь . . . Чужая или твоя?
АТИЛЛА. Не знаю. Ильдегонда там?
(Показывает на вежу).
ЕДЕКОН. Там.
АТИЛЛА. Говорила с тобой?
ЕДЕКОН. Нет, молчит.
Только раз спросила о нем.
АТИЛЛА. О ком?
ЕДЕКОН. Да об этом . . . О Вигиле. Я сказал
шутки ради,
что снес ему голову топором.
АТИЛЛА. А она?
ЕДЕКОН. Молчит, как земля, как ночь.
АТИЛЛА. Так. Ислу или Оногоста не видел?
ЕДЕКОН. Нет.
АТИЛЛА. Я их потерял в темноте.
Не знаю: уцелели в бою, или погибли.
Если живы — скажи, пусть придут сюда.

(Едекон уходит. Выйдя из темноты, недалеко от Аттиллы появляется Камель).

АТИЛЛА. Кто ты? Подойди поближе. Еще . . .
Я тебя уже видел где-то . . . Где?

КАМЕЛЬ. На башне в Аврелиане . . . или уж забыл?
Ты тогда обещал мне . . .

АТИЛЛА. Молчи! Уходи! Я помню: доволен?

КАМЕЛЬ. Я подожду . . .

(Отходит в сторону и дальше всё время, как тень, следует на некотором расстоянии за Аттиллой).

ИСЛА и ОНОГОСТ *(входят)*.
Живи и здравствуй!

АТИЛЛА. Целы? Ну, скорее, —
Скорее скажите кто: они или мы?
Кто: Рим иль Скифы — чья победа?
За кем Каталаунские поля?

ИСЛА. Такого боя и я не запомню.
К закату словно жнец по полю,
снопами люди, головы — колосья,
и солнце — голова, в крови — скатилась.
Темно. Где недруг — всё смешалось,
ни зги не видно. Сразу бой затих —
и римляне в свой лагерь отошли,
а мы вернулись в свой.

АТИЛЛА. Так, значит, кто же? Кто?

ОНОГОСТ. Ударь, попробуй билом в доску:
доска качнется — и отскочит било,
туда — сюда. Вот так и тут.

АТИЛЛА. Нет, тут не так! Или ослеп, не видишь:
доска и било, Запад и Восток,
Империя и мы — столкнулись на смерть,
и в щепки разлетится то иль это!

ОНОГОСТ. Аэций там, поди-ка разлетись . . .

АТИЛЛА. Опять Аэций поперек дороги!
Был слух, что ранен он. Не знаешь,
правда?

ОНОГОСТ *(уверенно)*.
Да ранен. Ка-ак-же знаю!
АТИЛЛА. Куда?
ОНОГОСТ. Куда? Э . . . э . . . э . . . *(торопливо тычет себя пальцем в глаз, шею, в грудь)*. Э-э . . . сюда вот *(показывает на пуп)* — в глаз . . .
АТИЛЛА. Заврался! Помолчи.
ИСЛА. Ты слышишь?
АТИЛЛА. Ветер? Слышу — воет.
ИСЛА. Нет, там у римлян. Слушай: вот опять.
(Издали слышно погребальное пение и вопли).
АТИЛЛА. Как будто тризна? Плачут и поют . . .
Чтоб это значило? Не знаешь?
ИСЛА. Нет.
ЕДЕКОН *(входит, ведя за собой связанного ефиопа)*.
Вот пленный. Куда его велишь?
АТИЛЛА. Как пленный? Пленных, я сказал не брать!
ЕДЕКОН. И не брали. А этот сейчас сам свалился к нам в темноте, как муха в квас.
АТИЛЛА *(оглядывая ефиопа)*.
Из римской Африки похоже.
ЕДЕКОН. Ефиоп.
ЕФИОП *(плохо говорит)*. Да, да. Я — Рим нет . . .
АТИЛЛА. Ну, этак скоро римляне на нас
и обезьян погонят... *(Едекону)*. Уведи
и накорми его. *(Снова пение и плач)*.
Опять? *(Едекону)*. Постой-ка.
(Ефиопу) Ты слышишь? Там поют. Хоронят, умер —
ты это понимаешь: у-мер?
ЕФИОП. Умер . . . да, да *(зажмурившись, кладет щеку на ладонь)*.
АТИЛЛА. Вот, вот. Так кто же умер там?
Ты не слыхал? Не знаешь кто?
ЕФИОП. Большой самый . . . их большой самый . . .
Да-да.
АТИЛЛА. Аэций?

ЕФИОП. Да-да! Да-да!

АТИЛЛА *(возбужденно)*.

Вы слышите? Аэций мертв!
Теперь уж Рима не спасет никто.
Победа наша! Победили мы!

ЕДЕКОН. Арра! Издох Аэций! Арр . . . *(подавился под взглядом Атиллы)*.

АТИЛЛА. Молчи! Последний римлянин погиб . . .
Мой самый верный . . . враг и друг.

ИСЛА *(прислушивается)*.

Всё громче воют . . .

ОНОГОСТ. Глянь-ка, глянь . . .
Зажгли костер. Идем, посмотрим.

(Исла и Онагост уходят).

АТИЛЛА *(Едекону)*. Отойди, стой там. И чтобы никто, никто не смел сюда . . . понимаешь?

(Едекон отходит. Атилла отдергивает занавес вежи, входит туда).

ИЛЬДЕГОНДА *(отшатнувшись)*.

Ты?

АТИЛЛА. Да, я. Я и ты. Мы — вдвоем,
в первый раз — одни, наконец.

ИЛЬДЕГОНДА. Зачем ты пришел?

АТИЛЛА. Чтоб сказать: не надейся больше —
он умер . . . *(радостно)*. Ты слышишь
— он умер!

ИЛЬДЕГОНДА. Нет, убит! Это ты приказал
топором ему голову... *(останавливается)*.

АТИЛЛА. О ком ты? Умер Аэций,
и его хоронят сейчас,
зажжены костры, поют . . .
Теперь наша победа, я знаю!
Теперь я весь мир вспашу,
мечем вспашу глубоко!
чтобы богатый взошел посев,
небывалый, новый, мой!

Как вином, я победой пьян —
я полон — хочу одного:
взойди на ложе скорей
и собою меня напои,
чтобы жизнь — через край,
чтобы — как половодье,
чтобы — э-эх!

(хочет обнять Ильдегонду).

ИЛЬДЕГОНДА. Ты убил отца, ты убил Вигилу —
не подходи!

АТИЛЛА. Вигилу? Ты о нем?
Ты его еще любишь? Я, значит, ошибся:
ты совсем не горда. Или ты уж забыла
про подвиг его, когда он был послом?
про подвиг, о каком будут петь не скальды,
а шуты в колпаках . . .

ИЛЬДЕГОНДА. Подвиг? Шуты? . . . Что ты хочешь
сказать?

АТИЛЛА. А-а, вот что! Он скрыл — не сказал
тебе — струсил.
Бледнеешь? Не в бровь, прямо в глаз
попал?
Ну, будет потеха! *(Едекону)* Вигилу сюда!

ИЛЬДЕГОНДА. Ви . . . Вигилу? Он жив? Говори же!

АТИЛЛА. Он сам тебе скажет сейчас . . . подожди.

(Едекон вводит Вигилу).

ИЛЬДЕГОНДА. Вигила!

ВИГИЛА. Ты! Ильдегонда моя!

АТИЛЛА. Нет, моя! *(Едекону)*. Стань там между
ними.
Ну, римлянин, время долги платить.
Теперь ты расскажешь всё, как было.

ВИГИЛА *(в ужасе)*.
При ней? Нет! Пощади!

ЕДЕКОН. Ха! Попал карась на сковородку!

ИЛЬДЕГОНДА. Вигила!

АТИЛЛА *(Вигиле)*.

Молчишь? Так я начну сказку . . .

ВИГИЛА. Нет!

АТИЛЛА *(не слушая)*.

Ко мне он явился в посольской шкуре
и убийц нанимал меня убить.
Так было?

ВИГИЛА. Да.

ИЛЬДЕГОНДА. Как стало легко мне . . . *(Атилле)*. Он бы мир избавил
от чумы, от чудовища — от тебя!
Вигила, тебя я люблю еще больше . . .

АТИЛЛА. Не спеши, еще не кончена сказка.
Я дал ему выбор: или смерть или — что . . .
Нет, мне не поверишь. Пусть кончит сам.
(Вигиле) Молчишь? Еще раз тебе выбор даю:
вот этот топор *(на топор Едекона)* или скажешь всё.

ВИГИЛА *(с мучительным усилием)*:

Я выбрал . . . тогда . . . *(замолкает)*.

АТИЛЛА. Ну, смелее!
Я вижу, он скажет сейчас.
(Едекону) Он знает, не шутка твой топор . . .

ВИГИЛА. Я . . . Я . . .

ИЛЬДЕГОНДА *(обрывая)*.

Вигила! Стой!

(К веже подходит Онегост, с ним римлянин в низко надвинутом шлеме, плаще. Останавливается у входа в вежу, ожидая, пока Атилла кончит).

АТИЛЛА *(Ильдегонде)*.

Посмотри: голова в твоих руках.
(Ильдегонда невольно смотрит на свои руки).
Его голова . . . *(на Вигилу)*. Узнаешь?
Захочешь — он будет жить,
не захочешь — воля твоя.

ИЛЬДЕГОНДА *(Вигиле медленно):*

Если то, что ты скажешь . . . если это . . .
Взгляни мне в глаза . . .
(Вигила не поднимает глаз).
(решительно) Нет — молчи! Молчи! Молчи!

АТИЛЛА. Ты решила? *(Вигиле).* И ты решил?
Едекон, уведи! Он твой,
и как только взойдет заря . . .
Ты понял? . . .

ЕДЕКОН. Эх . . . за одно бы? *(Уводит Вигилу. Римлянин, которого привел Онигост, провожает Вигилу взглядом).*

АТИЛЛА *(Ильдегонде).*

Ну, слушай. Я за него расскажу,
хочешь верь, не хочешь — не верь.
Он выбрал быть высеченным плетьми,
мог выбрать смерть.

ИЛЬДЕГОНДА. Лжешь!

АТИЛЛА. Быть может.

ИЛЬДЕГОНДА. Так вот о каких следах на теле
он тогда говорил . . . Так вот почему
он рану мне не хотел показать . . .

АТИЛЛА. А-а, веришь?

ИЛЬДЕГОНДА. Нет . . . да . . . Будь ты проклят, гунн!
Ты мне яду подлил в любовь, —
но жива я еще . . . Берегись!

АТИЛЛА. Берегись лучше ты: я вернусь . . .

(Закрывает занавес, выходит).

ОНОГОСТ *(Атилле).* От римлян пришел перебежчик — вот — хочет говорить с тобой.

АТИЛЛА. Так. Еще что скажешь?

ОНОГОСТ. Вернулись с поля счетчики убитых.

АТИЛЛА. Ну, сколько? *(римлянину).* Подожди.

ОНОГОСТ *(на римлянина).*

При нем?

АТИЛЛА. Не всё ль равно? Мы победили.

ОНОГОСТ. Не знаю. Ровно по сту тысяч
осталось в поле — их и наших.

АТИЛЛА. Сто тысяч наших? *(молчит)*. Но один
Аэций
ста тысяч стоит. Я спокоен.
Аэций умер — Рим без головы.

РИМЛЯНИН. Аэций умер? . . .

АТИЛЛА *(римлянину)*.
Как? Ты оттуда и не знаешь? Странно!
Кто ты?

РИМЛЯНИН. Кто я — скажу наедине.

АТИЛЛА *(Оногосту)*.
Уйди! *(Оногост уходит)*.

(Римлянин распахивает плащ, поднимает шлем. Это — Аэций).

АТИЛЛА. Аэций — ты?

АЭЦИЙ. Да, я.

АТИЛЛА. Ты . . . ты жив?

АЭЦИЙ. Как видишь.

АТИЛЛА. Но сам я слыхал погребальный хор
и плач по тебе, и пленный сказал нам . . .

АЭЦИЙ. Король визиготов — Теодорик
от ран скончался, его хоронили.
А я, прости мне! — что делать? — жив.

АТИЛЛА *(в бешенстве)*.
Ты смеешься надо мной . . . ты смеешь?
Ты подслушал, как я о тебе говорил?
Я могу повторить: ты ста тысяч стоишь,
и одним ударом меча сейчас
сто тысяч голов с твоих плеч долой!
На — меч, защищайся!

(Отстегивает меч с правого бока, бросает Аэцию. Вынимает меч из левых ножен, нападает).

АЭЦИЙ *(не поднимая меча, отступает)*.

АТИЛЛА. Меча моего боишься? Уходишь . . . трус!

АЭЦИЙ *(в один прыжок хватает меч, вытащил, опять бросил).*
Когда-то давно ты мне дал приют,
не могу на тебя руки поднять.
Если можешь — убей, не двинусь!

АТИЛЛА *(замахнулся мечем, колеблется, опустил).*
Прости, дай руку. Я рад, что ты жив,
не забыл я, как жизнь ты мне спас в бою.
Говори, зачем пришел ко мне?

АЭЦИЙ. Ты знаешь сам: сейчас победа
пока ничья. Не хмурься: верно.
Так вот пришел я предложить —
уйдем домой, и ты, и я,
уйдем, пока еще не поздно.

АТИЛЛА. Как? Мне — теперь уйти?
Уйти и мир оставить прежним?

АЭЦИЙ. А разве не прекрасен мир?
Поедем в Рим со мной — увидишь:
под синим небом белые дворцы,
в дворцах поэты, флейты, пурпур, смех,
вино, огни, картины, книги, мрамор . . .
Под пурпурными парусами Рим
плывет галерой, полною сокровищ,
и хочешь ты ее пустить ко дну?

АТИЛЛА. Ты только вверх глядишь, на паруса:
взгляни-ка вниз! Взгляни и ты увидишь —
глаза сверкают волчьими огнями,
и люди на цепи, как псы, как звери,
всю жизнь гребут, согнувшись . . .
Впрочем, что ж:
ведь там не римляне, не люди —
значит —
о них зачем и говорить!

АЭЦИЙ. Нет, будем говорить: о людях,
о них забыл не я, а ты!
Сто тысяч мертвых там уже лежат,
сердец, дыханий, глаз, отцов, мужей,

сто тысяч жизней — или это мало?
Иль хочешь ты их миллионы?

АТИЛЛА. Нет, я хочу, чтоб жили все.

АЭЦИЙ. Так, значит, мир?

АТИЛЛА. Нет, до конца война.
Ты слышал: я хочу, чтоб жили все.
Теперь живут твои сто тысяч римлян,
а миллионы их везут в галере
и дохнут там, внизу . . . Ты понял:
хочу, чтоб жили и они.

АЭЦИЙ. И это твой ответ?

АТИЛЛА. Да.

АЭЦИЙ. Ну, что же, значит, встретимся в бою . . .

АТИЛЛА. Прощай! *(Издали неясные крики).*
Постой, неладно что-то . . .
Проснулись в лагере, кричат . . .

ОНОГОСТ *(входя)*. Ну, совсем взбеленились! Взбрело им в башку будто тут, в нашем стане, Аэций . . . Я и так и эдак, никак: пойди, уйми их.

АТИЛЛА. Сейчас приду . . . *(Оногост уходит).*
(Аэцию) Вот мой перстень:
его все знают, кто его покажет,
того пропустят . . . Иди немедля.

(Уходит. За ним тенью Камель. Аэций отдергивает занавес вежи. Камель возвращается и прячется около вежи).

ИЛЬДЕГОНДА. Аэций, как ты сюда попал?

АЭЦИЙ *(торопливо)*. Вот перстень Атиллы. С ним пройдешь, тебя пропустят. Накинь мой плащ — и беги скорей, пока он не вернулся.

(Камель, высунувшись, прислушивается, сейчас прыгнет, нож в руке).

ИЛЬДЕГОНДА *(накинула плащ, колеблется)*.
Нет, возьми.
(Она отдает перстень и плащ Аэцию)
Я не раньше уйду,

чем Атилле всё заплачу сполна
за себя, за отца, за Вигилу, за Рим.

АЭЦИЙ. Он вернется и бросит тебя на ложе.
Ведь ты безоружна. Он сильней . . .

ИЛЬДЕГОНДА. А змея безоружна? Я буду змеей:
раздвоится, станет змеиным язык.
Из себя я улыбку выжму, как яд . . .
Я сумею его обмануть . . .

(Камель скрывается).

АЭЦИЙ *(увидев вдали Атиллу — Ильдегонде):* Атилла! Говори скорее: ты хочешь, чтоб жил Вигила — или чтобы он умер?

ИЛЬДЕГОНДА. Чтобы . . . нет! Чтоб он молчал! . . .
чтобы жил! . . . Подожди!

(Аэций задергивает занавес, быстро уходит. Возле вежи — Атилла, перед ним Камель).

КАМЕЛЬ. Остановись, ты должен узнать . . .

АТИЛЛА *(с угрозой).*
Отойди от меня. Слышишь?

(Камель отходит в сторону. Атилла входит в вежу).

ИЛЬДЕГОНДА. Вигила еще жив?

АТИЛЛА. *(сурово).*
Да, но умрет. Скоро.

ИЛЬДЕГОНДА. Скорее! Скорее! Скажи, чтоб сейчас же!

АТИЛЛА. Я сказал — на заре.

ИЛЬДЕГОНДА. Я хочу, чтоб не жил ни минуты!
И его я могла любить?

АТИЛЛА *(понемногу меняя тон).*
А теперь?

ИЛЬДЕГОНДА. Ненавижу!

АТИЛЛА. И любишь? Мне это знакомо.

ИЛЬДЕГОНДА. И мне.

АТИЛЛА. И тебе? *(вглядывается, резко).*
Довольно. Ложись!

(Камель незаметно подходит к веже).

ИЛЬДЕГОНДА. Ты хочешь сделать так,
чтоб только ненавидела я?
АТИЛЛА. Я другого не жду. Я не слеп.
ИЛЬДЕГОНДА. А если? . . .
АТИЛЛА. Ты вьешься, змея, лжешь!
ИЛЬДЕГОНДА *(скорее с угрозой)*.
Попробуй, поверь . . .
АТИЛЛА. Ты грозишь или просишь?
ИЛЬДЕГОНДА. А ты разве не слышишь?
Или еще ты не понял:
только двое равных —
это ты и я.
АТИЛЛА. И с тобой мы — враги:
Рим и ты — для меня одно.
ИЛЬДЕГОНДА. Одно? Да так ли?
А если тебе скажу:
хочу с тобой рядом сидеть?
АТИЛЛА. Вот как? Что ж случилось?
ИЛЬДЕГОНДА. То, что я всё узнала,
то, что его, Вигилу,
как гнилую занозу — вон
из сердца я вынула. Понял?
АТИЛЛА *(к ней)*. Так дай же . . .
ИЛЬДЕГОНДА. Нет!
АТИЛЛА. Нет?
ИЛЬДЕГОНДА. Не наложницей быть хочу: женой.
Когда мы с тобой отпразднуем свадьбу . . .
АТИЛЛА. Тогда?
ИЛЬДЕГОНДА. Тогда обниму тебя так,
что ты задохнешься,
целовать буду так, что ты сгоришь!
АТИЛЛА *(молча, пристально глядит на Ильдегонду, потом)*.
Если так, то клянусь тебе,
что б ни было, что б ни случилось,
ты будешь моей женой.
Мое слово — крепко, как меч.

ИЛЬДЕГОНДА. Знаю.

КАМЕЛЬ *(войдя в вежу, трогает за плечо Атиллу).*

АТИЛЛА *(оборачивается, бешено).*
Ты опять? Ты дождешься, что я . . .

КАМЕЛЬ. Ты кладешь себе в постель змею.

АТИЛЛА. Ты смеешь?

КАМЕЛЬ . . . когда ты уходил, я слышал, как она с тем римлянином . . .

АТИЛЛА. Что? Говори!

КАМЕЛЬ . . . она сказала ему, что сумеет тебя обмануть, что сумеет тебя . . .
(Замолкает под взглядом Атиллы).

АТИЛЛА *(поворачиваясь к Ильдегонде).* А-а . . . Так? *(Медленно вынимает из ножен меч, глядя на Ильдегонду).*

КАМЕЛЬ. Нет, ты мне обещал.

АТИЛЛА. Возьми ее! *(Камель вынимает нож).*
Не здесь, уведи . . .

ИЛЬДЕГОНДА *(Атилле).*
Так вот как ты слово держишь?
Ты только что клялся мне — уж забыл ты? —
что б ни было, что б ни случилось . . .

АТИЛЛА. Молчи!

КАМЕЛЬ. Ты мне обещал!

АТИЛЛА *(молчит. Потом Камелю).*
Останься здесь. Но если ты
ее тронешь только . . . Слышишь?

КАМЕЛЬ. Да.

(Атилла выходит из вежи. Стоит снаружи, тяжело дыша. Недалеко — огромный камень).

АТИЛЛА *(подойдя к камню):*
Не сдвинуть? Сдвину!
Не сдвинуть? Сдвину! *(Налег руками, плечом, камень покачнулся).*
Неужели то, что во мне — тяжелей?

ШУТ ЗЫРКОН *(появляется, молча смотрит, подходит)*. Что, землю захотел повернуть?

АТИЛЛА. Поверну.

ЗЫРКОН. А себя не можешь? Зацепило?

АТИЛЛА. Ты мудрее всех — так слушай:
пополам рассечено сердце,
два сердца бьются во мне сейчас,
и каждое сердце враг другому.
Одно хочет убить . . .

ЗЫРКОН. Другое — обнять.

АТИЛЛА *(показывая на Ильдегонду и Камеля в веже)*.
Я ей дал слово сейчас,
что она будет моей женой,
а ему дал слово . . .

ЗЫРКОН. При мне. Я помню. А ты, как Оногост — знаешь: и так, и эдак . . .

АТИЛЛА. Как?

ЗЫРКОН. Пусть станет твоей женой, а после отдай, кому обещал.

АТИЛЛА. После?

ЗЫРКОН. Да *(показывая на камень)*. А только . . . после-то силы хватит сдвинуть?

АТИЛЛА *(нахмурившись, молчит. Потом)*. Ислу позови . . . *(подойдя к веже)*. Выходите!

(Выходят Ильдегонда и Камель. Зыркон привел Ислу).

АТИЛЛА *(Исле — на Ильдегонду)*.
Ты отправишь ее домой — ко мне —
сейчас же. И пусть всё готовят — к свадьбе.

ИСЛА *(оторопело)*.
Как?

АТИЛЛА. Ты слышал? Исполни!

КАМЕЛЬ. А я?

АТИЛЛА. Ты ее получишь после . . .

КАМЕЛЬ. Я подожду.

АТИЛЛА *(Ильдегонде)*.
Ну, милая невеста, на прощанье
Получишь свадебный подарок от меня.

ГОЛОСА *(издали)*. Ао! Рыщь! Ао! Рыщь!
АТИЛЛА. Что там еще? *(Вбегает Едекон. Ему)*.
Ты кстати. Видишь? —
заря. Иди к нему, кончай —
и голову его пошлешь . . .
ЕДЕКОН. Ч . . . чью голову?
АТИЛЛА *(громко)*.
Как чью? Вигилы.
(Ильдегонда вздрогнула. Крики вдали слышнее).
ЕДЕКОН. Его сейчас . . . там — слышишь?
АТИЛЛА *(бешено)*. Что? Ну?
ЕДЕКОН. Не гневись: его еще, гляди, поймают . . .
АТИЛЛА *(еще бешенней)*. Как, он убежал?
ОНОГОСТ *(взобравшись на телегу, глядит)*. Глядите, вон он, вон он!
ЕДЕКОН *(Атилле)*.
Ты сам же его отпустил?
АТИЛЛА. Я? Его? Ты спятил?
ЕДЕКОН. Он твой перстень показал часовому.
АТИЛЛА. Я перстень дал не ему.
ЕДЕКОН. А кому же?
АТИЛЛА. Аэц . . . А этот перебежчик римский —
где он?
ЕДЕКОН. Часового в брюхо и поминай, как звали.
АТИЛЛА. Так — оба? Обоих догнать! В куски!
(Едекон убегает).
ГОЛОСА. *(Где-то внизу)*. Ао! Аррчь! Рыщь! Зде! Пугу! Пугу!
АТИЛЛА *(Оногосту)*.
Ну, что же? Что там? Говори!
ОНОГОСТ *(с телеги, погоне)*. Лево! Лево! Туда! Туда!
АТИЛЛА. Ты слышишь? Отвечай! Оглох?
ОНОГОСТ. Вон там — чуть видать! Похоже —
Вигила.
Или нет — другой . . . Вигила! . . .
Нет . . .

ИЛЬДЕГОНДА *(в стороне, напряженно прислушивается).*
АТИЛЛА *(топает).*
А, сыч слепой! Да кто же?
ОНОГОСТ. Вот наш догнал — схватились . . .
Да сверху — сверху! Не так!
Эх, вырвался из рук . . .
Ну, конец! . . .
АТИЛЛА. Что? Что?
ОНОГОСТ. От римлян скачут . . .
Вот-вот! Подхватили. Обоих . . .
Готово! Не догнать!
ИЛЬДЕГОНДА *(Исле в сторону).* Теперь идем.
АТИЛЛА. Ну, что же прощай, невеста. Жди.
У нас с тобой еще не кончен счет . . .
ИЛЬДЕГОНДА. Не кончен — нет!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Палата Атиллы. Та же, что в первом действии, или другая. Свадебное столованье. На возвышении стол. В голове стола — Атилла и Ильдегонда, по левую руку Атиллы — Керка; дальше Исла, Онегост и еще несколько ближних кметей. Столованье уже к концу, многих разобрал хмель. По средине палаты Кобзарь кончает сказ.

КОБЗАРЬ. И походу конец. А сказу конца нет.
ГОЛОСА. Слава! Князю с молодой — честь! Атилла! Атилла!
ЕДЕКОН *(охмелев, обнимает и целует свой топор).* И-их, родной, погуляли мы с тобой! *(Кобзарю).* А, врешь ты про тыщу лет. Не вернутся наши времена.
КОБЗАРЬ. Ты вином сыт?
ЕДЕКОН. Во — по сих пор!
КОБЗАРЬ. А завтра проспишься — будешь пить?
ЕДЕКОН. И-их, буду!
КОБЗАРЬ. Так и земля: через тыщу лет проспится — опять красного пить захочет.

ЗЫРКОН *(Едекону)*. Не тужи: были бы ножи, а бараны найдутся.

ЕДЕКОН. А я — не я! *(Сам удивился и замолк. Хохот)*.

КОБЗАРЬ. Эх, ты топор, соскочил с топорища!

ЕДЕКОН. А-а, ты мне поперек говоришь? Ты за римлян? Бей римлян . . . *(хватается за топор)*.

1-й КМЕТЬ *(старик)*. Тише, дурак. Или не знаешь: молодая-то сама, говорят, из римских . . .

ЧАШНИК *(подносит кобзарю чашу)*. Просят тебя князь с молодой княгиней чашей вина.

КОБЗАРЬ *(взяв чашу — молодым)*. Чтоб вам всю ночь спать не в мочь, чтоб игра до самого утра. *(Хохот)*.

1-й КМЕТЬ *(второму)*. Игра то игра . . . да будет ли весела?

2-й КМЕТЬ. Что так?

1-й КМЕТЬ. Да ты на молодую погляди — в бровях туча, то и гляди гром грянет.

ЧАШНИК *(подносит чашу Керке)*. Просят тебя князь с молодой княгиней чашей вина.

1-й КМЕТЬ *(второму)*. Глянь, глянь, это его старая . . .

(Все затихают, смотрят).

КЕРКА *(встает. Рука у нее дрожит, расплескивая вино. С трудом, после паузы)*. Князю моему долго жить . . . Молодую княгин . . . ль . . . любить . . .

2-й КМЕТЬ. Эка . . . на полотно расплескала!

1-й КМЕТЬ. А вино греческое, как кровь. На белом-то, гляди-ка...

КЕРКА *(выпив вино, садится. Закрыла глаза рукой, опять открыла. Атилле)*.

А нашу свадьбу — помнишь, князь?
Как дождь всю ночь стучал нам в крышу,
а утром ты раскрыл окно . . .

АТИЛЛА *(не отрывая глаз от Ильдегонды)*.

Шел дождь? Не помню . . . может быть . . .
(Ильдегонде) Скажи хоть слово . . .

(Камель в деревянных башмаках, стараясь не стучать, подходит, останавливается сзади. Ильдегонда услышала, оглянулась. Атилла тоже).

АТИЛЛА *(Зыркону — шопотом, бешено):*
Скажи, чтоб он подальше — а не то . . .
ЗЫРКОН *(тихо).* Что? Камешек тяжел? *(подходит к Камелю).*
ЕДЕКОН *(стучит по столу).* Бей, бей римлян!
КМЕТИ *(унимают его).* Тише, тише!
ИСЛА *(всё время зорко наблюдавший за Атиллой, вставая).*
Нет, громче! Громче! А не то забудем,
что поназвали мы на пир гостей,
а мясо где? Еще в лесу рычит!
Что печь мы распалили вот так жарко,
а где дрова? Еще в лесу растут!
ГОЛОСА. О чем он?
ИСЛА. О чем? О Риме! Или вы забыли,
что ранен Рим, — но он еще не сдох.
Чтоб с бабами его вам не проспать,
чтоб не пропить — я вот о чем!
ГОЛОСА. А верно он . . . верно! . . . так! . . .
ЕДЕКОН. И-х, гуляй!
ИСЛА *(Атилле).* Ты не гневись. *(Атилла, нахмурившись, молчит).*
ОНОГОСТ *(стараясь замять):* Э-э . . . это самое . . . Чего это я бишь хотел? Да . . . тут были мозги курячьи . . . где они? У кого?
ЗЫРКОН. У кого мозги курячьи? У тебя. *(Хохот).*
ОНОГОСТ *(сердито).* Пьян, дурак? *(Атилле).* Упились, кончать пора. Гляди: кто сам на бок — голову — на сторону, а кто и весь под стол.
АТИЛЛА. Вот, спроси молодую, как она.
(Ильдегонде) В опочивальню ты пойти не хочешь?
Сдается мне, что нам уж время
Игру начать . . . вернее: кончить.
(Ильдегонда молчит).
(Оногосту) Ха! Молчит!
ЗЫРКОН *(Атилле).*
А ну-ка тебя спросить: помереть
хочешь? Пожалуй, и ты смолчишь.

ОНОГОСТ. Дурак ты, мурин. Мы на свадьбе, а ты про что?
ЗЫРКОН. Про что? Дурак свиснет — умный смыслит.
КОНЮХ *(встревоженный вбегает)*.
Оногост, поди-ка скорей!
ОНОГОСТ. Чего? Как с цепи.
КОНЮХ. Беда!
ОНОГОСТ. Что еще?
КОНЮХ *(на Атиллу)*.
Его коня-вороного, знаешь?
ОНОГОСТ. Ну?
КОНЮХ. Стоял, ел овес — вдруг об земь,
Мы к нему. Глядим: издох . . .
ОНОГОСТ. Ой, к худу! А, может, отравлен?
КОНЮХ. Как же князю теперь сказать? Боюсь.
ОНОГОСТ. До утра подождем:
с молодой ночь проспит — всё простит . . .
КЕРКА. Что случилось? О чем вы тут?
ОНОГОСТ. Да мы так . . . об том . . . об сем . . .
Говорю, что время спать,
Уж поздно, догорают огни.
КЕРКА. Пусть всю ночь огни горят.
Я боюсь . . .
ОНОГОСТ. Чего?
КЕРКА. Не знаю . . .
Стукнут дверью — меня бросит в жар,
звякнут чашей — я вся вздрогну . . .
ОНОГОСТ. Будь покойна: мы в оба глядим.
хотя — хоть оно, конечно . . .
АТИЛЛА *(Ильдегонде)*.
Всё молчишь?
Что сдвинула брови, как крылья?
Всё равно — не улететь никуда:
теперь не поможет тебе
ни твой змеиный язык,
ни Рим, ни твой бог, никто.
Молчишь? Проиграла игру?

ЕДЕКОН *(приплясывая на месте, поет).*

Эх, вино — эх мед!
Тоска сердце пьет —
далеко милой живет . . .

1-й КМЕТЬ. Да тише ты!

2-й КМЕТЬ. Вот хлебнул: рогами землю роет! *(В это время Онигост подходит к Кобзарю и двум певцам, один помоложе, другой седобородый — потом идет к Атилле).*

ОНОГОСТ. Не спеть ли Кобзарю еще?

АТИЛЛА. Уж пел, довольно.

ОНОГОСТ. Так есть заморские певцы:
тот — норский скальд — седобородый,
а помоложе готский зингер.

АТИЛЛА. Ну, пусть какой-нибудь один — и будет:
пора уж нам . . .

ИЛЬДЕГОНДА. Скорей бы! всё равно . . .

АТИЛЛА. Спасибо, подарила словом!

ОНОГОСТ *(подойдя к певцам):* Ну . . . ты . . . Или ты . . . Нет лучше ты . . . Ой, что я! Ты . . . *(на другого).* То есть ты . . .

ГОТСКИЙ ЗИНГЕР. Значит, оба!

ОНОГОСТ. Не-нет: один . . . сейчас скажу . . . *(зажмурив глаза, гадает на пальцах).* Тебе, старик. Идем. *(Ведет скальда к Атилле).*

АТИЛЛА *(Скальду).*

Что, можешь ты такую песню спеть,
чтобы живой водой жену мне сбрызнуть,
чтобы огонь в глазах, чтоб улыбнулась?

СКАЛЬД. Не знаю, улыбнется или нет . . .
попробую. Сейчас — вот только . . .

(Подтягивает струны на лютне. Руки дрожат).

АТИЛЛА. Что, выпил? Руки-то дрожат?

СКАЛЬД. Старик я, уж прости . . . сейчас, сейчас . . .
(начинает речитативом).
Однажды Вигурд пришел домой:
ворота настежь, отравлен пес,

стоит его дом неживой, немой.
Атэвульф его Хильду к себе увез.
Семь лет всюду Вигурд ее искал.
Подъехал к Рейну. Тут змей подполз
к нему навстречу из черных скал —
услышал Вигурд железный голос . . .

АТИЛЛА. Ну, у тебя совсем он не железный:
Сломается того гляди . . .
Смелее пой, чего боишься?

СКАЛЬД. Схватил было Вигурд кинжал.
«Оглянись», сказал ему змей.
Оглянулся: замок. Вбежал.
Атэвульф там с Хильдой — с ней.

(Ильдегонда подняла голову, смотрит на скальда).

Взглянула на Вигурда: нет
не узнала его она,
поседел он за семь лет.
Муж сказал ей: «дай вина,
пусть песню споет старик».
Запел — и узнала: он . . .

(Ильдегонда оперлась на стол руками — видно: сейчас вскочит).

Вот крикнет . . . сдержала крик —
и умолк вдруг лютни звон . . .

(Опустил лютню, замолк, руки у него дрожат, смотрит на Ильдегонду).

АТИЛЛА. Ну, дальше! Нас ты только раззадорил:
вина понюхать дал, а выпить не дал.

ГОЛОСА. Дальше! Дальше! Кончай!

ЕДЕКОН. Бей римлян! Пустите, пустите меня — убью!

1-й КМЕТЬ. Чудак! Да где же тут римляне?

АТИЛЛА *(скальду)*: Ну что ж, кончай . . .

СКАЛЬД. Прости . . . я не . . . не могу . . . не держат ноги . . .

АТИЛЛА. Ну, сядь *(взглянув на Ильдегонду)*.
Да ты и в самом деле
ее живой водою сбрызнул:

румянец, солнце бьет из глаз!
(Ильдегонде) Уж не прикажешь ли поверить,
что ты не солгала в ту ночь,
ты помнишь? в веже . . . ты сказала:
«Тогда обниму тебя так, что ты» . . .
ИЛЬДЕГОНДА *(глядя на Атиллу, медленно).*
Так что ты . . . подожди немного . . .
ты увидишь: обещанье свое сдержу . . .
АТИЛЛА. Ну, чудеса! *(на Скальда).* Вина ему!
(Чашник идет).
Нет, пусть хозяйка поднесет,
пусть поднесет ему сама
за то, что угодил ей песней.
ИЛЬДЕГОНДА *(поднося).*
Князь чашей вина тебя просит. Пей!
ОДИН ИЗ ГОСТЕЙ. Постой, молодая, обычай есть —
Чтоб хозяйка вино сластила.
ГОЛОСА. Верно! Верно! Так! Губь в губы!
АТИЛЛА *(смеясь).* Он прав. Ильдегонда: есть обычай.
Иль тебе старика целовать не охота?
Нет, делать нечего: целуй!
(Смех, крики. Скальд пьет, затем целует Ильдегонду — долго, не отрываясь).
ГОЛОСА. Ай, да, старик! Горазд! Стар гриб, да корень свеж!
СКАЛЬД *(Ильдегонде).*
Да, сладко твое вино.
Чем же мне тебя отдарить?
Хочешь лютню мою? *(дрожащей рукой протягивает лютню)* Бери.
ИЛЬДЕГОНДА. Зачем она мне?
СКАЛЬД *(рука у него дрожит все сильнее. Умоляюще).* Бери *(тихо).* Там внутри ты найдешь . . . нож . . .
(Ильдегонда хватает лютню. У скальда от волнения ноги подкашиваются, опускается на скамью).
АТИЛЛА. А гляжу я — квел ты, старик!
(Чашнику) Еще вина ему дай,

чтобы ноги не протянул.
(Чашник подходит, наливает скальду).

ИЛЬДЕГОНДА. И мне . . . *(Скальду).* За лютню твою . . .
(пьет, подносит лютню к уху).
Ты слышишь? Сама поет . . .
Или это звенит во мне кровь?
Я петь-плясать хочу!

ГОЛОСА. Так . . . так! Эх ее . . . Буй!

ЗЫРКОН *(Атилле).* Эй, друг: ель не сосна, шумит не спроста.

АТИЛЛА. Придержи свои глумы до завтра!

ЗЫРКОН. Я говорю не глум, а ты бери на ум . . .

АТИЛЛА *(Скальду).*
Ну что ж, играй, старик.
Пусть пляшет, любо мне!

ГОЛОСА. Любо! . . . Лепо! . . . Лепо! . . . Ладь!

(Скальд играет. Ильдегонда пляшет. Все жадно, молча смотрят, иные вскочили с мест, подошли ближе).

КЕРКА *(в стороне — Оногосту).*
Что с ней? Не она совсем.
Молчит она — страшно мне.
Весела — еще страшней . . .

(В это время Камель, медленно подвигаясь, становится перед Атиллой, смотрит на него. Атилла увидел. В руках у него чаша, ударяет ею о стол — чаша вдребезги. Мгновенно всё остановилось).

ГОЛОСА. Что там? Что? Что? *(Тишина).*

АТИЛЛА *(Камелю).*
Ты опять? Что тебе надо?

КАМЕЛЬ. Когда?

ИСЛА. Дал слово, Атилла, не забудь! *(Атилла молчит).*

ИЛЬДЕГОНДА *(подойдя к Атилле).*
Что? или не нравится, как я пляшу?

АТИЛЛА. Пляшешь так хорошо . . . что боюсь — перестану Атиллой быть.

ИЛЬДЕГОНДА. Так кто же проиграл игру? *(Смеется).*

АТИЛЛА. Подожди: ты рано смеешься.

ИЛЬДЕГОНДА. Так как же: я и Рим одно? *(Смеется).*

ЕДЕКОН *(очнулся, приподнял голову).* Б-бей римл . . . *(Ему зажимают рот).*

АТИЛЛА *(Ильдегонде).*

Не к добру ты Рим помянула.
Пожалеешь . . . смотри!

ИЛЬДЕГОНДА. Не пришлось бы тебе пожалеть!

АТИЛЛА. Не успею . . . Эх, рубить, так уж сразу!
Вина мне *(Наливают, он пьет):*
(Камелю) Ты меня спросил: когда?
Так вот тебе: завтра . . .

ИСЛА. Так, Атилла! Так!

АТИЛЛА. Молчи.
Эй, слушайте все теперь!
Заснули? Довольно спать!
Или забыли вы, как клялись,
что Рим сокрушим в хрушь?

ГОЛОСА. В хрушь! В хрушь!

АТИЛЛА. Так завтра с зарей — в поход!
Кто жилье не успел достроить —
пусть сожжет, что начал, до тла.
Кого руки дома обнимут, —
пусть отрубит руки прочь.
Завтра все — на коня!

ГОЛОСА. Так, так! Бей полохом! Дыби!

ИСЛА. Это ты — опять ты, Атилла!

ГОЛОСА. Арра, Атилла! Ты! Ты наш! Наш!

АТИЛЛА. Так до утра!

ГОЛОСА. До утра! До утра!

ЕДЕКОН *(подняв голову, глядит на Атиллу).* Про . . . прощай. Прощай! *(горько плачет).*

(Неясный говор. Гости расходятся. Едекона свалил хмель — остается на скамье. Кроме него — Атилла, Керка, Ильдегонда, Исла, Оногост, Зыркон; скальд хочет уйти).

ИЛЬДЕГОНДА *(скальду — тихо):*
Ты хочешь оставить меня одну?
СКАЛЬД. Я весь дрожу — ты видишь . . .
Я сгублю и тебя и себя.
ИЛЬДЕГОНДА. Так возьми свою лютню — иди!
СКАЛЬД *(колеблется. Потом).* Я останусь . . .
АТИЛЛА *(подходит к Ильдегонде).*
Пойдем, ночь коротка. Пора.
ИЛЬДЕГОНДА. Пора, говоришь? *(Молча смотрит на Атиллу).* Хорошо, идем.
(Оногосту) Мою лютню туда отнеси —
положи ее на постель.
Я песню сыграю мужу,
такую песню, что он
позабудет всё на свете!
(Оногост берет лютню, идет. Керка хватает его за руку).
АТИЛЛА. Если б только забыть одно слово: завтра.
КЕРКА *(Оногосту).*
Нет.
АТИЛЛА *(Оногосту).*
Ну, что ж ты стал? Неси.
КЕРКА *(цепляясь за Оногоста).*
Нет! Нет!
АТИЛЛА *(Керке — сурово).*
Я сказал неси! Ты слышишь?
КЕРКА *(отпуская Оногоста, Атилле).*
Прости . . .
Что со мной — сама не знаю,
но сердце так сжалось вдруг,
что я . . . Иди, Оногост . . .
(Оногост уносит лютню. Керка подходит к Ильдегонде, смотрит ей в глаза, молча, долго).
КЕРКА. Ильдегонда, тебе я всё прощу,
как сестра я буду любить тебя,
как рабыня я буду тебе служить,

поклянись мне только в одном,
что ты в сердце зла к нему не таишь,
что собою ему украсишь жизнь,
поклянись!

ИЛЬДЕГОНДА. Мне жаль тебя, Керка . . . Прости меня.

КЕРКА. А, не хочешь поклясться? Значит ты . . .

АТИЛЛА *(Керке)*. Уходи отсюда сейчас же!

КЕРКА *(торопливо)*.

Нет, нет . . . ведь ничего не сказала.
Мне страшно, позволь мне остаться здесь —
только б слышать: ты дышешь, или
смеешься,
или слово сказал, или . . .

(Атилла отходит от нее, она замолкает с протянутыми руками. Девушки окружают Ильдегонду, чтобы вести ее в опочивальню).

ИЛЬДЕГОНДА *(скальду)*.

Ну, что ж, старик . . . прощай . . .
Не знаю — навек иль до утра?

СКАЛЬД *(делает движение к Ильдегонде, потом овладевает собой)*. Прощай!

ИЛЬДЕГОНДА. Так ты будешь здесь — помни!

СКАЛЬД. Да!

(Как мешок опускается на скамью. Ильдегонда уходит в опочивальню).

АТИЛЛА *(Оногосту)*:

Приготовь мне к утру коня,
чтоб выкормлен был, подкован.

ОНОГОСТ. Коня?

АТИЛЛА. Ты что на меня так смотришь?
Побелел, как баба. Стыдись!

ОНОГОСТ. Коня? Вороного?

АТИЛЛА. Да ты одурел или оглох?
Вороного коня, да.

(Оногост отходит. Атилла один. Стоит хмуро, сгорбившись).

ЗЫРКОН *(подходя к нему).*

Отчего плечи согнулись?
Что, друг, на плечах несешь?

АТИЛЛА *(медленно).*

Атиллу . . . тяжел он . . . Ты знаешь . . .

ЗЫРКОН. Знаю, друг, знаю . . . Неси . . .

АТИЛЛА *(молчит. Потом).*

Всё равно! Что бы ни было завтра —
Эта ночь до зари — моя!

КЕРКА *(издали, протягивая руки, тихо):*

Остановись! Взгляни хоть раз!

(Атилла не слышит, входит в опочивальню. Лязг задвигаемого засова).

ОНОГОСТ *(тушит часть светильников. Про себя):*

«Приготовь, говорит, коня» . . .
А конь давно уже готов:
вверх брюхом мертвый лежит . . .
Эх! *(Иле)* Идем.

(Уходят. В палате полумрак, два-три светильника. В темном углу, скорчившись — Зыркон. Едекон — на скамье спит мертвым сном, обняв топор. Скальд и Керка, с разных сторон на цыпочках подходят к двери опочивальни).

КЕРКА. Зачем ты здесь, старик?

СКАЛЬД. Я . . . я жду . . .

КЕРКА. Чего?

СКАЛЬД. Не того, что ты ждешь.

КЕРКА. Ты болен? Тебя трясет.

СКАЛЬД. Остудился в пути . . .

(В опочивальне слышен смех Атиллы).

КЕРКА. Ты слышишь? Он там смеется . . .
Я помню, я знаю этот смех:
так смеялся он тогда со мной . . .
За окном дождь лил.
Я сказала: «Потуши свет».

Он рядом со мной лег . . . Темно . . .
Одни белые зубы . . .

СКАЛЬД. А ты видела, как лежат,
оскалив зубы навек —
смеются всё громче и громче,
но никто уж не слышит, никто.
никто — понимаешь?

КЕРКА. О чем ты? Я боюсь тебя.

(Слышны струны лютни).

СКАЛЬД *(задыхаясь)*. Там, кажется, лютня . . . *(Хватает Керку за руку).*
Скажи: ведь я не ошибся?
Скажи: ты тоже слышишь?

КЕРКА. Да, слышу: опять смеется.
Сквозь стену вижу: вот теперь
он одежду с нее снял . . .
она грудь прикрыла . . .

СКАЛЬД. Замолчи! *(спохватывается).*
Я, хотя и старик, правда . . .
но когда поцелуй слышу . . .
Постой . . . Затихли . . .
(Оба прислушиваются).
Вот лютня упала на пол . . .
Сейчас . . . Слушай!

КЕРКА. Ты сам упадешь, сядь!

(Скальд опускается на скамью. Пауза).

СКАЛЬД. Скорей бы . . . Сил нет ждать . . .
Убегу . . . закричу . . . всё брошу!

КЕРКА *(прильнув к дверям):*
Знаю: сейчас она крикнет, —
она крикнет: больно . . .

СКАЛЬД. Нет, он крикнет — слышишь, он!

(В опочивальне голос Атиллы, лязг отодвигаемого засова).

КЕРКА. Тссс . . . он!

(Керка отбегает в дальний угол. Скальд бросается к

двери. Из точивальни выходит Атилла, грудь расстегнута, в руках лютня. Застигнутый его взглядом, скальд застывает).

АТИЛЛА *(ищет кого-то глазами, увидел Зыркона, подзывает его).*

Ты мне нужен . . .
(стиснув плечи Зыркона — тихо).
Слушай: никому, никогда
о том, что сейчас я тебе скажу . . .

ЗЫРКОН. Говори — буду молчать, как земля.

АТИЛЛА. Я не могу, понимаешь?

ЗЫРКОН. Что не можешь?

АТИЛЛА. Не могу отдать ее на смерть,
не могу, чтоб у нее посинели губы,
не могу, чтоб закрылись ее глаза . . .
Не могу!

ЗЫРКОН. Не донес, надорвался? Эх, друг!
(На полу — обнял, прижался к ногам Атиллы).

АТИЛЛА. Молчи! Никому . . .

ЗЫРКОН. А завтра? Что ж будет завтра?

АТИЛЛА. Не хочу, чтоб завтра было . . .

ЗЫРКОН. Хочешь — не хочешь, оно будет. От него никуда не уйдешь. Разве что . . . в землю: там не догонит. *(Молчит, уткнувшись в ноги Атиллы).*

АТИЛЛА. Ну, будет . . . Иди, спи.
(Зыркон, закрыв лицо руками, выходит из палаты).

АТИЛЛА *(скальду).* Поди сюда, старик. *(Идет к столу, наливает вина и вглядывается в скальда).*
Мне чем-то знакомы твои глаза . . .
Ты раньше мне никогда не пел?

СКАЛЬД *(с трудом).* Н-нет. Петь — не пел . . .

АТИЛЛА *(распахивая грудь).*
Как будто в злой полдень жарко мне,
Иль это она зажгла всю кровь?
(залпом выпивает чашу).
А зря хвалилась: играть не умеет.

Просила, чтоб ты спел песню,
чтоб было ей веселей.

СКАЛЬД. Просила мне . . . мою лютню отдать?

АТИЛЛА. Просила, да. Что смотришь?
Бери и сыграй такое,
чтоб мне не слышать себя,
забыть, что есть нынче и завтра,
чтоб всё на свете забыть!
Ты понял? Играй.

(Уходит, опять лязг засова).

СКАЛЬД *(в отчаянии бросает лютню на земь).*
О, будь ты проклята!
Всё погибло . . . Конец . . .

КЕРКА *(подбегая к нему радостно).*
Он жив! Как камень с плеч!
О, пусть он ляжет с ней,
пусть он ее обнимает,
пусть целует, мне легко —
он жив . . . целует . . . слышишь?

СКАЛЬД. Собака! Гунн!

(Высоко подняв лютню, делает резкое движение к двери. Вдруг останавливается, встряхивает лютню возле своего уха, еще раз).

СКАЛЬД *(восторженно).*
Здесь нет, здесь нет ножа.
Ты слышишь: он не звенит.
Так, значит, взяла нож,
Значит, нож у ней!

КЕРКА. Нож? Кто ты? Помогите . . .

(Скальд зажимает ей рот, Керка схватила его за бороду, за волосы, он вырвался — борода и парик в руках у Керки. Мгновение оба растерянно смотрят друг на друга).

КЕРКА. Вигила . . . Помогите!

(Вигила опрометью выбегает в дверь. Керка хочет

броситься за ним и останавливается. Из опочивальни слышится стон Аттиллы, тяжкое падение тела).

КЕРКА *(кидаясь к дверям опочивальни).*

Помогите! Сюда! Скорее!

(бьется в двери опочивальни).

О, скорее! Сюда!

(Подходит с трудом проснувшийся Едекон, вбегают Исла, Оногост, Зыркон, Камель и другие. Окружили Керку).

ГОЛОСА. Кого? Кто? Беда! Огней! *(Керке).* Где он?

КЕРКА *(задыхаясь).* Убежал . . . *(показывает рукой на дверь).* Она там . . . *(показывает на опочивальню и стоит почти теряя сознание, ее держат под руки).*

ОНОГОСТ. За ним! *(Несколько человек с Оногостом бросаются наружу в погоню за убежавшим. Остальные у дверей опочивальни).*

ГОЛОСА. Плечом . . . Так! С маху! Бей! Вместе!

ЕДЕКОН *(с поднятым топором).* Сторонись . . . вы! С дороги, ну!

(Быстро взламывает дверь топором. Открывается: Аттилла ничком у порога и Ильдегонда с ножом возле постели. Все замерли).

КЕРКА *(бросается к телу Аттиллы, обнимает его).*

Ты! Ты! Твоя кровь! *(Тишина).*

ИЛЬДЕГОНДА *(показывается в дверях, дико смотрит на всех).*

А где он? Где он?

ИСЛА. Аррчь ее! *(Ильдегонду схватили, держат).* Кто он? Отвечай!

ИЛЬДЕГОНДА *(молчит).*

ОНОГОСТ *(вбегая вместе с остальными).* Поймали!

Евг. Замятин

МЫС БУРЬ

Роман

Мыс Доброй Надежды. 34°22' южной широты, 16°8' восточной долготы. Открыт в 1486 году Варфоломеем Диазом, который назвал его Мыс Бурь, т. к. не смог его обогнуть.

Но Иоанн II Португальский изменил его название после того, как в 1497 году Васко де Гама прошел мимо него, при ясной погоде, в Индийский океан.

Большая Энциклопедия.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Даше часто казалось, что то, что внутри нее, больше всего похоже на звездное небо. Она в эти минуты смотрела в себя как бы с края пропасти. Там, не в мозгу, не вверху нее, но в самой середине, в глубине, куда упирается мысль, царили покой, тишина и ясность. В знакомом рисунке лежали звезды, струился Млечный путь. Возможно, что там тоже действовали законы математики и астрономии: всё было таинственно-прекрасно, и, когда она смотрела в себя, она видела свое равновесие. И Даша любила любоваться этой глубиной, развивавшейся, вероятно, по тем же путям, что и мир вокруг нее, и она сама; то, что было высоко над ней, оказывалось в ее собственной крови, когда она доходила до этой глубины, куда упирались все размышления, все сомнения, все бессонницы; бывало так, словно она сидела над обрывом, а у ног лежали бы звезды; она часто подолгу оставалась с ними наедине. Сознание, что никто не знает и никогда не узнает, что для нее составляет главное в жизни, удивляло и радовало ее. Она видела в этом

звездном небе, опрокинутом в ней, связь свою со вселенной и иных связей не искала.

Темной августовской ночью она однажды долго сидела, закинув голову, смотрела вверх и думала о себе, о своей судьбе, о том, что было действительно ее судьбой, так как далеко не всё, что с ней происходило в жизни, было ее судьбой. Приближение судьбы она всегда чувствовала: всё в ней настораживалось, как бы готовясь принять удар — страшный, сокрушительный, всесильный — счастья или беды. Она внезапно чувствовала потребность — не познавать, не гадать, не рассуждать — но только повиноваться тому, что навстречу судьбе рождалось в ней, в эти мгновения, как музыка, предостережением или предвкушением. И там иногда, тяжелой, но стройной цепью, шли воспоминания, среди которых самое далекое оказывалось вдруг самым близким.

Это было давно, так давно, что собственно три жизни, прожитых ею, должны были бы ее окончательно отделить от него, сделать его таким же бескровным, как прочитанное в книге. Но этого не случилось. Она тогда стояла на лестнице, в двух шагах от парадной двери, которая трещала, ломалась, но не поддавалась — был наложен болт. И вот стекло вверху внезапно со звоном рухнуло вниз, высаженное прикладом. В черной дыре появилась большая, осторожная рука. Это была страшная минута. Рука просунулась в отверстие, нащупала болт и подняла его. Она сбросила его со звоном и грохотом на мрамор и осторожно, чтобы не порезаться, ушла опять в дыру. И только, когда она скрылась, дверь распахнулась и несколько человек с ревом бросились вперед.

Они были в полном боевом снаряжении, пулеметные ленты скрещивались у них на груди, папахи были сбиты на сторону. У одного из них шея была замотана кровавой тряпкой, он был без носа и подбородок его был в пене. Двое других одинаковым движением скинули винтовки и повалили на пол мать. Раздался нечеловеческий крик и удар затылка о нижнюю ступеньку лестницы. И в это мгновение Даша почувствовала крылья за плечами. Она бросилась вверх, по широким белым

ступеням, насквозь через чью-то открытую квартиру, в круглое окно черной лестницы, выходившей на чужой двор. Там она повисла на карнизе, увидела под ногами у себя белье, развешанное внизу на веревке, и сложенные штабелями дрова. Кто-то втянул ее в окно за ноги, зажал ей рот рукой. «Замолчи, замолчи же, девочка!» — сказал чужой голос, потому что она кричала, и вода полилась ей в лицо, в рот. От нее Даша пришла в себя.

Теперь вокруг говорили, что ей надо переодеться мальчиком, и она переоделась, стуча зубами. Это были штаны и рубашка, сапоги и куртка реалиста четвертого класса, Алеши Бойко, который жил в этом окне с отцом и бабушкой. Даша видела его часто на улице, возвращаясь из школы, и часто, обгоняя ее, он говорил громко, нарочно, чтобы позлить ее:

— Я знаю место, где такие косы режут, стригут и бреют, и ничего за это не берут!

Это было всего полгода тому назад, а когда, после тифа, Даша вышла из дому бритая, он остановился, раскрыл рот и долго глядел ей вслед, пораженный, словно не с ней, но с ним сыграли шутку.

И вот теперь она была одета им и перестала дрожать, увидев себя в зеркале. В первый раз в жизни она видела себя в мужском платье, в шапке-невидимке, закрытой наглухо от чужих людей. Она может теперь вернуться домой, теперь ей ничего уже не страшно, и не может быть страшно никогда вообще, потому что теперь она, как все... Но, впрочем, самое страшное в жизни, может быть, уже случилось? И никогда больше не будет такого страшного?

Странное чувство охватило ее, когда она стояла так и смотрела на себя: чувство свободы, уверенности в себе, замкнутости в себе; чувство готовности ко всему, чувство начала жизни.

Осторожно, зажав в руке яблоко, она прошла двором, обогнула дом, остановилась у подъезда. Он был раскрыт настеж. Кто-то выбежал из него, ни на кого не глядя, но Даша не заметила, кто именно. Вышибленная дверь, лестница, грязные,

кровавые следы на полу — всё было особенное, потому что особенным было молчание воздуха, стен, света, предметов. Такое было окаменение, когда, кажется, кровь, раздувшая жилы, разорвет их и не будет дыхания. Тихий, равномерный звук, будто где-то что-то капало, еще подчеркивал эту ледяную тишину, так несвойственную этому дому. Даша с усилием сделала несколько шагов; звук продолжался. Да, это капало что-то, или это был всхлип, такой равномерный, слишком равномерный... И вот Даша увидела её: она лежала навзничь, лицо её и шея были в лиловых синяках, ноги были открыты, волосы распущены и развеяны на сторону. Медорка, рыжий сетер (помнивший еще дедушку Тягина), сидел над ней и лизал ей мертвое лицо, с равномерным, всхлипывающим звуком. И уже это не было похоже на капание воды. Он лизал ей глаза (из которых один был выдавлен). И кажется, не узнал Дашу в одежде Алеши Бойко.

Там, за стенами тягинского дома, шла война, война, в которой никто не мог бы найти виноватого. Там боролись две правды, потому что оказалось, что в мире много правд. В истории этого города, этого угла страны, люди уже два года старались найти первопричину ненависти, двигавшей эту войну, старались понять или угадать, когда, в какую именно минуту и кем была рождена эта сила. И Даша стояла и смотрела перед собой так, как если бы только теперь она осознала эту стихию. За то, что в мире много правд, надо платить, платить, платить. Никто не увильнет от этого!

Качаясь и держась за стену дома, она вышла и пошла по улицам. Прохожие, которых было немало, не видели ее, а видели сквозь нее улицу. В мужской одежде, как зверь в шкуре... мимикрия... я никогда не думала, что можно таким образом спрятаться... очень свободно ногам, жмет подмышками... А ведь я в дурмане, я еще не поняла... Ей было пятнадцать лет. Голова ее уже густо темнела волосами, но лицо после тифа всё еще оставалось треугольным. В городе стреляли. Был летний вечер, пыльный, душный, с чем-то черным в воздухе и на лицах людей. На углу Английской улицы, в

винном погребе, орали голоса и вся улица была залита вином, и так как мостовая, заворачивая, идет в этом месте под уклон, вдоль тротуара с тихим журчанием струилось, слегка пенясь, шампанское и пахло рвотой.

Добро или зло? Счастье или несчастье? Каков должен быть разрез мира? Вдоль или поперек? Что выбрать? Сейчас люди режут мир поперек: ищут счастья и о добре не думают. Они хотят устроить мир. «Пришел день для меня устроить самое себя, — подумала Даша и посмотрела вокруг, — осознать этот день, это сегодня, пока еще неоткуда взять слез. Осознать жизнь. Но что-то мертво во мне. Что-то было таким живым, чутким, нежным, но по нему ударили так сильно. Может быть, оно умерло совсем? Но почему тогда жива я?»

Когда она вернулась к Бойко, была уже ночь. Бабушка открыла ей. Шепча и крестясь, она провела Дашу в столовую (где днем ее переодевали), и сухой, маленькой рукой стала гладить ее по голове. Вероятно, ощущение у нее было такое, будто она гладит Алешину голову, да и роста они были одинакового. Бабушка слегка дрожала от старости. На длинный до пят халат с темными разводами был накинут меховой шушун, седые волосы были гладко зачесаны на голове. Большие темные глаза на смуглом лице смотрели глубоко и проницательно. И вдруг что-то заколебалось в Даше: это шло к ней утешение, то самое, в котором до сих пор она никогда еще не нуждалась, которого немножко боялась, которого, собственно, в будущем, твердом и крепком, не должно было в мире быть. Оно было здесь, в теплоте руки, в обиходе старинной жизни, в уродливом буфете, самоваре, иконах в углу. Это была встреча с ним, первая встреча и, может быть, — последняя, потому что всё это кончается, его больше не надо, его больше нет. «А мы, когда нам будет шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, какими будем мы? — подумала она. — Что мы будем давать людям? Без икон, без самоваров, без крестящей руки, без этого шопота и слезы, падающей из глаза? Без этой памяти о нетреснувшем, о цельном мире, о вселенной, которая стояла твердо, без этой веры...» И ей ясно

представился — на одно короткое мгновение — тот мир, в котором не на кого будет опереться.

Незаметно, неслышно открылась дверь и в столовую вошел в полувоенной гимнастерке хозяин этого дома, Алексей Андреевич Бойко; ему в то время было сорок лет с лишним. Он был режиссером городского драматического театра и о нем часто писали в газетах, особенно в последнее время, в связи с самоубийством актрисы Дюмонтель. Теперь он был очень бледен, как-то даже голубовато бледен; всё лицо его было совершенно необычно, в провалах заострившихся щек лежала чернота, глаза были красны и вид он имел внезапно состарившегося человека. На сухих губах его был след чего-то коричневого. Он тотчас же сел на стул у двери.

Даша знала его, но никогда не обращала на него внимания. В городском драматическом театре ее гораздо больше интересовали актрисы; она раза три видела и Дюмонтель, и один раз в «Романе», о чем не знал никто. Бойко она иногда встречала на улице. Как-то так повелось, что он кланялся ей, но никогда не менял выражения лица, темного и холодного взгляда, несколько высокомерного. В последний раз она видела его вечером, дней пять тому назад, когда возвращалась с уроков, у самого своего подъезда, и он прошел быстро, отвернувшись от нее. Ей это было безразлично.

Он встал, будто решившись, наконец, сказал что-то бабушке совсем тихо и она посторонилась, пропуская их в дверях. Даша и Алексей Андреевич сошли во двор; опять она обогнула угол дома, опять вошла в подъезд. Луна теперь светила во всю и ступени чередовались: черная, белая, черная, белая. Бойко молчал. По тому, как вышел Медорка и равнодушно прошел мимо, на улицу, Даша поняла, что мать убрали и она стала дрожать. Он взял ее под руку, выше локтя, но опять ничего не сказал, только сжал довольно сильно. Было ли это утешение или что-то из породы утешений? Или он был уже «наш» (думала Даша), и ничего этого не умел да и не хотел? И ров лег не между нами и им, но между ним и ба-

бушкой? И у него уже нет ничего, чем бы он мог еще помочь и себе, и другим?

Она теперь лежала посреди гостиной, на столе, покрытая кисеей. Две толстые, спокойные женщины сидели по двум сторонам ее и при свете трех свечей Даша увидела, что они крепко спят. Это были кухарка и ее дочь, еще недавно буйно кутившая с офицерами. И она лежала с закрытым лицом, с тем лицом, которое Даша так любила, которое всегда было открыто; но не открыта была ее душа, и часто она проливала слезы. Лицо исчезло. Оно было спрятано, оно уйдет скоро совсем. Уже завтра утром оно будет иным, чем было; уже сейчас его, собственно, нет. И нет голоса, ничего больше нет. Только следы последнего, позорного страдания.

Он хотел разбудить кухарку, но Даша за руку остановила его. Она держалась теперь за него обеими руками, но ей почему-то казалось всё время, что не она держится за него, но он за нее.

— Идите к себе, — сказал он, не глядя на Дашу и так жестоко, что она почувствовала, что сейчас, наконец, хлынут ее слезы. — А утром, как проснетесь, приходите к нам опять.

Она уже не владела голосом, но мотала головой и всё сильнее вцеплялась в него. «Стыдно. Столько продумано, столько узнано. Презирала малодушие. Стыдно. Была так горда!» — твердила она себе. Но слезы уже текли. Она не могла здесь оставаться, она сдавалась, дрожа и плача. «Они еще придут!» — прошептала она, сдержав рыдание. «Не думаю», — сказал он неуверенно. Но Даша не осталась. Молча и медленно они вышли на улицу и вернулись в дом Бойко.

Всё было тихо. Бабушка уже спала. Алексей Андреевич провел Дашу к себе, достал откуда-то бутылку портвейна и выпил большой стакан. Она присела на его кровать и в ту же минуту далеко за рекой грянул пушечный выстрел, прокатился над городом.

— Бедная девочка! Бедная маленькая девочка! — сказал он неожиданно и обернулся к ней изменившимся, опять каким-то новым, третьим лицом, уже совершенно непохожим на то

первое, которое она когда-то знала. — Как всё это ужасно! Вам необходимо уснуть.

Даша сняла сапоги и курточку и легла на его кровать. Он сел рядом с ней, опять налил себе портвейну и выпил, слушая, как за стенами дома продолжается война. Он выпил еще, потом взял Дашину руку и поцеловал ее, а потом отпустил, и долго смотрел на свою тонкую руку с шевальерой на пальце. Слышно было, как рвались снаряды, перелетая через город, а в промежутках тишины, под самым окном, в лунном сиянии и благоухании цветущего бульвара, пел соловей, и чем громче гремели пушки, тем громче пел соловей, стараясь успеть от грохота до разрыва закончить свою рыдающую трель, пока снаряд летит над улицами и садами.

— Алексей Андреевич, — сказала Даша, — дайте мне какого-нибудь лекарства, пожалуйста, чтобы мне перестать дрожать. — Он опомнился, встал, налил портвейну в свой стакан. Его глаза становились всё непроницаемее для нее.

— Выпейте, — сказал он, — это лучшее лекарство. Это помогает от всего. Это испытано. Опьянеете — всё пройдет.

От вина медленно и сладко началось в Даше какое-то оцепенение, отупение. Она смотрела теперь в потолок, по лицу ее катились слезы. Ужасные гипсовые амуры, с толстыми как колбасы ножками, перебирали круглыми ручками мертвые гирлянды. «Я выбираю добро, а не счастье и режу мир вдоль, — подумала она, — но сейчас: только забвение, оглушение». И внезапная легкость, с которой она задала ему совсем, в сущности, новый и никогда прежде не интересовавший ее вопрос, поразила ее самое:

— Алексей Андреевич, почему Дюмонтель покончила с собой?

Он не сразу понял или не захотел ее понять.

— Кто покончил с собой?

— Актриса Дюмонтель.

Он встал.

— Почему вы вспомнили о ней сейчас? Я ничего не знаю. Что в газетах писали, всё была неправда.

Он опять выпил, и опять налил ей. Но она отвела рукой рюмку. Ей было довольно; да, это было лучше всяких лекарств.

«Это из-за него» — подумала она.

Прошло довольно много времени. Он сидел и не смотрел на нее, быть может, ожидая, что она заснет. Бутылка шла к концу.

Бедный мальчик, — сказал он вдруг, взглянув на нее, — что же вы теперь делать будете? — Он пересел на кровать. — Отчего вы не плачете?

Он положил ей руку на плечо. И вдруг Даша кинулась к нему и обхватила его за шею руками, прижалась губами к его щеке и рыдания сотрясли ее. Что-то как будто всё это время пыталось вытолкнуть их, и теперь они вырвались наружу. Он отшатнулся в первое мгновение, но сейчас же крепко обнял ее и прижал к себе. «Несчастный мальчик! Бедный маленький мальчик!» — повторял он, уже не сознавая, что говорит и что это значит. Боль пьянила его больше вина. Он осторожно уложил Дашу обратно, сам лег у нее в ногах и, пока она не заснула, держал ее за руку, а потом положил ее сонную руку себе на лицо и тоже уснул.

Но прежде, чем уснуть, он успел подумать, что бывают в жизни человека такие сутки, когда всё вдруг ломается, меняется и из запутанности и безысходности выходит к ясности. Гремит ответ на всё бывшее, как эти орудия за рекой, а судьба тянет свою мелодию, как этот соловей. В такой день, как сегодня, видишь собственными глазами ту каплю, которая переливается через край, чувствуешь собственными жилами ту нить, которая разрывается, ту тяжесть, которая перетягивает. А после должна настать пауза, в течение которой всё становится постепенно на свое место.

Когда Даша проснулась утром, Бойко уже в комнате не было. Первое, что она увидела, были гипсовые амуры, играющие в солнечном луче. Горе было при ней, в груди, давящее ее, непосильное, такое, какого она никогда не могла вообразить; оно было таким чудовищным, не имело ни границы, ни

предела. И даже то мгновение, в которое она кинулась вчера к Алексею Андреевичу, чтобы прижаться к нему, не стояло в памяти позором и слабостью, и она совершенно спокойно подумала о той минуте, когда он, уже не чужой, так бережно уложил ее и сам лег у нее в ногах, и она заснула. Но что это был за человек? И что вчера было между ними? Это было ей не совсем ясно. И почему он всё время был с нею вдвоем? И какое у него было лицо, то, последнее, которое она увидела уже после первого стакана? Кто был этот Бойко?

Даша взглянула на часы. Было четверть десятого. В комнате всё было красно и свет лился по стенам и по полу, по дашиным рукам: это горели лесные склады. Унылый колокол бил в набат, а сквозь него гудел гудок Фасовских заводов. Даша вскочила, переоделась в свое платье, кем-то положенное подле нее, и открыла дверь в столовую. За столом, накрытым для утреннего завтрака, в красном свете пылавших за рекой складов, между Алешей и бабушкой, и напротив Алексея Андреевича, сидел Тягин, дашин отец, в расстегнутом, мятом, но чистом кителе, со сломанным левым погоном: на рассвете они отбили город.

Она не видела его больше месяца. В отступавшей армии, шедшей через город, не было его части, это она разузнала тогда доподлинно. Она верила, что он непременно придет, если будет поблизости, не из-за матери, с которой уже шесть лет был в разводе, но из-за нее, Даши. И вот, действительно ему можно было верить, он был из тех, на кого можно опереться! На заре он вошел в город, а в девять был уже здесь.

— Даша, — сказал он, и его худое, пыльное, еще молодое лицо, которое она так любила, обернулось к ней. — Дашенька, мама... — и он, закрывая одной рукой низ лица, а другой отстраняя стул, поднялся и пошел ей навстречу.

Но никто не плакал, плакала одна только бабушка. Алеша, опустивший глаза, был красен, словно то, что происходило, не должно было происходить при всех. Алексей Андреевич был совершенно спокоен, как-то нарочито спокоен, и у него было опять его первое, его всегдашнее лицо. И в эту

минуту, в радости встречи с отцом, Даша почувствовала, наконец, то, что едва угадывала вчера: была здесь, между отцом и Бойко, между этим домом и тягинским, какая-то тайна.

Когда Даша и отец на следующий день вернулись с похорон, дом был убран. Сорванные с петель дверцы были прислонены к шкафам, разбитые ящики вдвинуты в комоды. Ворох битого стекла и фарфора выметен. Следы пуль в обоях, продырявленная штыком картина да следы на полу от замытых нечистот только и напоминали о бывшем здесь погроме. Страшна и грустна была пустота этих комнат. Неужели это был прежний тягинский дом? И соловьиный бульвар этой ночью тоже уже не был прежним.

Тягин встал у окна и долго смотрел на широкий и пышный его простор, по которому шли вразброд солдаты. Даша была около него и время шло, но усталость была такая, что вот лег бы и уснул, а надо ехать. Денщик возился у грузовой машины, две бабы, плача, прошли под самым окном. Время шло. Надо было заговорить. Четыре дня тому назад под ним убило лошадь и он чувствовал колено после падения. «Даша!» — нет, подождать еще немного. Вот уже три часа, и пора, пора собираться!

— Я возьму тебя с собой, Дашенька. Едем вместе, так надо! Аринушка поможет тебе собрать вещи. Многого не бери. Ведь мы здесь не останемся, вечером придется уйти, вероятно. А ты не можешь здесь продолжать жить одна. Ты понимаешь, мы ведь можем не вернуться никогда, и это невозможно. Я не могу, я не могу никак согласиться... — какая-то страстность и печаль зазвучали в его голосе. Она стояла совсем близко и не отводила от него глаз.

— Я постараюсь переправить тебя в Крым, я найду способ. Там ты познакомишься с твоей маленькой сестрой, с моей женой... — В это время часы стали бить, бить, бить, без конца, они были испорчены и всегда так били.

— Ты уже большая девочка, — говорил Тягин, — и всё таки ты еще многого не можешь понять. Ты, конечно, догадалась уже давно. Бойко страшно виноват передо мною. Но смерть

мамы всё примиряет и вообще смерть примиряет... Всякая смерть ужасна, Дашенька. И я уже так сейчас устал, что ничего к нему не чувствую, кроме равнодушия, и, да, — благодарности. Прости меня, мне не хочется говорить с тобой об этом, но славу Богу, что он был здесь, и если бы не он, ты бы, вероятно, не спаслась. Как же мне не быть ему благодарным?

И вот всё собирается для Даши в одной точке, все мысли, все чувства в одном воспоминании: как неделю тому назад Алексей Андреевич вечером выходил из их подъезда (а она возвращалась с уроков и было так тепло, темно, тихо, как в бархате). Ее обманывали столько лет, она ничего не подозревала, не замечала. Почему это делалось тайно? Может быть, из-за нее? Какие тут были цели? Мать любила его. И он любил ее. О, как хочется ей теперь, чтобы все были вместе, все трое вокруг нее. Но это невозможно, навсегда невозможно, навеки.

Ответить ничего нельзя было: вошла Аринушка и принесла кофе, а потом надо было уложить вещи; а он в это время лег на широкий диван и уснул, и в растегнутом кителе, в прорези рубашки, блестел его маленький нательный крест и еще что-то, прицепленное к кресту. И вероятно, это-то прицепленное и было для него самым важным. «А что для нас будет когда-нибудь самым важным?» — подумала Даша.

Перед их отъездом, уже вечером, пришел Бойко. Да, он хорошо знал этот дом, не спросив никого он прямо прошел в ту комнату, где лежал Тягин.

— Полковник, мы с вами, вероятно, никогда больше не увидимся, — сказал Алексей Андреевич, — мне необходимо сказать вам кое-что.

Тягин сел на диване, гребешком пригладил волосы, привычным движением провел рукой по подбородку: не оброс ли?

— Нам с вами, Алексей Андреевич, право лучше не разговаривать. Благодарность моя за Дашу безгранична, этому верьте. А дальше, право, нам не о чем друг с другом говорить.

Но Алексей Андреевич сел в кресло и вынул папиросу из зеленого портсигара с большой монограммой.

— Вы человек, который в жизни не отказывает себе в

мелких удовольствиях, — начал Бойко, — а мне вы не могли простить большой любви. — Тягин поморщился. — Вам не нравятся слова? Вас коробит, когда я ставлю точки над и? Но ведь это же было, б ы л о, полковник, а раз это было, то почему же об этом нельзя говорить?

— Я надеюсь на вашу деликатность, и верю, что всё это вы скажете покороче, покороче...

— Я человек своего времени, полковник. Кто-то сказал (кажется, Белинский): «я не сын века, я просто — сукин сын». Ну так вот, что до меня касается, то я сын своего века и сукиным сыном не был и не буду. И век свой...

— Я не понимаю и понимать не желаю ваших грубых намеков.

— И век свой, — продолжал Бойко, чуть возвышая голос, — люблю, потому что хоть и рожден в предыдущем, но другого не знал и знать не буду.

— А я его ненавижу.

— И ненавидя кладете за него свою жизнь?

Тягин собрался было почистить ногти маленькой пилкой, лежавшей в левом кармане, но подумал, что это будет черезчур. Он в эту минуту ненавидел Алексея Андреевича.

— Вот потому-то у вас ничего и не выйдет, — опять заговорил тот, — что вы свое время ненавидите, не понимаете, на сто лет от него отстаете, и всё заняты какими-то обратными утопиями. Но не это, не это хотел я вам сказать и не о «большой любви» пришел говорить. Мы теперь расстаемся навеки, можно сказать, потому что вторично вы города не отобьете, вы это знаете. Вы уйдете Бог весть куда, в Закавказье, может быть, а может быть, и за Урал. А то и за границу. Мне не жаль вас, полковник. Вы делаете то, что можете. Другого вы ничего не можете.

Тягин встал и подошел к Бойко.

— И это в ы м н е говорите? И это в ы разговариваете так со м н о й ? Вы жизнь мою сломали, семью мою...

— Неправда! Вы знаете, что в первый же год после свадь-

бы вы сами сломали свою семью. Что до жизни, то она цветет по сю пору.

Тягин смолчал.

— Но вы продолжаете думать, что можно жить кое-как. Нет, полковник, — и внезапно глаза его загорелись, — кое-как больше жить нельзя. Надо иметь совесть!

Это опять был намек и Тягин теперь уже не сомневался, зачем пришел Бойко и о чем сейчас заговорит.

— Я виноват перед вами, — сказал тот, опять снижая голос. — Да я виноват. Но верьте мне, мы оба заплатили за всё настоящую цену, — и она и я. Всё сложилось не так, как мы хотели: счастья не было, не было совместной жизни, был вечный страх...

— Весь город знал о вашей связи.

— Но Даша не знала, и Алеша не знал. Мы жили врозь и любили друг друга тайно. Моя первая жена не дала мне развода. Мы жили в этом аду провинциальной жизни военного времени и революции. У каждого из нас был ребенок, прижитый с другим... Но любовь была. Была верность. И теперь моя жизнь кончена.

«Кто тебя проверит?» — подумал Тягин, но не прервал его. Сам он никогда не страдал в своей жизни от женщин; ему было немного неловко, Алексей Андреевич его раздражал. И то, к чему он шел, тоже беспокоило.

— Случилось так, что мы не один раз, но два столкнулись с вами, — опять заговорил Бойко. — Это была судьба — моя и ваша. Для вас Дюмонтель была развлечением в походе. Для меня она была добрым товарищем по работе. Мы вместе работали давно и были привязаны друг к другу. Моя мать почему-то любила ее, и она бывала у нас... Молва приписала моей жестокости, моей холодности ее смерть. Вы знаете, что было причиной ее отчаяния. Не прерывайте меня! Полковник, этой причиной были вы, ваше отношение к ней, как к брошенной, ненужной вещи, после того, как вы скрыли от нее, что у вас в Крыму семья, с которой вы никогда не расстанетесь.

Тягин поморщился, всё это начинало бесить его.

— Алексей Андреевич, — проговорил он голосом, ставшим чрезвычайно неприятным, — вы пришли сюда, чтобы читать мне нотации? В ы м н е читаете нотации? Я и без вас знаю, что отчасти виноват в этой истории, но я не мальчик, и могу ответить за всё. Не драться ли вы желаете со мной? Извольте, я готов. Хотя надо сказать, время вы выбрали довольно неудачно.

— Я не выбирал его! — вскричал внезапно Бойко. — У меня не было выбора. Вы — здесь, этого достаточно. Через час вас не будет, и никогда более не будет передо мной. У Дюмонтель был от вас ребенок. Этому ребенку шесть месяцев сейчас. И этого ребенка я усыновляю.

Тягин отпрянул назад. Он это предчувствовал. Да, он знал, что именно это будет сказано. Он помнил какие-то обрывки жалких писем, написанных словно в жару, которые догоняли его то под Орлом, то под Курском, то под Полтавой. Он умел защищаться холодом:

— Благодарю вас, Алексей Андреевич, — сказал он с едва заметной долей иронии, — уверены ли вы, что это мой ребенок? А впрочем, вы делаете доброе дело.

Бойко встал.

— И это всё? — спросил он с каким-то недоверием глядя на Тягина, словно не веря, что перед ним всё тот же человек, в сущности — ему подобный. — Сначала — крик о дуэли, пустые слова; потом — испытанный вопрос, который непременно н а д о поставить. Затем — комплимент. Боже, до чего же мы непосредственны в сравнении с вами, до чего мы безыскусны и нелукавы! Вот уж никогда не думал, что делаю доброе дело.

Он пошел к дверям, пораженный. Нужно ли было ему приходить? Подальше, подальше отсюда... Не нужно было приходить, это был другой мир, ему чуждый, непонятный, даже враждебный, мир холода, иронии, недоверия... Пустых формул, отживших лазеек. Этот человек был другой крови, чем он, Бойко. Когда-то — рыцарство, благородство, а сейчас — так что-то, не совсем продуманное, наспех понятое, чуть-чуть нечистое.

И вдруг Тягин подошел к Алексею Андреевичу и сжал ему руку:

— Не думайте обо мне, как о мерзавце, — сказал он. — Вы прекрасный человек, я всегда это знал, и спасибо вам. Не всегда, знаете, легко бывает. Себя не переделаешь. Теперь другие люди на смену идут, с другой психологией. Может быть, лучше будет жить. Вы с ними вместе будете.

— Вы ошибаетесь, полковник, — сказал Бойко. — Я не большевик и никогда им не буду.

Он вышел в прихожую. Тягин остался в дверях и уже не презрительно, не злобно, но как-то печально смотрел перед собой. И красивое лицо его, которое так любили женщины, было сейчас опять и моложаво, и грустно. Бойко медлил.

— Это — девочка. И я думаю, вы должны бы были дать ей имя. Она еще не окрещена, — сказал он.

Тягин поднял на него глаза.

— Спасибо, что сказали. Елизаветой назовите. Как всё это дико, Алексей Андреевич.

— Нет, почему же. Бывает в жизни всякое. В нашей театральной жизни еще и не того навидаешься.

«А мы в поход идем!» — едва не ответил Тягин, но удержался.

— Прощайте, полковник, — сказал Бойко как-то слишком громко. — Желаю вам выжить.

— Прощайте. Спасибо. За Дашу спасибо, — он едва не сказал «за всё», но во время удержался: больше всего на свете он боялся быть смешным. Он был обессилен этим разговором, всей этой последней, страшной неделей. Дело, которое он делал, на одно мгновение показалось ему проигранным. Но привычка к мужеству крепко сидела в нем, и в службе, — не в жизни, — он был строг к себе. Исчезала вдруг эта внутренняя изнеженность, да и думать надо было совсем по-другому, именно так, как он был приучен. Он и не заметил, как Даша оказалась в прихожей. Всё было готово к отъезду. Уже два раза приходил вестовой и денщик успел вынести вещи.

И дом, в котором родилась Даша, показался ей таким грустным и старым, таким давно уже не жилым, когда она ступила за его порог. Это была оболочка, которая отпадала навеки, декорация, которая отодвигалась и исчезала. Да и был ли этот дом — ее домом? И что такое «мой дом»? Где он?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зай было четырнадцать лет, когда она узнала, что живет, в сущности, у чужих людей, то есть по крови с ней не связанных. До сих пор она думала, что Алексей Андреевич Бойко — ее дядя, брат ее покойной матери, а бабушка — ее собственная, родная бабушка. Но вот однажды ее позвали в комнату, которую она называла «нашей», и сказали, что ей, может быть, придется от них обоих уехать. Куда? Почему?

Ей всегда казалось, что из трех людей, среди которых прошло ее детство, один похож на чудную книгу, другой на дрожащее насекомое и третий — на сложный морской узел. Бабушка была похожа на чудную книгу. Она была очень стара, и иногда, приходя ночью крестить Зай, в длинном темном с разводами халате, маленькая, худенькая, с ореолом седых волос над черными большими глазами, говорила:

— Милая! Помирать пора! Бог забыл! — Но Зай думала, что она может быть вовсе никогда и не умрет, не может умереть: слишком уж она всю жизнь готовилась к смерти, всё ее существование, по правде говоря, было сплошным приготовлением себя к вечной жизни. Бабушка с поразительным доверием к будущему шла от одного дела к другому, всё время сама себе ставя и тайно разрешая про себя какие-то задачи, и было так, словно она уже жила в вечности, и не было перехода, словно вечная жизнь для нее началась в день ее рождения. Всё, что могло быть т а м, было уже ей известно, знакомо, привычно, и всё, что было з д е с ь, было прощено и принято. И строй ее души был таков, что испугать или поразить ее ничто не могло, она на всё имела ответ, и ответ этот был — Бог. Она жила в дивной сосредоточенности, крылья несли ее

по жизни, и каждый день она точно знала, что ей надо делать. Главным же делом ее были смирение и молитва.

Человек, похожий на дрожащее насекомое, был ее внук, Алеша Бойко. Его иногда вспоминали в доме (вот уже два года, как он был женат и жил в Москве), как проказника и задиру, дразнившего на улице девочек, вроде Зай. Но это было давно. В годы, когда Зай его знала, он производил впечатление человека отупевшего от анкет, экзаменов политграмоты, озабоченного добыванием каких-то бумаг, талонов, путевок, вечно обеспокоенного грозящим ему увольнением то из техникума, то со строительства, занятого какими-то собраниями, на которых он, конечно, никогда не сказал ни одного слова. Он боялся всего, для него не существовало ничего, кроме сегодняшнего дня, с его дождиком, кашей, нагрузкой... Он женился, и теперь боялся своей жадной и острой **на язык жены, и** было удивительно, как до сих пор его еще не раздавило в этой жизни, не сдуло вихрем — без следа.

Третьим человеком, похожим на сложный морской узел, был Алексей Андреевич Бойко. Он тоже, вероятно, был когда-то другим, как и Алеша; об этом, однако, никто никогда не говорил, и только Зай любила воображать себе его молодым и веселым, здоровым, умным и счастливым... Теперь он был стар, и хотя лет ему было не так много, как говорила бабушка, но он был совсем стариком, служил суфлером в Рабочем театре, приносил домой из кооператива паек, и до того на нем всё пришло в ветхость в последнее время, что однажды на улице красный офицер подал ему милостыню. В двенадцать лет Зай поняла, что дядя Леша принадлежит к тому поколению, которое особенно любило запутанные любовные отношения, что жену свою он оставил давно, а была в его жизни другая женщина, которую убили в гражданскую войну не то красные, не то белые (и полагалось говорить, что белые, хотя это были красные), и с которой он как-то не сумел устроить свою жизнь, что тоже в то время было в моде.

Всё, что Зай знала о жизни и мире, она знала от него, потому что всегда, сколько она себя помнила, он был при ней

каждую свободную минуту. Он брал ее на колени и рассказывал ей истории; она засыпала, наслушавшись, и просыпаясь, опять находила его где-то поблизости. Но за два последних года, после отъезда сына, Бойко изменился. Он всё чего-то ждал. И в доме было какое-то напряжение, какая-то завелась тоска. Как понимала Зай, он ждал увольнения, закрытия театра, ждал какой-то для себя и для всех троих беды. Бабушка уже едва бродила по комнатам. И вот однажды Зай позвали и сказали ей, что она, может быть, скоро уедет, уедет одна и навсегда.

Она в это время ходила в танцовальную школу; у нее было легкое, гибкое тело и маленькая круглая голова. У нее были свои таинственные мысли о том, что происходит в ней самой и тайком — но не от Бойко — она писала стихи.

Но никто не ответил ей на вопрос, куда и зачем ее отсылают. Бабушка велела ей встать на колени перед образом. «Я в Бога не верю», — сказала Зай твердо, но бабушка ответила, что всё это глупости, закрестила её и обещала ей день, когда Бог ей непремено откроется. А пока надо встать рядом с ней и повторять за ней слова, и смириться душой, всегда смиряться, первым делом, и помнить тоже всегда, что революция, хлебные пайки, аресты и танцовальные школы — всё это так, пустяки и пятнышки на жизни, а настоящее, великое, страшное и милостивое — один Бог.

Зай, главным образом, чтобы не огорчить ее, сделала всё, что следовало.

Бабушка просила Бога (как тогда поняла Зай) указать мудрый путь для ее дальнейшей жизни. «Будет письмо — значит на то Твоя воля, — говорила она, а слезы текли у нее из глаз и Зай, при мысли, что вместо того, чтобы бунтовать и требовать, надо смиряться, тоже хотелось плакать. — «Не будет письма — значит так и быть должно». Но письмо пришло, месяца через два после этого вечера, и Зай узнала, что она поедет к отцу.

— Зачем же я поеду к нему, дядя Леша, ведь он меня совершенно не знает, — сказала Зай.

Алексей Андреевич усмехнулся:

— А ты ему расскажешь о себе всё, что знаешь.

— Что же я могу рассказать? Разве я что-нибудь о себе знаю? Я ничего не знаю о себе.

— Ну расскажи, например, как ты однажды, когда тебе было шесть лет, все цветы в саду перецеловала.

— Разве это интересно?

— Очень. Или как ты однажды фейерверк ловить ходила 1-го мая, взяв с собой мешок.

— Я не мешок взяла, а сачок.

Он опять усмехнулся. Зубов у него впереди не было и рот растягивался длинный и тонкий, а глаза смотрели печально.

— Зай, — сказал он, — ничего другого выдумать я не могу для тебя, сколько ни думаю. Бабушка совсем стала старенькая. А я, на что я гожусь? На слом. Скоро буду и я совсем старенький, и совсем никому не нужный.

Она обняла его и поцеловала. Да, она понимала, что он не по своей воле отсылает ее от себя, что он тоже смирился, или если и бунтует, то как-то по своему. Что он расстается с ней не для того, чтобы взять на ее место другую.

При отъезде бабушка нацепила ей картон на грудь с адресом Алеши. Она через Москву ехала за границу. И вот Бойко был арестован всего за два дня до этого. Ночью пришли за ним и взяли его, и еще двоих из того же дома. Он ушел совершенно спокойно, простясь и с бабушкой, и с Зай. «Не забудь», — сказал он ей тихо в самое ухо, и потом показал на самого себя (это у них называлось «говорить ребусами»). Она, прижав руки к груди, смотрела из окна, как его сажали в машину. Он не оглянулся.

— Милая! Бог забыл! — вскричала бабушка. Не начинала ли она уже заговариваться?

С картоном на груди Зай села в поезд. Адрес Алеши всем лез в глаза и больше всех ей самой.

Другой картон, уже с парижским адресом, нацепил на нее Алеша на московском вокзале; неделя прошла в хлопотах. Она отдавала себе ясный отчет в том, что с ней происходит, словно

ее разбудили, она до сих пор спала крепким сном. В рождественскую ночь уезжала она из страны синих снегов, где всё было так страшно и прежде всего — страшна была огромность этой страны, и глубокая, унылая, глухая, непроходимая синева этих снегов, по которым увезли куда-то Алексея Андреевича.

Порученная кондуктору, она села в свой угол, с нарывающим пальцем, забинтованным и неподвижным; она увозила с собой свое будущее, всю себя и всю свою долю. В первый раз в жизни она была одна, среди чужих, ехала в чужую страну, к чужому отцу, в чужую семью. Бойко был так далеко. Бабушка... это уже был другой мир. Из какого мира была сама она, кто была она — ничего этого она еще не знала, и зачем всё это выпало ей? В ее лице было что-то трепещущее и немножко жалкое, как и в заштопанных чулках, и в этой выцинявшей тесемке, вплетенной в волосы. Ей дали место у окна, а вечером она влезла на верхнюю полку и там легла, а поезд шел, раскачиваясь, растолковывая, рассказывая, перетолковывая, пересказывая всё одну и ту же историю: о том, как жили-были бабушка, она, дядя Леша, часы в столовой давно уже не ходили... ребусы, помирать пора... арабески... картон мешает... папа... стихи, в которых она недавно воспела домашнюю стирку... Алешина жена... В последнюю минуту сняла с нее теплую кофточу на вокзале: тебе не нужно, а Васеньке пригодится...

В Варшаве в вагон вошел и сел напротив Зай человек с большим круглым лицом, совершенно седой. Он внимательно посмотрел на Зай, на ее картон, на ее корзинку с провизией, потом раскрыл маленькую толстую книжку, похожую на словарь, и долго читал ее. Они поговорили немного по-немецки и человек сказал ей, что едет в Бельгию, а про Зай уже всё знает. И он похлопал рукой по книжке, словно там вычитал всё, что ему было нужно.

Поезд шел и шел, рассказывая все ту же, знакомую до слез историю. Зай смотрела в окно, на снегом занесенные поля, на галок, на далекий горизонт. Человек сидел напротив, дремля. «Мы стоим в Берлине три часа», сказал он, заглянув в свою

книжку. Но Зай не посмела спросить, что эта был за справочник.

Пересадка. Вторая ночь. Уже все контроли и таможни позади. Зай опять ложится на верхнюю полку. Человек выходит в корридор и долго стоит у окна, в котором ничего не видно, кроме круглого лица, белых волос и руки, прислоненной к раме. Качается и вздрагивает ночник над головой Зай. Она решает снять картон с груди.

Утром — Берлин. Человек смотрит в свою книжку и говорит: сегодня пятница. Как всё это странно! Он о чем-то долго совещается с кондуктором и Зай догадывается, что говорят о ней. Она пугается. Человек хочет повести ее в город. Он заметит ее рваные башмаки.

Она дает ему руку и они идут по улице, покупают газеты, папиросы, шоколад, съедают по бутерброду в каком-то магазине, где нет подавальщиц и всё выпрыгивает из каких-то отверстий — яблоко, пиво, ветчина. И Зай с удовольствием удивляется. До сих пор ей редко приходилось удивляться.

Потом они идут дальше. Зай холодно, падает мокрый снег, а кофточка осталась для Васеньки, и на ней только драповое пальто, из которого она так ужасно стыдно выросла. Она видит себя в зеркальных стеклах магазинов и чувствует, что не похожа на других детей. «Вот это — Музей, а это — Аллея их Победы, — говорит спутник Зай, — но мы не пойдем туда, а вот сюда». И они входят в обувный магазин.

Чулки Зай были совершенно целы, только сильно заштопаны, и когда ей надели новые коричневые туфли с клапанами, она вдруг почувствовала такую радость, что едва не запрыгала. Ее повели к какому-то замысловатому аппарату, похожему на большие весы. Сквозь новую туфлю, сквозь заштопанный чулок, сквозь ногу, Зай увидела пять ровно и отдельно лежащих неподвижно косточек — это был скелет ее ноги. Она смотрела и не верила глазам, а человек в это время опять искал что-то в таинственной своей книге. Зай захотела посмотреть другую ногу, потом руку... Она никогда не видела себя такой, с изнанки.

Когда поезд тронулся, они разложили купленную еду у себя на коленях и принялись закусывать.

— Какие люди живут в вашей стране? — спросил человек, ставший после прогулки, обувного магазина и еды румяным и веселым.

Зай задумалась. Ей хотелось как можно лучше ответить на этот вопрос (на который, видимо, ответа в справочнике не было). Она вспомнила Алешу и его жену; вспомнила бабушку и тех, что пришли брать Бойко. Как это всё уже было далеко!

— Два рода людей, — сказала она. — Одни вроде таких насекомых. Они полу-прозрачные, их едва видно, они дрожат на свету. Другие — как гвозди, их молотком не разобьешь, сколько ни бей. Только крепче становятся. Их страшно, особенно когда они приходят ночью. А первых — раздавишь, и не заметишь! Сказать вам? Я сама больше похожа на первых.

— Это, может быть, от крепостного права и татарского ига? — спросил человек.

Зай не ответила. Она думала, а когда она над чем-нибудь думала, что-то мучительное появлялось в ее лице, некрасивом и худеньком.

Глубокой ночью, перед Льежем, он разбудил ее и дал ей свой адрес.

— Если на Новый Год вы вспомните обо мне, то пришлите мне открытку, — сказал он и покивал ей головой.

— Почему на Новый Год? Я могу и в другое время.

— На Новый Год принято вспоминать своих друзей, — сказал он, улыбнувшись. — Желаю вам счастья, милая девочка.

Он снял с полки свой чемодан. Поезд уже тормозил во всю.

— Если не на Новый Год, то в другое время. Это всё равно, — прибавил он.

— Скажите пожалуйста, что это за книга у вас, которую вы всё время читаете? — осмелела Зай.

— Это такая особенная книга, — улыбнулся он. — В ней всё, всё есть. Очень удобно.

Он помахал шляпой с платформы, стоя под фонарем, пока она, отстранив штору, смотрела в черную ночь. Ей захотелось сочинить стихи про любовь. Она стала думать, что было бы, если бы она вышла с ним вместе и поселилась с ним, как бы они жили... Потом мысли пошли в беспорядке, туда и сюда, качаясь взад и вперед, под стук поезда. И внезапно что-то прокололо ей сердце: Париж. Отец. Сестры. Жена отца. Неизвестный город. Неизвестная страна. Родина ее матери, где ее французская фамилия окажется внезапно у себя дома.

Кондуктор в фуражке сводит ее со ступенек вагона. На ней опять навешен московский картон. В руках — две корзинки, в одной — белье, в другой — книги. И в бегущей куда-то толпе, в шуме громадного вокзала, она стоит оглушенная, оцепеневшая от ужаса, и чувствует, что здесь она вся: со своей, еще ей самой неизвестной до конца, душой, с ее маленьким телом, со всеми ее косточками, которые вчера просвечивали в обувном магазине. И всё так таинственно и в ней, и вокруг, в этом сером воздухе, в этом шуме; словно совершенно новая вселенная вот-вот готова открыться ей, с ее новыми законами и загадками... Она видит перед собой своего отца.

— Лиза Дюмонтель? — говорит Тягин, приближается к ней и хочет взять ее на руки, он не ждал, что она такая большая, такая высокая, он только может обнять ее, сжать ей плечи, прижать к себе. Он целует ее два раза в глаза. Он одет несколько неряшливо и кажется ей совсем старым. У него орлиный нос и бородка. Сняв шляпу, он что-то говорит кондуктору и мнет деньги в руке, прежде чем дать на чай. Уронив корзины, она полными слез глазами смотрит на него; она боится его.

Этот день прошел, и его больше нет, прошел, как все другие, а казался таким особенным, необыкновенно важным, трудным и новым. Его больше нет, как если бы его никогда и не было. Мачеха перебинтовала ей палец, ей сделали ванну. Она путала двери в квартире и испугалась, когда в кухне вспыхнул газ. Ни за что в мире не соглашалась она переоде-

ваться при сестрах и с мучительным стыдом открыла свои корзины. Потом все ушли куда-то, осталась только Любовь Ивановна. Зай просидела два часа на кухне, глядя, как она гладит белье и слушая, как тикают часы.

— И что же вы ели? — спрашивала Любовь Ивановна. — Что могли купить на жалованье? Сколько он зарабатывал? Всё еще красивый был или уже старый? Ставил пьесы? Играл сам? А старуха что? Била тебя?

Зай отвечала, что всего было вдоволь, и картошки, и каши, и даже хлеба, что дядя Леша был очень красив, хоть и без зубов, и такой худой, что бабушка говорила, что на него смотреть страшно. И что ее никогда никто не бил, а наоборот, ужасно все любили, даже Алеша, который в Москве женат теперь. И что Алеше, в сущности, было очень стыдно, когда жена его сняла с нее кофточку для Васеньки.

— Это с тебя кофточку? — спросила Тягина и вдруг замерла с утюгом в руке.

— С меня, Любовь Ивановна.

— Я тебе не Любовь Ивановна, а тетя Люба, — сказала она и с грохотом бросила утюг на подставку.

«Я рассердила ее, — подумала Зай, — Господи, если Ты существуешь, помоги мне!»

С отцом она пробыла весь вечерь вдвоем. Она страшно робела и боролась с этой робостью. Она рассказала ему о Бойко, о том, каким он стал в последние годы, какие пьесы играли в Рабочем театре (но уже без него), куда она часто ходила по билетам, которые он доставал.

— Актеры к вам ходили? Актрисы? — спрашивал Тягин.

— Нет, никто не ходил.

— У него были когда-то свои идеи, интересные идеи. Он был талантливый и левый.

— Он никогда об этом не говорил.

— Страдал от своего суфлерства?

Она не знала, страдал ли он; об этом он тоже никогда не говорил. О чем же он говорил?

— Он рассказывал мне о разном. О постороннем. Я в танцовальную школу ходила. Там не рассказывали ничего.

— А по-французски ты говоришь?

— Говорю. И немножко по-немецки.

Этому ее научила бабушка. Они Гюго читали «Человек, который смеется». Было очень скучно.

Тягин сказал:

— Тут у нас тебя все любить будут. Даже Соня. Ты не к чужим приехала. Это твоя страна, тут твоя мать родилась. И, пожалуйста, кушай, как следует, а то ты худенькая. Ты из нас здесь больше всех у себя дома.

Зай, наконец, осталась одна. В комнате, куда ее отвели, стояла еще одна кровать, но она не посмела спросить, которая из сестер живет здесь. Она встала на колени у кровати, положила голову и стала думать, думать. Ей хотелось вспомнить молитву, которую заставляла ее читать бабушка. Да, «была Его воля», письмо пришло, и вот она здесь, но ни одного слова она не вспомнила. Она вползла под одеяло, потушила свет; Алексея Андреевича у нее отняли, бабушка отпустила ее. У Алеши была такая жадная жена. Человек из поезда навсегда унес с собой чудную свою книгу. Он подарил ей туфли, как нищенке, и кости ее просвечивали так неподвижно, так страшно. Они — в ней. И душа ее тоже сквозит сквозь тело ее, сквозь ее лицо и глаза, и тоже — неподвижно и страшно. Большое, прозрачное дрожащее насекомое припомнилось ей. Оно ползало по полу на согнутых лапках и обрубком хвоста помогало себе выпрямиться. «Неужели это я?» Дверь в ванную была неплотно закрыта, там кто-то умывался, чистил зубы, а потом начал тихо петь по-французски.

Это была длинная песня про какого-то принца, который несся вскачь по лесу, в рыцарские времена; в золотых стременах были его ноги, конь его был в мыле. В замке ждала его принцесса. Он возвращался с похода, он год тому назад ушел в поход с королем Рено.

Принцесса стоит у высокого окна и смотрит вдаль. Пылит дорога. Принц мчится на утренней заре к своей возлюблен-

ной... Даша смолкает и осторожно входит, но Зай делает движение, чтобы показать, что она не спит.

Даша садится на низкий табурет, подле своей кровати. Она зажгла лампу на столе. На ней пижама в узкую полоску, Зай во все глаза смотрит на нее.

— Его, значит, арестовали? — говорит Даша, — и за что же? Как ты думаешь? Работал он против них?

— Конечно, не работал. Ни за что арестовали. Хотя мне теперь кажется, что он предчувствовал, что это случится. Иначе он бы не начал хлопотать о моем отъезде. Видно было, что он предполагал, что это может быть. Потому и написал сюда.

— Он любил тебя?

— Да. Очень любил.

— А бабушка всё еще жива!

— Всё жива. И всё говорит, что помирать пора.

— А Алешка что? Такой же всё нахал? Хотел мне когда-то косу отрезать на улице. Наверное, солоно тебе приходилось от него?

— Алеша? Что вы! Он совсем тихий, всего боится. Прямо даже объяснить нельзя, как живет такой человек.

— Это ты мне «вы» говоришь?

Зай смутилась.

— А тягинский дом всё стоит? — спросила Даша после паузы.

— Это который рядом? Стоит. Там теперь коммунальная столовая открылась.

Даша закурила папиросу и села опять.

— Так, — сказала она, — ну, еще что-нибудь расскажи.

Но Зай не знала, что еще рассказать. О ребусах и вечерах вдвоем говорить не хотелось.

— Он что же, тоже всего боялся? — спросила Даша.

— Нет, он ничего не боялся. Он только очень грустный был. И всегда одинокий. Стихи мои любил.

— Прочти стихи.

— Немножко позже. Это я о стирке написала. Мы когда

с бабушкой белье развешивали во дворе, я очень любила, и всегда старалась, чтобы попестрей висело.

— Обо мне он никогда не говорил?

— Нет, никогда. Только когда уже паспорт пришел, он сказал, что знает хорошо и папу, и вас, тебя то есть. А про Соню сказал, что никогда ее не видел.

— Он был моей первой любовью, — сказала Даша, улыбаясь, — уже после, когда мы расстались. Как я была влюблена в него! Назад убежать хотела... Ты еще не была влюблена?

— Немножко, сейчас. В одного человека, который ехал в поезде.

Даша засмеялась тихонько и сказала, что, собственно, давно пора спать.

— Я прочту стихи, — сказала Зай. — Слушайте!

И она, сев на постели, не без гордости прочла:

СТИРКА

Приятно средь докучной смены
Забот, приличных только нам,
Прикосновенье мыльной пены
От стирки розовым рукам.

Я знаю, времена бывали,
Прекраснейшие из времен,
И у источников видали
Нежнейших девушек и жен,

И пахли в час перед полуднем
Соленой влагою морей
Покорные высоким будням
Ладони царских дочерей.

Даша отвела папиросу от губ, посмотрела пристально на сестру. Наступило довольно долгое молчание.

— Какая ты странная девочка! — сказала она. — И какие ты сочиняешь хорошие стихи!

Потом она прошлась по комнате, переставила лампу к своему изголовью, выбрала на полке книгу, потушила окурок и улеглась.

— Какие у тебя туфли красивые, и совсем новые, — сказала она. — Это где тебе купили?

— В Москве, Алешина жена, — сказала Зай, не дрогнув. Она повернулась к стене, укрылась с головой и вдруг уснула, как засыпают только дети.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тетрадь Сони Тягиной

Я подошла сегодня к книжной полке в комнате Зай и долго стояла, пытаясь выбрать что-нибудь. Русские классики превосходны, но они писали не для меня и не обо мне. Я стараюсь найти в них достоинства, не школьные, иные, и не нахожу. Так я стояла и смотрела на корешки заграничных изданий русских писателей и думала: одного не хочу, потому что он надо всем смеялся, что вовсе не было смешно; другого потому, что он умер молодым и не успел стать мудрым; третьего потому, что в нем много нравоучений и семейного счастья и несчастья; четвертого потому, что герои его скучают и он скучает сам; пятого потому, что герои его слишком много и слишком умно говорят; шестой бичевал что-то, что совершенно оставляет меня холодной; седьмой без конца описывал природу, которую я не люблю и не знаю; восьмого я считаю иностранцем, кроме того, он слишком звонок, стихи его раскалываются, как орехи... Так я и отошла от книжной полки. И мне даже стало жаль себя, своего уродства. Но на

самом дне души я чувствовала полное самоудовлетворение: своей оригинальностью и смелостью своих суждений.

А вместе с тем, единственное, чего я хочу в жизни, это счастья. Не спокойствия, не свободы, но счастья. И не мгновений ищу я, чтобы их фиксировать и культивировать, но закрепленного, непреходящего состояния счастья. Полноты абсолютной и постоянной. Так сказать, счастья тоталитарного. И задача моя, цель моя, весь смысл моей жизни — найти это счастье.

Но что такое этот абсолют? В чем он? Состоит ли он в куче золотых монет, в красивом плечистом умном мальчике? В свитом гнезде? В созданном бессмертном шедевре? В столкновении с Богом? Для меня мое счастье не имеет ко всему этому никакого отношения. Для меня счастье это еще мною не найденная, но несомненно существующая, ощутимая и бесспорная гармония моя с миром, из которого я возникла и в который я вернусь. Этот мир для меня больше, чем Божество, которое он в себе содержит. Этот мир для меня — в с ё, и счастье, которое мне кажется единственно полным и совершенным, это быть в согласии с этим миром, в слиянии с ним, иметь с ним одну бурю, одну гармонию.

Когда я найду его, то не спрячу его для себя одной. Я скажу о нем людям, и те, кто захотят, услышат меня. Я его покажу им, я себя им покажу. Счастье для себя одной слишком возможно, оно достижимо, оно временно и не абсолютно. Только гармония моя с миром абсолютна. Но мир не хочет меня!

Около года тому назад мне явилось одно искушение: мне представилось, что мое одиночество и есть счастье, и есть гармония, что я некоторым образом достигла абсолюта. Я была потрясена, раздавлена. Всё было во мне самой: добро (потому что я люблю добро больше зла и добродетель больше порока); красота (моя собственная), правда (ибо всякая правда для меня выше всякой лжи). Я оказывалась равной миру. В искушении этом я жила некоторое время... Но не могла ограничиться со-бой. Не могла оставаться без мира, то есть без своей связи с

ним, не отражать его мучительных перерождений, не следовать за его неразрешимыми вопросами, за его грязью, кровью и красотой. За его злобой, порочностью, безверием и величием. Одиночество оказалось только формой моего существования, которая мне нравится более других форм. Но содержанием моей жизни оно стать не могло.

Я вижу карту полушарий, я слышу шум города, я рассматриваю неизвестную мне породу бесконечно малых тел, я читаю социальные законы. Человек убивает человека, человек убивает себя ради человека; в степях Востока рождается новый тиран; комета разбивается о звезду. Всё это — мир, это вселенная, и всё, что в ней происходит, касается меня. Я не чувствую себя ни русской, ни француженкой, ни женщиной, ни мужчиной, ни человеком, ни животным, я хочу быть частью мира, как, может быть, когда-то люди были частью Божества. Они искали связи с этим Божеством, оно являлось им, они уходили от него и возвращались к нему, они трепетали вблизи него и наконец, принимались в его лоно. Так и я когда-нибудь уйду в лоно мира, но для того, чтобы это сделать, мне необходимо почувствовать себя частью мира.

Этой весной мне захотелось однажды объяснить всё это Б., пока мы шли по набережной, где всегда гуляли. Он предложил мне поступить к нему в книжный магазин. Служить у него.

— Чем вы живете? — спросил он с усилием: воспитание не позволяет ему задавать таких вопросов.

Я ответила, тоже с усилием:

— В общем — вишу на шее у отца и сестры. Иногда — снимаюсь голой для каких-то «художественных фотографий». В прошлом году, как вы знаете, защитила диссертацию на историческом.

Такие ответы, очень русские, и коробят французов, и одновременно ужасно им нравятся. А нас коробят улицы нашего позора, и мы молчим. Они идут вдоль и поперек всего Парижа, и мы ходим по ним:

Авеню Малакофф,
Бульвар Себастополь,
Площадь Альма,
Улица Кримэ
И т. д., и т. д., и т. д.

Этого я не сказала.

Мы шли у самой воды, внизу, там, где чувствуешь, что город где-то высоко над тобой, как бы первое небо. Я говорила о том, что творение больше творца, и что мы все это отлично знаем, но лицемерно в этом не сознаемся. Б. сейчас же перешел на религию, именно на религию, не на веру, на связь всех религий между собой, в том числе и моей «религии». Я защищалась. Потом он перешел на книги Нового Завета, говорил, что несколько дней тому назад перечел «Послание к римлянам» и оно произвело на него удручающее впечатление: если на место обрезанных поставить партийных, на место язычников — беспартийных, заменить Отца, Сына и Св. Духа иными именами (которые Б. ненавидит), то окажется, что высокое лицо некоей международной организации пишет своим «аппаратчикам», подчиненным и единомышленникам; то же обещание скорой гибели капитализма («Бог вскоре сокрушит сатану»), тот же приказ: много не рассуждайте! («не высокомудрствуйте»); тот же окрик: без споров в мнениях! и твердый совет: покориться власти (которая «от Бога»). Есть даже о вежливости друг к другу, о дисциплине и самокритике. Но главное: чтобы все думали и говорили одно и то же...

Для меня из всех священных книг одно Евангелие драгоценно, и потому я с любопытством слушала Б. Евангелие когда-то сыграло огромную роль в моей детской жизни. Это было еще в Крыму, после ранения папы, после приезда Даши. В то время во мне была какая-то необъяснимая склонность к мелкой подлости. Я как будто хотела испробовать зло, или испробовать себя в зле. Я не прочь была идти на мелкие компромиссы с совестью, чистотой которой вовсе не дорожила, и вообще не дорожила собой, своей незапятнанностью. Евангелие открыло

мне красоту добра. Это было откровение, но я не сразу поняла всю значимость его, я еще оставалась некоторое время прежней. Потом, уже по приезде в Париж, незадолго до появления в нашем доме Зай, я вдруг увидела, что в сущности, при всей моей кажущейся грешности, я люблю истину больше всего на свете. Я с радостью прокричала это себе самой: я люблю правду больше лжи! И это был день моего воскресения. Теперь мне кажется несомненным, что вся моя мелкая природа, неотчетливость в поступках, отсутствие чутья к добру, благородству, высокому, прекрасному, какое было в моем детстве, было наследием чего-то прежде бывшего, что я изживала то, что занесла с собой в эту жизнь. Иначе откуда бы ему быть? И почему с такой силой, не совсем сознательной, даже таинственной, я изжила всё это?

Вспоминаю себя в двенадцать, пятнадцать лет. Я могла наушничать, доносить, лгать, красть, трусить, прятаться от правды, портить со зла предметы, желать смерти близким, ненавидеть без смысла и повода... Всё это прошло. Всё это мелкое, подлое, лживое, отпало от меня. Пришло чувство ответственности, — и этим обязана я своему веку: если я ем курицу, то только потому, что знаю, что могу ее сама зарезать.

Ответственность. Кто в иные эпохи знал ее сладкое бремя, как знаем его мы? Она бывала у полководца перед императором, у отца семейства перед чадами, у свободных людей перед своей совестью. Но мир состарился за полвека, мир помудрел. Мир ценнее, чем был во времена наших отцов, когда все жили немножко на авось, через пень-колоду, как Бог на душу положит, спустя рукава, где наше не пропадало... Страх Божий доживал свои последние годы. Ответственность пришла к нам вместе с нашим временем. Сознательность. Сон наших отцов и матерей всё еще длится. Но мы живем в яви, мы разбужены — в сотне смыслов. И не мудрено: нас разбудила мировая война, русская революция, падение империй; нас разбудили такие слова, как равенство и коллектив, свобода и — в небывалых размерах — лишение ее; нас разбудила любовь к миру и ненависть к миру, любовь к человеку и ненависть к человеку.

Мы говорили об этом с Б., весенним вечером всё там же, на набережной, под городом, у самой воды, в те месяцы, когда целыми ночами я читала и работала у себя, а днями спала или зевала. Вечером шли мы туда. У меня не было пальто, последнее было прожжено у печки, однажды, в том тесном ателье на улице Буассонад, где мы столько танцовали. Мне стыдно было ходить с заплатой на боку и я бегала в апреле в кофточке и юбке, без чулок, без перчаток, без шляпы, стуча зубами, с синими руками. Потом мне попался урок (латынь и греческий) с каким-то болваном, застрявшим в IV-ом классе, и я вывернулась... Мы говорили обо всем этом с Б., и на вопрос его, чем же собственно отличается, по моему мнению, наше время от всех прежних времен, я ответила:

— Я буду говорить не о формах жизни, но о сознании человеческом. Оно за последние четверть века претерпело многочисленные изменения и стало во многих своих сторонах таким, каким никогда еще не бывало. Вот вам несколько, совершенно новых, элементов, которые вошли в него и обусловили его изменение. И первый из них — сознание собственного достоинства, иначе говоря — изживание остатков рабьего чувства, ставшее если не всеобщим, то почти всеобщим, ранее бывшее принадлежностью немногих. Второй элемент: начало чувства вселенскости в человеке. Несмотря на некоторые националистические теории и догматы, чувство это, когда-то знакомое лишь единицам, гениям, сейчас захватывает всё большее и большее количество людей. Оно было непонятным, оно становится своим. Третьим я назову ослабление кровных уз, голоса рода. Оно конечно не стало всеобщим, но оно пугало сто лет тому назад своей парадоксальностью и анархичностью, а сегодня оно кажется столь же естественным, сколь и голос крови. На четвертом месте поставим умирание чувства стыда, не только бесстыдство телесное, но освобождение внутреннее — себя самого от себя самого — познание себя, бесстрашный суд над собой, в котором еще, быть может, не каждый признается, но который каждому из нас знаком. Пятый элемент: разрыв между индивидуальной верой и церковностью, разрыв, принятый, как

факт, отдельными людьми и всё еще отрицающийся соборно. И, наконец, в шестых: наше отношение к собственной смерти, как к одному из моментов собственной жизни, над которой мы вольны.

Так, в три или четыре минуты, я сказала всё то, о чем десять лет думала ежедневно и, может быть, еженощно. Это было так, как если бы рыцарь, десять лет тайно любивший даму, преклонив колено, наконец, произнес: я люблю вас.

Мы сидели на одной из тех скамеек, которые стоят у воды. Деревья нежно-зеленые, молодые и старые, смотрелись в воду. Закат пылал под мостом и над мостом, и мысль моя летела навстречу этому разрезанному мостом солнцу. Хорошо было, сказав «я люблю», десять лет жегшее губы, молчать теперь и не ждать ответа.

Б. снял пиджак и пуловер и снова надел пиджак, а пуловер его, теплый и мягкий, надела я, по его настоянию. Мы оставались еще сидеть на этой скамье. Напротив у другого берега, стояла баржа и на ней играло радио, женщина невинно смотрела на то же небо, что и мы.

Не помню, сказал ли Б. что-нибудь на мои слова, из которых мне каждое столько стоило. Кажется, он нашел всё это очень интересным, любопытным, стоящим внимания... Он был уже очень далеко от меня тогда. Теперь я почти потеряла его из виду. Его пуловер остался у меня. У него и без того их много.

Он мог бы возразить. Сейчас прошло полгода со времени моего с ним разговора, и я сама возражаю себе. Всё это н о в о е было уже конечно заложено в людях и раньше. От гения к гению можно протянуть нити мыслей, предчувствий, угадываний, которые помогали им пророчествовать о будущем, о нас, и сейчас в нас осуществились. Но не гении занимают меня и не их пророчества. Я думаю о тех, едва оставивших свой след, обыкновенных людях, чьи имена уже известны немногим и скоро канут в небытие. Эти люди, ничем не замечательные, простые смертные, шли впереди своего времени, прожили незаметно, умерли в неизвестности и даже, что самое

важное, остались неузнанными гениями, их современниками, пророчествовавшими о них. То, о чем Достоевский говорил и писал, отчасти уже вокруг Достоевского жило. Он не узнал его. Но оно было. Он, может быть, испугался его? Это касается его переписки с Ковнером.

Перечитываю эту переписку. Молодой фармацевт, еврей, пишет знаменитому писателю, который не видит, что перед ним человек уже не XIX-го, но XX-го века. В Ковнере целиком заложено наше время, все мы, два поколения людей, пришедших через тридцать-пятьдесят лет после его смерти. Достоевского он шокирует совершенно так же, как сам Достоевский мог бы шокировать Шиллера историей ночного горшка в «Вечном муже». Вероятно, Ковнер шокировал и других людей, но мне важно, что он шокировал г е н и я, который так остро и глубоко предчувствовал будущее и оказался столь питателен и необходим этому будущему. И этот г е н и й не узнал, что вот он — XX-ый век в XIX-ом! Вот он, живой, новый человек, предвестник, предтеча (еще пассивный) миллионов людей, еще не родившихся. Стиль его, его характер, его личность, его судьба всё его исключительное и всё его типовое — о, сколь много-значительная ошибка времени! Загадка для семидесятых годов.

И второе имя приходит мне на ум, имя Лизы Герцен. Я беру нарочно этих «простых смертных», не оставивших после себя ничего, неузнанных, непонятых, осмеянных величайшим умом своего времени. Достоевский назвал «гадкой» и «грубой» предсмертную записку Лизы. Ей было шестнадцать лет, и она написала, прежде чем наложить себе на лицо вату с хлороформом:

"J e vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas, qu'on se rassemble pour fêter ma resurrection avec du Cliquot. Si cela réussit, je prie qu 'on ne me laisse enterrer que tout á fait morte, pusqu 'il est très desagréable de se reveiller dans un cercueuil sous terre. Ce n'est pas chic !"

В этих словах уже было всё, что стало естественным через несколько десятилетий: цинизм, отсутствие чувства кровной

связи с семьей, безудержная любовь к самой себе, отношение к смерти, как к факту, над которым волен сам человек, ранняя страсть, бесстрашие в схватке один на один с жизнью. Всё это были силы, которые впоследствии изменили наше собственное лицо.

Вся история Лизы Герцен была для ее современников фальшивой нотой, как XIX-ый век был-бы фальшивой нотой для века XVIII-го. Эти любовные письма ее к Шарлю Летурно — в них нет уже ничего ни от Тани Лариной, ни от Анны Карениной, но мы узнаем в них себя. Достоевский прошел мимо них, брезгливо отвернувшись от этой судьбы, а ведь в мыслях он несомненно понимал и Лизу, и Ковнера. Он только во плоти не переносил их.

Или Бенни. Вот тоже не человек, но симптом. И те же семидесятые годы, канун великих потрясений, великих духовных метаморфоз человечества. Его тоже знал Достоевский, во всяком случае — знал о его существовании. Тут уже не брезгливость была, — такие, как Бенни, вызывали в нем отвращение. Брезгливость к Лизе, отвращение к Бенни, негодование (смягченное вежливостью) к Ковнеру. А Бенни — это характер наших дней. Белая ворона своего времени, сейчас — едва ли не приевшаяся обыденность.

Лесков рискнул описать его историю, сам не разобравшись до конца, что именно она означает. Но чутьем он знал: что-то здесь есть, что-то большее, чем «жизнь одного революционера». Он рассказал ее, эту историю. Имеющий уши, да слышит! Никто ничего не понял, не угадал.

Ковнер, Бенни, Лиза Герцен не знали друг друга, но все трое порознь испытали, конечно, радость от сознания, что в чем-то, еще им самим непонятном, они опередили свой век и глубочайше связаны с эволюцией мира. Все трое они, конечно, не формулировали отчетливо этой горделивой мысли. Но они не могли не чувствовать, что между ними и остальными людьми — пропасть в полвека, если не в целое столетие, что через них идет в мир бесстыдство, бесстрашие, изживание рабьего

чувства, свобода распорядиться собственной судьбой, идет новый человек. Его не отличает в толпе даже Достоевский. Тем хуже для Достоевского.

И потому я с большой осторожностью отношусь к людям, которые мне кажутся грубыми, примитивно-жестокими к себе и другим, от которых меня коробит, которые вызывают брезгливое чувство, недоумение, враждебность. Новое всегда кажется грубее старого. Старое истончилось от употребления.

...Теперь осень. Я сижу у себя, передо мной — две раскрытых книги. Их я взяла не у Зай, их я сняла с собственной полки. Это мой способ чтения: я читаю одновременно две книги. И часто их авторы не подозревали о существовании друг друга.

Я читаю одновременно две книги и слушаю одновременно двоих: себя самое и Зай, которая сидит у себя в комнате. Во мне всё растет этот тяжелый, нестройный шум, эта оглушающая меня тревога. Где он, мой мир, мой цельный и единый? Неужели он не откроется мне, не вберет меня в себя? Чтобы я больше дорожила своею связью с ним, чем собой. Там всё прямолинейно, свято и гармонично.

В раскрытую дверь слышно, как Зай поет. Она шьет что-то, быстро-быстро; волосы ее распущены. Она поет какую-то французскую песню. Я уже несколько раз слышала ее. Там кто-то скачет по лесу на коне, при лунном свете. Всадник спешит к высокому замку, где ждет его возлюбленная. Она стоит у окна и смотрит на дорогу... Вся Франция для меня в этой чудной старой песне, вся Франция, недостижимая, любимая, которая никогда не узнает, чем она была для меня.

Нет, я еще не хочу умереть. Я еще хочу жить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Даша служила в банке, секретаршей главного директора. С самого начала своей парижской жизни она плыла по течению: случилось так, что почти тотчас же по приезде ей надо было

самой зарабатывать свой хлеб. Призвания она ни к чему особенно не чувствовала, и потому выбрать было особенно легко. Тягин в первые же годы по приезде в Париж, не имея, как водится, ни гроша денег, пустился в аферы и в течение десяти с лишним лет то взлетал, то падал, никогда ничего не имея верного. В зависимости от благополучия, которое то исчезало, то появлялось снова, менялся домашний быт, менялся вид самого Тягина и Любови Ивановны: полковник выглядел то помятым, хмурым, приниженным, то спокойным, самоуверенным, с остатками барства в манерах. И про него говорили то, что он скучноват и жалок, то, что он всё еще остроумен и красив.

И так случилось, что компаньоном многих тягинских предприятий оказался владелец одного маленького банка на Больших Бульварах, человек, приехавший ранее других и, может быть, потому преуспевший. Даша поступила к нему сперва клеить марки и отвечать на телефонные звонки, а спустя лет пять, окончив вечернюю школу, перешла в громадный дом напротив, в котором всё гудело, как на заводе, и села там за широкий стол в комнате, из которой двойная дверь, обитая сукном, вела в святилище, где когда-то сидел отец Леона Моро, где теперь сидел сам Леон Моро и где, в скором времени, должен был сесть сын Леона Моро.

Аферы Тягина последние годы шли не плохо. Была куплена квартира в одном из переулков на левом берегу, не похожем на другие парижские улицы: вход в тупик начинался под воротами чужого дома и его трудно было найти на карте где-то между улицей св. Доминика и министерством промышленности. Была куплена какая-то, лесом обсаженная, но довольно скудная земля под Парижем и одно время казалось, что так всё всегда и будет. Но внезапно всё опять полетело в пропасть. Несколько месяцев всем домом жили на дашино жалованье, пустырь был продан. Тягин готов был идти служить хоть сторожем в гараж. Но спустя некоторое время судьба снова повернулась, всё стало на место, стремительно были уплочены долги, и Любовь Ивановна на Рождество купила себе большой, полированного дерева, радиоаппарат.

Жили в большой, но темной квартире, окнами выходившей на улицу, напоминавшую двор, а иногда — гигантский зал, с верхним светом, особенно если идти по ней в сумерки, пересекая ее по диагонали, по совершенно пустынной мостовой: тишина каменных хором, шаги звучат, словно в соборе. Тягин выкручивался с ловкостью, которой никто не мог бы ожидать от него. Он сильно переменился за эти годы: от моложавости не осталось и следа. Он был совершенно сед. Женщины, за которыми он по старой привычке еще продолжал иногда ухаживать, вызывая страстную ревность жены, считали его одним из последних представителей так называемой «старой школы». Он никак не мог приучиться к вставным зубам, глаза его смотрели тускло и можно было догадаться по его лицу, что он уже задумывается о смерти. Худоба выдавала в нем какие-то скрытые болезни, но, как хорошо выезженный конь, он сохранял старые привычки, еще бывал и болтлив, и остроумен, и не хотел знать, что домашние поглядывают на него уже как на нечто хрупкое и, может быть, недолговечное.

За год до приезда Зай он, едва ли не в шестой раз, потерял большие деньги, на этот раз не только свои. Всем стало ясно, что подняться уже нельзя будет. Тогда-то Соня и выказала полное свое равнодушие к переменам, происшедшим дома. Любовь Ивановна отпустила прислугу, стала готовить и убирать сама. Тягину пришлось взять место на две тысячи, и в доме воцарился тот беспокойный дух забот, который всегда бывает, когда из месяца в месяц не хватает денег.

И всё-таки Зай чувствовала себя в Париже так, словно в этом городе никогда не бывало ни нищих, ни голодных. Несколько месяцев она не могла привыкнуть к тому, что хлеба всегда всем хватало, что была в доме шерсть, которой можно было заштопать дырку; что за франк можно было в веселом, большом магазине, где весь день играет музыка, купить розовый гребешок, который таял в горячей воде, а за два — голубую зубную щетку. И когда Даша объяснила ей, что розовый гребешок и вообще все эти вещи, купленные под музыку, ужасно некрасивы и их иметь в доме стыдно, она не поняла. В этих

вещах для нее было столько поэзии, радости, и она так нежно любила их! И она писала стихи, которые назывались «Натирка полов», «Чистка туфель», и было не совсем понятно, как уживалось всё это в ней с ее боязнью зажженного в кухне газа или ворот Префектуры, куда ее водили несколько раз для устройства ее паспортных дел.

Даша о ее стихах говорила откровенно то, что думала:

— Мне нравится, что ты про себя, как про пчелу, по поводу воска для полов, и как о муравье — по поводу скипидара и сапожного крема, но мне странно, что ты никогда ни про что другое ничего не сочиняешь, а всё про какие-то труды, и у тебя о них так весело выходит.

Но Зай не могла объяснить, почему всё другое не вдохновляет ее.

Через три года всё это прошло, а через четыре уже нельзя было заставить себя вспомнить «про трубочиста, который тем похож на елочного деда, что является в дом один раз в году и чистит трубы, как музыкант в духовом оркестре». Эти стихи когда-то нравились даже Соне.

Через четыре года Зай исполнилось восемнадцать лет. Учиться она не любила. Зато любила быть дома, с Любовью Ивановной, или ходить по улицам совсем одна.

— Куда ты всё ходишь? — спрашивали её.

— Я гуляю, — отвечала она. Но учиться всё-таки надо было, и нехотя она училась.

Она выходила зимою в сумерки, летом — в самом конце дня, тогда, когда в домах уже зажигались огни, а на улице еще не горели фонари, в тот час, когда так легко и просто смотреть в чужие окна. Она хотела бы знать всё о людях, которых встречала, или о тех, которых видела за стеклами домов. О, эта гостиная с полукруглой амбразурой зеркального окна над темнотой и дождем шуршащего бульвара! Там люстра широким кругом сияет над женщиной, которая, тонкая и строгая, кого-то ждет в кресле, прямая и неподвижная. Я приду под это окно через десять, через двадцать лет. Какое счастье знать, что мир стоит, прочный, вечный, что люстра горит из вечера в вечер,

годы, века, тысячелетия, и бессменно под ней сидит женщина, вперив взгляд в темнеющее городское небо. Какое счастье знать, что никто не придет и не нарушит этого ожидания. И хорошо, что она никогда ничего не узнает обо мне.

За углом, в первом этаже большого нового дома, вокруг стола, собрались дети: два мальчика и две девочки. Они что-то делают. Они учат уроки, или играют, или рисуют... Неизвестно. Но они живут, они растут. Они будут жить долго, вечно, без конца. Через сто лет опять вот так же они будут склоняться вокруг стола и что-то быстро делать руками, и женщина внесет им на подносе четыре стакана молока и четыре булочки... О каменный, о неподвижный мир, в который я попала! Ты не знаешь меня, я учусь не бояться тебя. Я — из мира, который провалился, треснув и разбившись, и напугав меня на всю жизнь. Секрет. Тайна. Никому ни слова об этом.

В темном переулке, в полуподвальном этаже. Сейчас ее заметят и захлопнут с грохотом ставень. Но нет. В этот летний вечер окно открыто настежь и черная рука, в вылинявшем рукаве, держит стакан красного вина — как вчера, как третьяго дня, как месяц назад. Так пей же, пей это вино, чего же ты ждешь- — Куда торопиться? Его никто не отнимет у меня, никто не может войти ко мне, я у себя, и оно — мое. Кусок камамбера на тарелке, рыбий хвост отодвинут на край... Что хочу — то делаю. Моя воля! Завтра — требуем, послезавтра — бастуем. О радость, радость во веки веков! Никто не отнимет у тебя ни вина, ни камамбера, ни этого права, ни твоей свободы! Пора и мне не дрожать больше от стука в дверь.

Так ходила Зай по улицам, пока не вспыхивали фонари. Тогда всё кончалось. Хлопали ставни, задвигались шторы, дома слепли и потухали, оживали улицы; и по этим улицам возвращалась Зай в свой тупик, похожий на дворцовый покой, заброшенный, гулкий и сумрачный.

Иногда в доме бывали гости и тогда Зай шла на кухню, где любила сидеть с первого дня приезда, и оттуда слушала голоса и звон посуды. Ей все эти люди были совершенно чужими и говорить с ними было не о чем.

Даша приходила за чаем, обнимала ее и говорила:

— Ты знаешь, в этом году э т о непременно должно осуществиться.

И Зай знала, что это она говорит об их отъезде вдвоем, летом, когда у Даши будет отпуск. Она говорила это и в прошлом году, и в позапрошлом, но они не уехали. И вот теперь опять. И Зай ждет: она знает, что это когда-нибудь да будет.

Но в этом году они уехали. И хотя Зай никогда не видела моря, они не поехали к морю, потому что Даша решила ехать в горы. У нее было три недели свободы. У нее их давно не было.

Они поселились в большом шумном пансионе, на берегу холодного, прозрачного озера, где утром они купались, где на берегу лежали плоские, розовые камни, по которым было так приятно ступать босой ногой. Было два парусника и несколько весельных лодок, на которых можно было выезжать под вечер и смотреть, как между двумя горами, в узком пространстве садилось солнце. На парусниках ходили молодые датчане, жившие тут же, и когда Даша и Зай днем уходили гулять, то издали видели, как скользят их лодки по воде. И чем выше они поднимались, тем крошечнее и ярче мелькали два паруса в синеве воды.

В горах пахло вереском, соснами, теплом. На сухих иглах они лежали, смотря в небо, или свесившись над обрывом пробегали взглядом весь длинный горный путь, которым шли: камни и кустарники, выжженные солнцем, кое-где — ступени стертых плит. Эта тропинка шла к полуразвалившемуся средневековому замку, издали казавшемуся совершенно круглым, величественному и мрачному, великолепному и мертвому. Там, в узкие бойницы были видны курски сурового, жаркого на солнце и всегда укрытого дымкой пейзажа, который весь открывался с плоской крыши, и далеко, еще выше, еще суровее, был виден другой замок, до которого было не дойти, и от которого сохранился только каменный контур.

Даша особенно любила спуск через лес; внезапно открывалась широкая дорога, по которой время от времени катил то игрушечный красный автобус, то крошечный автомобиль, а зву-

ка слышно не было, стояла вокруг всё та же горячая, надземная, бирюзовая тишина. Дорога вела в селенье. Там стояла маленькая церковь и приземистая мерия; из булочной пахло горячим хлебом, над мясной висел полосатый тик; вокруг почты разливалась пыльная скука, куры и мухи. И вот озеро, и громадный дом, где левое окно во втором этаже — их комната, и на подоконнике, как итальянский флаг, сохнут два — зеленый и красный — купальных костюма.

Вокруг датчан (двух молодых людей и одной девушки) очень скоро образовалось общество: Даша присоединилась к ним, две француженки, из которых одна ожидала ребенка, человек неизвестной национальности, говоривший на всех языках, виолончелист бордосской оперы с женой. Вечером танцовали в большой зале с окнами на озеро, когда шел дождик — играли в пинг-понг и шумели. И часто снимались верхом на балюстраде веранды или в соломенных креслах, когда перед обедом, голодные и полуголые, ждали гонга.

Человек неизвестной национальности не был русским. Даша сейчас же убедилась в этом, когда увидела почту, которая пришла для него. Газета была на незнакомом языке, письма были с пестрыми, никогда ею невиданными марками. Когда его спросили как-то, откуда он, он ответил, что сам в сущности не знает, так как того государства, в котором он родился (лет тридцать пять тому назад), давно уже не существует, а на его месте сейчас совсем другое, с которым он не в ладах. Кроме того, он сказал, что в нем четыре крови и он никак не может решить, которая же собственно настоящая: венгерская, норвежская, ирландская или польская? Паспорта у него до сих пор нет, одного какого-то документа не хватило, чтобы ему его сделали. Всё это было очень любопытно и все сидели вокруг него на берегу, по-турецки, и слушали, как он рассказывал. Его синие глаза не были видны за черными очками, но рот всё время улыбался.

Через два дня вечером Даша танцовала с ним и они поздно ходили по берегу и много смеялись, когда признались друг

другу, что оба чувствуют этот берег, этот замок, этот угол земли немножко своей собственностью.

— Это похоже на то, как если бы мы вместе обладали одним неразделенным имуществом, — сказал человек, которого звали Ян Ледд. — Но придут настоящие наследники и мы останемся ни с чем.

— Разве мы не настоящие наследники? — спросила Даша. — Пока мир стоит, разве он не наш?

— Он не будет вечно стоять.

— Может быть, всё-таки... А что же тогда есть вечного?

— Раньше был Бог. А теперь ничего.

— А теперь мир.

Он поднял серебристо-розовый камень.

— Уделяю вам это из моего имущества. И предупреждаю, что мир очень скоро развалится. Да и такой, какой он есть, чорта ли в нем?

— Мне он нравится.

Ледд поежился.

— Я бывал в Лондоне. Там есть такие кварталы. По утрам дети в отбросах копаются, и когда находят мясные обрезки, сырые, конечно, тут же их и съедают.

Они дошли до тростниковых зарослей и повернули, молча; постепенно разговор перешел на другое. А когда Даша вернулась к себе в комнату, вдруг пошел дождь и пришлось закрыть окно, отчего проснулась Зай. Но на утро опять всё сияло и переливалось под солнцем. И никто не мог бы предвидеть того, что случится с Дашей в этот день.

Часа в четыре с пути к самым дальним горам, Ледд был принесен на руках: он соскользнул в пропасть и метров тридцать летел вниз, цепляясь за камни и кустарники. За ним спустились на веревке младший датчанин и сын булочника, шестнадцатилетний гигант. Они принесли его на плечах, рубашка его была в клочьях, он был без памяти; на полу, в круглом вестибюле, он пришел в себя и начал громко стонать. Врача в селеньи не было, а тот, что жил в пятнадцати километрах,

был в летнем отпуску и хозяйка пансиона долго не могла дозвониться до города.

Трудно было решить, что именно было у него сломано, но самым опасным казалось внутреннее кровоизлияние и боль в голове от удара и сотрясения. Несколько раз Ледд терял сознание, пока его не уложили в постель, в узкой, белой его комнате. Перед вечером приехал врач, освидетельствовал Ледда, сделал ему уколы, сказал, что ключицы целы, но что рану на голове недостаточно тщательно промыли, и заново ее забинтовал. Он обещал прислать на утро карету скорой помощи и протелефонировал в город, в больницу.

Даша узнала о случившемся позже всех. В этот день она и Зай уехали на лодке далеко, на другую сторону озера, где берега были плоски и пустынны и где коровы позванивали колокольцами. Они долго бродили, нашли белый гриб и звенящий ручей. Тут были тысячи цветов и солнце садилось рано. Вернувшись к обеду, Даша прошла к себе, переодеться, и Зай, через несколько минут поднявшаяся, сказала, что тот человек, с которым Даша несколько раз ходила вечером к тростникам, разбился в горах.

Они сошли к обеду и Даша выслушала подробный рассказ датчанина о том, как Ледд свалился в пропасть. Все были встревожены, приглушенно звучали разговоры, и Даша со всеми вместе ходила в верхний коридор, слушать как стонет Ледд. Вечером все долго сидели на террассе, курили, тянули через соломинку лимон со льдом; было жарко и звездно, загорелые лица сливались с темнотой и только белые рубашки мужчин и светлые платья женщин были видны, как на негативе фотографии.

Когда Даша вошла к себе, было около полуночи. Она чувствовала себя не совсем обычно: внутри нее всё было напряжено, будто, кроме обыкновенных чувств — слуха и зрения — еще что-то оказалось в ней, смотрело и слушало как-то по иному и иное. И прежние, и эти новые чувства были устремлены как бы в один центр, которым была ее душа. В пальцах разлита была какая-то особая теплота, а голова оставалась ясной, и как

соблазн, которому нельзя было не поддаться, возникала странная уверенность, что ничто сейчас не невозможно. Она села на постели.

Наверху, как раз над ее комнатой, была комната Ледда и ей казалось, что она слышит его стоны. Она встала. Это был как бы призыв, не его призыв, неизвестно чей, очень сильный, но она колебалась. Подняться или нет? И если она поднимется, то как сделать то, к чему она теперь совершенно готова?

Она еще не знала за собой таких состояний. Однажды, лет пять тому назад, она присутствовала при сильном почечном припадке Любови Ивановны, когда не помогли ни лекарства, ни уколы, и она, растерявшись от вида страданий, положила ей обе руки на лоб... Боль унялась. Она никому ничего не сказала об этом и постепенно забыла сама, что это было и откуда пришло. Но сейчас, в первый раз в жизни, она чувствовала свою сознательную силу. Это нисколько не было страшно. Это было похоже на неожиданное счастье. Она тихо вышла в коридор и поднялась по лестнице.

Когда она отворила дверь в его комнату, он лежал на спине, одетый в пижаму, с забинтованной головой, наполовину накрытый простыней. В углу комнаты горела лампа, было душно и Даша бесшумно распахнула окно. Ночной воздух потек в комнату; в глубокой тишине слышно было, как какая-то рыба плеснула в озере и тотчас же в ответ зарыдала какая-то птица. Это был ночной мир, и Даша была в центре этого мира. Легкий ветер пробежал по верхушкам дубов. Потом всё замерло.

Не разжимая зубов, он издавал странный, свистящий звук. Его загорелое лицо было зеленовато-бледно, пот стекал вдоль уха. Полузакрытые глаза казались слишком выпуклы под веками, марлевый бинт шел вокруг лица, закрывал лоб. Даша растегнула ему пижаму на груди. Под правым соском был огромный черный кровоподтек. Она обнажила ему весь правый бок, всю правую часть груди и положила на нее свою большую, спокойную, ставшую в эту минуту совсем горячей, руку. Всё в ней натянулось, как парус под ветром; она еще сегодня любовалась издали, как бежал кораблик датчанина: большой парус

так нежно косил на сторону, словно хотел принять в себя, заключить в свои парусные объятия, тонкий и тоже изогнутый, но по другому, фок. Не касаясь, никогда не имея возможности коснуться друг друга, они бежали в синеве и ничего не могло быть прекраснее их двойного бега, словно большой крылом укрывал малого, словно малый летел на всех парах прильнуть к груди большого; поворот — и две тонкие белые скобки берут в тиски кусок синевы, кусок воды, воздуха и неба; и опять они летят рядом, простираясь друг к другу, как только умеют иногда простираться облака. Большой, с чем-то лебединым, склоняется, свивается, выростает и летит над малым; малый манит его, и не дается, и летит вперед, чертя нежнейшую линию своею вогнутостью. Один и тот же ветер надувает их. Скорее, скорее! Легкий туман бежит над водой, небо ясно, поднимается ветер; волна делится на два расчеса и пена играет за кормой. И даль приближается, далекая даль, невозможная, недоступная; даль летит нам навстречу.

Прошло довольно много времени. Легкий ветер тихонько опять прошелся под окном. Ледд дышал спокойно. Глаза его были теперь совершенно закрыты, лицо было так же бледно и влажно. И вдруг он поднял веки и увидел Дашу.

— Вы здесь?

Она укрыла его простыней и молча стала у кровати.

— Почему вы здесь? Который час? Что доктор сказал? У меня все ребра переломаны?

Но она всё молчала.

— Пить хочется, — прошептал он, слабея опять.

Она улыбнулась.

— Я сейчас разбужу прислугу, — сказала она, подавая ему стакан воды, — я совсем не умею ухаживать за больными.

И стараясь ступать очень тихо, она вышла из комнаты.

Внизу Зай не спала. Заложив руки за голову, она лежала и смотрела на дверь, когда Даша вошла. «Он умер?» — спросила она тихо. — «Нет, Бог с тобой!»

— Что ты делала там? Там было так тихо.

— Я, может быть, вылечила его, — сказала Даша, — только молчи об этом.

И одетая она бросилась на кровать, в изнеможении, радуясь, что темно и Зай не видит ее лица. Но как только она вытянулась и почувствовала, что — одна, наедине сама с собой, как трезвость и ясность, какая-то совершенная прозрачность, с утроенной силой вернулись к ней и она, в сиянии никогда еще невиданном, в покое никогда еще неиспытанном, увидела в глубине себя, на дне души, там, куда упирается мысль — звездное небо, то самое, какое было в окне у Ледда, когда она положила ему на грудь свою руку.

Жизнь ее представилась ей в эти минуты в каком-то еще небывалом свете, где всё имело свой скрытый смысл, постепенно, как веер, открывающийся ей. Тут было ее одиночество, которое она несла в себе, как дар, посланный ей судьбой, и которое таило в себе гармонию с миром, ей непонятную до конца; тут было воспоминание о двухнедельном замужестве, после которого она вернулась домой, в семью; тяжелый спор с собственной совестью прежде, чем решиться уйти, вернее — убежать из своего нового дома, от человека, которого она, как ей казалось, любила и жить с которым не смогла. И этот, едва на смерть не ранивший ее конец матери, и пришедшая, как спасение, детская влюбленность в Бойко — всё, исчезнувшее теперь, как сон, и еще какие-то попытки быть счастливой, как все, и невозможность поймать нить жизни вдвоем с внезапно страшным ей человеком.

И настоящее. Эта сила в ней, о которой она, как теперь ей кажется, подозревала всегда, не зная в точности ей применения, кому и для чего она нужна. Может быть, этой силой можно перевернуть мир и себя самое вместе с ним? Или остановить время? Или уничтожить всякое страдание? Или только маленькое телесное страдание каких-нибудь добрых знакомых? Или детский насморк? Или чумку щенка? Что она сделала с Леддом? Дала ему четверть часа передышки, или усыпила его? Не пойдет ли он завтра, как ни в чем ни бывало, шагать по горам? И как

далеко может пойти ее чудо, если, например, у человека сломано ребро?

Тысяча вопросов горели в ней. Она ждала утра. Надо быть готовой к тому, что никто, ни Ледд, ни она сама, не узнают о результате сегодняшнего опыта: его просто увезут в автомобиле скорой помощи в госпиталь и там вылечат, и она его больше не увидит. Но, может быть, будет и иначе.

Она не почувствовала, как уснула. Проснулась она от гонга к кофе. Зай не было, но ставни были закрыты. Боже, как измяла она это платье, только вчера отглаженное! Она переоделась, умылась, спустилась вниз. Там солнце, как каждое утро, ложилось полосой поперек столовой — слишком узка была оранжевая парусиновая штора и в этот час ничего нельзя было поделать с этим назойливым, ярким лучом, вторгавшимся в комнату.

— Он отказался ехать в госпиталь, — говорил бордосский виолончелист. — Я был у него. Он говорит, что ему гораздо лучше. И вообще он очень недоволен, что вызвали доктора.

— Но вчера ему было совсем плохо, — сказал кто-то, — и это было необходимо. Ведь все думали сначала, что у него что-то с позвоночником.

Зай сказала очень тихо:

— Ты его вылечила. Ты. Но никто, кроме меня, этого не знает.

Даша сделала вид, будто не слышит. Горничная, подавая кофейник, сказала весело:

— Вас просят после кофе наверх.

Она поднялась к нему, не спеша; он лежал по-прежнему с замотанной головой. Увидев ее с тюльпаном в руке, он протянул к ней обе руки:

— Я с точностью высчитал, что вы вот сейчас войдете. Ответьте скорее, должен ли я держать в секрете то, что было ночью, или вы хотите, чтобы об этом знали?

— Мне всё равно, — сказала она и поставила тюльпан в стакан с водой.

— Я пока держал это в секрете, потому что хотел сперва спросить вас. Как мне благодарить вас?

— Вы спали?

— Конечно, спал. И теперь еще, знаете, бок болит, как если бы большой синяк. Болит голова, очень сильно, но не как вчера. Я ждал вас и ни одного порошка не принял. Голову вы, кажется, забыли ночью.

Она смущенно кивнула.

— Представьте, голову-то я и забыла!

— Предмет не стоющий внимания. Но моя голова мне самому всегда казалась вещью важной. Какое счастье, что я не в госпитале!

Даша села в кресло. Они оба закурили.

— Часто вам случается вот так, как вчера?...

— В первый раз, — ответила она и не опустила взгляда. — И сейчас я хочу опять попробовать. Вы остаетесь тут?

— Я отправил назад автомобиль. Я уже вставал нынче утром, просил, чтобы мне прислали сиделку на несколько дней, для перевязок.

— Да. Этого я не умею.

— Удивительно. И научиться не хотите?

— Нет, не хочу.

Он умолк. Она пересела к нему на постель, положила правую руку на марлю, сквозь которую чувствовались его жесткие волосы. Другой рукой она вынула тюльпан из воды.

— Вы смотрели когда-нибудь внутрь тюльпана? — и она поднесла цветок к его лицу. — Представьте себе, что вы входите в этот тюльпан. Вы входите в самую его сердцевину, смотрите, какая она зелено-желтая, влажная, клейкая. Вы делаете шаг — и вы вступаете куда-то, где еще никто до вас не был. Это и есть сердцевина мира, и через цветок этот — в нее вход. Там всё сначала вам кажется новым, потому что вы еще не знаете цветочный путь во внутрь вселенной. Там запахи, тишина и тайна, и вы забываете постепенно о законах времени и пространства. Вас обвалакивает цветочное тепло, и свет там

тоже цветочный, и вот постепенно вам начинают открываться цветочные тайны, которые и есть законы вселенной. Вы мало помалу учитесь им. Всё в них: красота, стройность и покой. Вы идете от радости к радости, от урока к уроку, и вы знаете, что в конце этого цветочного пути, этого постижения, вам откроется, наконец, то, что вас мучило здесь. Вас в конце этого цветка ждет гармония, которая больше счастья. Ступите туда, на эту цветочную дорогу... Не бойтесь... Там ждут вас... Смотрите: тюльпан вас ждет.

Ледд смотрел не на цветок, но на нее широко открытыми глазами. Ему хотелось смеяться немножко над ее бессвязным рассказом, или просто смеяться ни над чем, просто потому, что он чувствовал облегчение. Потом он закрыл глаза и видимо уснул. Он не услышал, как она вышла.

А вечером он уже сидел внизу, за высоким стаканом, играл в нем соломинкой и смотрел, как она танцует с другими. И ему казалось удивительным, что никто как будто не замечает ее прелести, ее хрупкой шеи, нежных плеч, красивых рук и длинных серых глаз. Но он вспомнил тут же, как три дня тому назад все любовались ею, когда она бегала после купанья по берегу с мячом, и вдруг радость и ревность охватили его: радость, что она — его, и будет его совсем, и ревность, что она может быть одновременно и не его, а принадлежать кому-то другому, может любить другого. Это было началом какого-то буйного и внезапного чувства, которого Ледд уже давно не знал.

Когда он выздоровел, дня через четыре, он вечером поднялся к ней, взял читать какой-то журнал, гадал Зай по руке, а потом — по босой ноге, и она весело смеялась и тоже гадала ему, пока Даша не выставила его, сказав, что соседи давно спят. В коридоре они долго стояли у лифта и говорили, пока оба не поднялись наверх и не сели на ступеньку лестницы.

— Что это такое было о тюльпане? Вы сами это выдумали? — спросил он внезапно.

— О каком тюльпане? Ах, о тюльпане!

— Да, да, о тюльпане.

— Это мог быть любой цветок.

— Но вы сами выдумали это?

— Это мой способ думанья. Цветок — только предлог.

— Я не люблю цветов, — сказал он вдруг серьезно. — Мне всегда кажется, что это совершенно бесполезная красота. Ну что с ней делать? Я всегда больше любил овощи. Их по крайней мере сварить можно. Свежий хлеб, натопленную печку, и место, собственное, мое, нумерованное, на железной дороге.

Она ничего не ответила.

— Я не люблю бесполезности, — продолжал он. — Так устроен. Я человек грубый. Воспоминаний тоже не люблю, и тоже не знаю, что с ними делать. Например, как в детстве моя мать меня... не стоит говорить об этом. Для чего?

— Я никогда ни с кем не говорю о своей матери, — сказала Даша.

Уже и этого одного было слишком много. Она никогда ни с кем не обмолвилась словом о том, что легло на ее жизнь такой непосильной тяжестью. Но через час он уже знал всю эту жизнь, а они всё еще сидели на ступеньке, на верхней площадке лестницы. Весь дом давно спал, было тихо, прохладно. Сверчок трещал в лифте, неподвижно висящем рядом с ними в воздухе. В нем горел маленький зеленый огонь, словно это было семафор и путь куда-то, куда Даша еще не заглянула, был открыт.

Наконец, она встала и пошла, опустошенная этим ночным разговором, по широкому красному ковру, мимо черного окна, она спустилась к себе и в это время с еле слышным вздохом лифт медленно стал спускаться вниз, в темноту: это кто-то вернулся и нажал кнопку. И ей показалось, что это было каким-то заключением длинного вечера, то движение, которым что-то заканчивается, что-то закругляется: как взмах платка в окне вагона или падение занавеса.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В эту осень Даша почувствовала в первый раз в жизни острую грусть. Будто всё в ней перевернулось чем-то печальным и туманным. Сначала эта грусть была обыкновенной, жи-

тейской, так сказать — прозаической: мелочи жизни стали вдруг поворачиваться к ней своей нелепой, скучной, тягостной стороной. Потом несколько раз что-то замутилось уже в ее глубине. Возможно, что этот яркий мир, с которым она так естественно связывала себя, с тех пор, как себя помнила, заставлял ее переживать вместе с собой что-то тяжелое и печальное. Эта грусть начиналась рано утром, когда, еще до зари, Даша просыпалась и час или больше не спала, и это было в сущности единственное время в сутках, когда она бывала сама с собой.

Лежа в постели, она думала спокойно, долго, как за многие годы привыкла думать, как научили ее думать прочитанные книги — не столько старые, сколько новые книги ее современников, которые отличались от прежних усилием, которое надо было делать, читая их, и еще тем, что при чтении их никогда не возникало вопроса: а что же будет дальше? Каждая страница словно жила совершенно самостоятельно и преследовала свою особую цель. Но главное, что отличало эти книги от прежних было то, что они рассказывали ей не о Петре и Иване, не о Клелии и Эмилии, но о ней самой, о Ледде, о Соне и даже о Зай.

Но кто была она сама? И что принесли ей ее годы зрелости? Как это ни покажется странным, но основа ее, главное в ней, менялось очень мало. Она могла бы сказать о себе, что здесь, в Европе, главной в ней оставалась ее русская сущность, которую она привезла с собой: здесь пришел опыт динамики жизни, статика же была заложена в душе значительно раньше — быть может, в детстве, быть может, еще до рождения, как если бы она здесь научилась способу, образу жизни, но не самой жизни, о которой знала всегда чудесным образом, давно-давно, со времен действительно незапамятных.

Когда-то в юности она думала, что похожа на других людей, что все люди немножко похожи друг на друга и все связаны с миром, как она. За последнее время она всё чаще стала сомневаться в этом. Ведь никто, в самом деле, не был нисколько похож на нее, и если даже у кого-нибудь на свете и бывали та-

кие минуты, как у нее (полной, абсолютной гармонии), то она подозревала, что к этой гармонии люди приходили долгим путем страданий, испытаний, сомнений и падений, ей же это было предоставлено, как некий дар. И это свойство свое она ощутила именно, как благодать, как благословение. Но радость рождала подозрение: не была ли она как раз ограничена этим даром? И не была ли скрыта за ним задача: не только сохранить его и пронести сквозь жизнь, но и развить?

Эта гармония до сих пор присутствовала в ней, когда она просыпалась, как и тогда, когда вечером она засыпала, но совсем недавно, в одно из утр, сомнение родилось в уме Даши: что же всё-таки было за этим чувством полноты и покоя? Было ли что-нибудь вообще за ним? Или ничего не было? Была ли мысль какая-нибудь, была ли вера, или сила? И вечно ли это чудное чувство или оно подвержено уничтожению, как и она сама, замутнению в ней, ослаблению? Не отойдет ли оно от нее? Не распадется ли? Не претерпит ли каких-нибудь изменений от соприкосновения с временем? Или, может быть, оно приведет ее к чему-то, высокому или низкому? Должна ли она оставить всё так, как есть, или ей предстоит бороться за него?

В это осеннее утро она впервые почувствовала свою жизнь, как задание, которое надо выполнить, и беспокойство за свои силы.

Настоящее создалось, она не уследила, как. Воспоминания детства за этот последний год почти совершенно в ней погасли, и на их месте появились мысли о будущем, словно она могла вместить в себе либо прошлое и настоящее, либо настоящее и будущее, но не весь ход жизни одновременно. Но не только книги научили ее думать, она сама научила этому себя, и так как она мало любила говорить, то совершенно естественным ей казалось, что никто ничего о ней не знает: ни ее маленькой тоски, ни ее большого равновесия, ни ее назначения, если оно существует. И эти мысли, которые питали ее и которые одновременно она сама питала, в конце концов, когда наступал день, неразъясненные, неразрешенные пропадали где-то, на большой глубине, словно тонули в море, синем и светлом.

Сентябрьские, оранжевые, дымчатые рассветы были нежны и медлительны в окне дашиной комнаты. Она лежала, вытянувшись на спине и смотрела, как прямо напротив нее, в бледном окне, в небе, которого ей не было видно, вставало солнце. И вот возникал тот основной, мучительный, главный вопрос, который она, как будто, еще во сне предчувствовала: вылечила ли она Ледда потому, что могла вылечить всякого, потому что могла вообще лечить, или она вылечила его потому, что это был Ледд, которого она любила? Или именно потому, что она вылечила его, она должна была понять, что любит его? Или всё это было не так, и таких Леддов были сотни и все они ожидали от нее помощи, той самой, которую она оказала однажды и Любови Ивановне? То есть была ли в ней сила, тайная, таинственная сила, которая может стать делом всей ее жизни, или это только случайность и всё произошло от нежности странного чувства, которое родилось в ней уже после разлуки с Леддом и теперь оборачивается любовью и тоской?

Вопрос этот разрешить она не умела, но ей казалось, что случайностью всё это не было, а минутами ей хотелось, чтобы это было только случайностью, одною из многих, которые ее ждут впереди. Или нет. Исключением из всех житейских правил. Безумием всех разумных законов.

Почувствовав, что она окончательно на этот раз запуталась, она встала очень тихо, подошла к окну, раздвинула шторы.

Первый этаж. Словно трибуна, с которой говорят речь народу. Слушайте же, слушайте! Спокойно и мирно, и очень грустно. Что то будет со мной и со всеми вами вместе со мной? К чему всё это? К чему моя жизнь и я сама? У нее всегда перед этим окном, рано утром, бывало такое ощущение, что она могла бы остановить это солнце, могла бы, если бы только не была утеряна ею, как всеми людьми, связь между этим солнцем и силой, жившей в ней. Странно это было и немножко смешно, что она вот так стоит, смотрит на тихую улицу, знает, что она могла бы... Впрочем, это было скорее ощущение, чем знание, память о том, что она когда-то могла больше, чем сейчас. И будет, может быть, мочь всё меньше. Т о г д а как будто бы

не было времени, тогда всё было иное. И прошлое могло делаться будущим. Но теперь что оставалось от той силы, от той веры? Была ли она приложима в теперешней жизни хоть к чему-нибудь? К человеческому страданию? Или к собственной любви?

В воскресенье в доме всё было не совсем так, как всегда: Любовь Ивановна и Тягин, в старых халатах, оба нечесаные и неумытые, долго пили кофе, слушали радио, курили и беседовали: он — уже старик, выглядевший значительно старше своих лет, сохранивший еще старинные свои повадки. Она — за последний год сильно изменившаяся, с полным, бледным лицом и выцветшими круглыми глазами, слишком круто завитая папильотками, страдающая нарывами в горле и оттого всегда обвязанная под подбородком каким-то шерстяным кружевом. После кофе по воскресеньям пился чай и обоим становилось еще уютнее и приятнее вместе; слушали то мессу из Нотр-Дам, то гавайские гитары, то новости. В открытую дверь виднелась неубранная спальня, непостеленная постель, вчерашние газеты на полу, которые всегда читались на сон грядущий; на кухне что-то кипело и бежало из кастрюль, но никому до этого не было дела. Они с удовольствием обсуждали, как пойдут на выставку хризантем в Булонский лес, оттуда на крестины к знакомым, а вечером — в кинематограф, смотреть «тихнюю знаменитость», фамилия актрисы произнесена не была, Тягины понимали друг друга с полуслова.

Когда Даша вошла в столовую, оба не обратили на нее никакого внимания и только Любовь Ивановна сказала, почесывая голову:

— Кофе холодное. Чай горячий.

«Если бы я могла заставить его вскипеть на этом столе, вот бы они удивились!» — подумала Даша. И сейчас же затем ей стало стыдно.

Тягин поднял на нее глаза, когда она стала макать в кофе круассан. Он с отвращением смотрел на то, как размокает хлеб в дашиных пальцах.

— Граждане кантона Ури! — сказал он. — Легко и быстро. Потеряны для родины.

Даша засмеялась.

— Без громких фраз, папа. Отговорили их в свое время, отслушали, и даже похлопала галерка.

Любовь Ивановна сейчас же вступилась.

— Не огорчай его. Папочка простужен.

«Вот ее логика. И вот его пафос», — подумала Даша и замолчала.

— Мои дети — граждане кантона Ури, — повторил Тягин. Это звучало мелодично. Жаль, что не он это выдумал.

Но была тема, на которую им троим хотелось поговорить. Любовь Ивановна встала и прикрыла дверь в коридор.

— Она вчера французские стихи написала, — сказала она, обращаясь к обоим, — длинные, звучные, очень красивые.

Любовь Ивановна плохо понимала по-французски.

— О попугае, который бумажки вынимает. В моем, говорит, детстве, давным давно, было так, что попугай за копейку бумажку вынимал, на которой судьба была написана. А теперь, говорит, чтобы никому в жизни страшно не было, на всех вокзалах имеется такой автомат: из него гороскоп выпрыгивает. И это, говорит, гораздо удобнее, потому что когда берешь билет куда-нибудь, ехать, плыть, или лететь, то тут же и узнаешь, что тебя ожидает, и ничего уже не боишься.

Даша улыбнулась. Тягин улыбнулся тоже.

— И с рифмами?

— Этого я сказать не могу, — с готовностью шептала Любовь Ивановна, — я не настолько язык знаю. Но всё это очень хорошо у нее сказано было.

Это было домашнее событие, к которому приобщалась и Даша.

— Все девочки в ее возрасте что-нибудь да сочиняют, — сказала она рассеянно.

— Соня тоже говорит, — заспешила Любовь Ивановна. — Она считает, что Зай пора пойти познакомиться с такими, как она, их послушать, себя показать... Вот и папочка тоже: что мы, говорит, с ней делать будем?

Тягин нахмурился.

— Куда это пойти? С кем познакомиться? Что еще выдумали! Там нравы эдакие, ей всего восемнадцать лет. Кокаин, опиум.

Даша отняла у него корзинку с хлебом, в которой он копался.

— Восемнадцать лет, это совсем не так мало, — сказала она равнодушно, — это целых, долгих, длинных восемнадцать лет. И конечно Зай сама уже прекрасно знает, что ей делать и куда идти.

— Ури! — опять пробормотал Тягин и встал. Но в это время Зай открыла дверь и остановилась на пороге.

Зай никогда не просыпалась на рассвете, ее надо было будить, но сегодня всё было по-новому, и она даже хотела причесаться по-новому, но не сумела. Сегодня она видела сон, который еще немножко освободил ее. До сих пор ее мир состоял главным образом из снов, о которых она никому не рассказывала, и она тщательно охраняла его, подозревая, что у каждого он есть, таинственный и особенный, кроме разве что у Тягина и Любови Ивановны, у которых он был общий, а потому такой и скучный. Долгое время она думала, что все люди на свете живут одинаково, именно так, как Тягин и Любовь Ивановна. Но оказалось, что была еще та женщина, которая сидела под люстрой и ждала, были дети, которых она видела за столом и столько знала об их жизни, был рабочий со стаканом вина в руке, открывший ей целый мир. И становилось ясно: все люди разные, живут по-разному, и она тоже, когда перестанет бояться, будет жить по-своему.

Она остановилась и оглядела стол. Всё было по-новому в это утро для нее, она сама была новая, другая.

— Слушайте! Я стояла на острой скале. Некуда было поставить ногу. Внизу — обрыв, глубокий, без дна, впрочем, не стоит рассказывать, вы не поймете. Ни вперед, ни назад. Даша, слушай! Я стояла и знала: вот и конец пришел мне, деваться некуда, назад нельзя. Сейчас упаду. И вдруг мысль: (одним краешком сперва) да ведь это сон! Вот ступлю ногой в воздух и... ничего не будет, никакой катастрофы, потому что это не

действительность, это только снится, а раз снится, значит могу свободно шагнуть в ничего, в пустоту. И как только я это подумала (ты меня слушаешь?), так всё пропало и я легко и просто пошла по ровному, гладкому паркету.

Откуда шли к ней слова? Она стала рассказывать, как вчера она видела над Парижем небо, как «опрокинутую раковину», которую она «никогда не забудет», что деревья у моста Инвалидов делаются цвета сигар и что ничего нет прекраснее на свете витрин цветочных магазинов и колбасных лавок.

— Каких лавок? — переспросил Тягин, решив, что он ослышался.

— Колбасных, — повторила Зай.

— Что же тебя дома не кормят?

— Это совершенно другое. Они так прекрасны!

Воцарилось молчание; слышно было, как Зай, припав к чашке, тянет кофе. И в это мгновение Даша поняла, что сегодня она пойдет к Ледду.

По этим осенним, солнечным улицам, пешком, полная этими тяжелыми и беспокойными мыслями, этим томительным чувством, надежд, которые ее мучили целый месяц, вопросов, не дававших жить.

Зай, между тем, макала круассан в кофе, Тягин печально и укоризненно смотрел на нее, Любовь Ивановна, остановив взгляд на висевшем на стене календаре, с блаженной улыбкой в сотый раз в это утро констатировала, что сегодня воскресенье; время текло с полнейшей безмятежностью, свет стоял в окне, за которым был пустой зал, в котором уже лет двести наверное не давалось балов.

Внезапно где-то хлопнула дверь и краны в ванной запели в два голоса: один повыше, другой пониже.

— Наконец-то! — сказала Любовь Ивановна, словно проснувшись. — Теперь будет плескаться до обеда.

Это было о Соне, и Зай засмеялась: ей очень нравилось, что Любовь Ивановна была сурова к Соне и нежна к ней. Это было приятно. Даша спокойно отставила свою чашку и встала. Ей не хотелось сегодня встречаться с сестрой.

Она пойдет к Ледду. По солнечным улицам. Полная надежд, вопросов, любви. Его адрес был у нее в памяти. Он жил в гостинице, на улице Жакоб, и когда она прощалась с ним (неужели она так ошиблась в своем предчувствии тогда, что этот человек принесет ей большую радость и большое страдание?), в вечер их разлуки, он сказал: «Не приходите ко мне. У меня тесно, неуютно и пыльно, я непременно приду к вам сам и очень скоро, и мы пойдем гулять в такие места, которых вы совершенно не знаете». «Я знаю все места, — сказала она, — знаю, где распускаются каштаны в сентябре и где они цветут в декабре; знаю, где появляются первые подснежники в марте, и могу вас повести к одной магнолии, у которой бывают бутоны в начале октября. Я знаю, когда у слонихи в Венсене родится маленький и как пройти кратчайшим путем к носорогам, которых сейчас осталось всего три, потому что...»

— Вас послушать, можно подумать, что Париж — это лес, а не город.

— Париж — это лес, поле, горы, река, каналы и пастбища, — ответила она тогда.

И правда, дома и дворцы, памятники и арки, могли исчезнуть, особенно дома, в которые так любила заглядывать Зай. Для Даши их могло не быть: это были камни, а она любила совсем другое.

Улица Жакоб. Маленькая гостиница; в бюро — ворох белья на столе, для починки, и запах кухни. Взгляд сухопарой хозяйки на доску с ключами: да, он у себя. Третий этаж, дверь, как все двери. Голос Ледда: кто там? Даша видит его сквозь дверь, но когда он появляется, он совсем не тот: небритый, худой, с красными глазами, в фуфайке с продранным локтем.

— Это вы! — он как будто не рад, и так удивлен, что это кажется неестественным.

Дым папирос в маленькой, с пестрыми обоями комнате. Регламент на двери, засиженный мухами, ситцевые ширмы, за которыми слышно, как в рукомойнике бежит вода, стол, заваленный книгами, бумагами, газетами. Что-то безличное в этом беспорядке.

— Я очень соскучилась, Ледд, мне захотелось вас видеть. Какой вы оказались неверный.

— Нет, я верный. Я приходил к вам, больше месяца тому назад это было. Сейчас же по приезде. Но вы не отозвались, и я решил, что вам не до меня.

Ей кажется, что и это неправда, но это — правда, и она садится.

— Сегодня у меня ужасный день, — говорит он, не глядя ей в глаза. И вообще все эти дни — ужасные дни. Мне стыдно за беспорядок, но я в каком-то нехорошем, несуразном состоянии... Да, я приходил к вам, но вас не застал. И милой Зай тоже не было.

— Мне никто ничего не сказал.

— А потом, — замотался. Никак не мог вырваться, — и Ледд вдруг начал хлопать по газетам, ища спичек. — Я у вас с вашей другой сестрой говорил, она мне дверь открыла. Мы познакомились, но она, вероятно, забыла. — Он твердо выговаривает последнее слово и не верить ему, конечно, нельзя.

Об этом довольно. Но глаз его Даша не видит: то он становится спиной к окну, то садится как-то боком, то ходит вокруг, ища что-то, ставит какие-то книги на полку, одергивает покрывало кровати.

Несколько мгновений Даша слушает себя. Там не всё спокойно. Кажется, надо скоро-скоро уйти, но она остается.

А вместе с тем, не только ей самой было ясно: надо уйти, но и сам Ледд как будто без слов умолял ее об этом. Между тем разговор тек своим порядком, Ледд даже сказал один раз «еще очень рано», что могло означать «останьтесь еще», но где-то в одном шаге от этой комнаты находилась уже другая плоскость, и там всё было зачеркнуто и уничтожено.

Ледд, однако, старался говорить всё время и когда ему это не удавалось и наступали провалы молчания, Даша и сквозь них слышала продолжение его мыслей, которые текли и текли с невероятной силой, с напором кричащей убедительности, но которые ей казались такими холодными и мутными.

Над столом были кнопками пришпилены два портрета — два человеческих лица, и казалось: невозможно было бы найти не только во всем XIX-м веке, но и во всей мировой истории два лица, которые бы так разнились друг от друга: в левом, том, что висело над столом, было нечто ангельское. В его нежности была бесполость, в его глазах, в его чертах, не было ни того, что могло бы назваться умом, ни того, что называется мудростью; в юном очерке чуть заостренных скул была та прелесть, которая не бывает даже в цветке, нельзя было не дрогнуть при виде очерка этого рта. Мог ли такой рот жевать, целовать, курить? Возможно ли было представить себе, что это лицо в свое время лежало в гробу, темнея и разлагаясь? Это был Новалис. Он был прикноплен кое-как, конечно, только именно за лицо, вряд ли Ледд думал о его поэзии когда-либо, во всяком случае — давно не думал. Другое лицо было целиком из мяса. Оно было тяжелое, заросшее бородой, и глаза в толстых веках под тяжелыми, синими волосами, были грозны. Даша не сразу узнала Бакунина.

Потом наступила пауза. Она внимательно смотрела в окно. Неужели это ему на грудь клала она свою руку и говорила с ним о тюльпане? Он преисполнен какого-то отчаяния, он сам не знает, о чем говорит.

— Очень трудно, очень трудно без своей страны, — прервал он вдруг себя самого (он говорил о том, что пишет сейчас статью на трех языках сразу) и особенно мне, такому, потому, что у меня нет родины, никакой родины, никогда ее не было, никогда ее не будет. И значит никакого настоящего дела в жизни нет. Одна трепка нервов по чужим углам. И всё не то, всё не то, и так — до седых волос. Безвыходность. Вы этого не понимаете?

Она не почувствовала вопроса в его словах, только утверждение, и не захотела ответить, у нее было что сказать по этому поводу, но она не чувствовала необходимости открывать ему свои мысли. И она увидела бесповоротно, так, как если бы он сам ей сказал своим громким, сухим голосом, которым всегда говорил: она совершенно не нужна ему в жизни, в его

борьбе, он чувствует ее заранее, как совершенно ему в этом чужую, и пусть ей кажется сейчас бесспорным, что в ней и только в ней всё его спасение, что не ее судьба вела к нему, но его к ней, что он слеп и глух к собственному бытию, — она должна встать и уйти. Туча проходит над высохшим полем и бурно проливается дождем над океаном.

«А ведь на том языке, на котором говорят люди, на котором изъясняются папа и Любовь Ивановна, Соня и Зай, и все кого я знаю, это называется напрашиванием, навязыванием себя в подруги, в любовницы», — подумала она и поднялась. И Ледд сейчас же пошел с ней к дверям, повторяя:

— Да. Вот так. Я бы должен отсюда уехать. Ну зачем я в Париже? Но куда? Пора выбрать, наконец, ведь иначе всё это становится трагически бесплодным. Я еще борюсь за жизнь, но я не имею основного, что имеют все люди, я только наполовину человек. В сущности, вы попали ко мне в ужасный момент моей жизни, знаете, когда всё вдруг идет кувырком и презираешь себя утром, чтобы ужасно как полюбить вечером.

Она сказала:

— Если вам захочется меня видеть (чего не думаю), вы черкните мне два слова.

— Ах да, сказал он, — как-то уж слишком почтительно пожимая ей руку, — непременно. Вот когда я был у вас (и не застал) я еще совсем был другим, больше похожим на летнего.

— Соня очень забывчива, — вставила Даша, — особенно, когда касается моих дел.

— Ничего ей не говорите! — воскликнул Ледд. — Я так не люблю, когда из-за меня бывают ссоры.

Даша удивилась.

— Хорошо, если вам так хочется.

И она стала спускаться, высвободив свою руку. Ледд перегнулся через перила.

— Я тогда посидел с ней немного, поджидая вас... Она совсем на вас не похожа.

— Мы от разных матерей, — спокойно сказала Даша, не

оглядываясь и чувствуя внезапно, как вся эта история вдруг становится совершенно лишней, теряет свои очертания в пространстве и тает во времени... И лестницы играют в ней большую роль, и хорошо бы сейчас бродить где-нибудь далеко-далеко, давно-давно, где-нибудь невдалеке от Афин, в третьем веке, запахнув на груди хламиду, босыми ногами ступая по плоским розовым камням, среди стрекоз и лавров.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тетрадь Сони Тягиной

Ледд сказал мне вчера, что уедет в Венгрию, намекая, что выполняет одно политическое поручение. Это — вывод из всех наших долгих разговоров в течение месяца.

— Если уж делать что-нибудь, — сказала я на это, и на сей раз у меня не было никаких задних мыслей, — если уж ехать, то не в Венгрию.

— Значит, ты упрекаешь меня в том, что я в свое время не поехал в Испанию?

Упрекать мне его не в чем. Но у меня есть свое мнение. Если уж делать сейчас что-нибудь в его духе, то, конечно, не в Венгрии.

— Венгрия — одна из твоих четырех (или сколько их?) родин. Я констатирую факт, что ты в конечном счете предпочитаешь работать на нее, не понимая, что в Испании ты мог бы работать и на нее, и на весь мир.

Но он, конечно, с этим не согласен. Он говорит, что вся жизнь и смерть Рудина осветились бы смыслом, если бы он погиб на баррикадах не в Париже, а в Москве. Я считаю, что она и без того имеет прекрасный смысл: главное погибнуть на баррикадах, а где они — неважно.

— Одна из четырех родин, — повторяет Ледд, с чем-то горьким в лице. — Какая ты злая!

Я лежу и потому не могу пожать плечами, но мысленно я делаю это, и возвожу глаза к небу — тоже мысленно.

— Этой фразе много лет... Иди, умирай, только за дело.

Он подходит к дивану, сжимая кулаки. Но голос у него грустный:

— Я пожертвовал тебе чем-то, что было у меня самым драгоценным, самым таинственным; чем-то неповторимым, единственным, что имело бы вероятно отношение не только к теперешнему отрезку моей жизни, но ко всей моей судьбе, которая может оказаться, в конечном свете, просто ничтожной, как и я сам.

Я ничего не спросила, потому что мне всё это, в сущности, глубочайшим образом неинтересно. Он говорил о Даше.

— Но я не жалею ни о чем. Я люблю тебя.

Это я уже слышала много раз. Каждый раз, как он говорит это, я на мгновение испытываю грусть: я не могу ответить ему тем же, стать его эхом. (А если бы я могла стать эхом? Испытала бы я радость быть эхом?)

Но мне нравится, что он говорит так, мне нравится он сам. Как и раньше, как и всегда, я сделала первый шаг; когда-то это считалось невозможным, потом — трудным. Это остатки какого-то забытого предрассудка, который давно умер. Когда-то еще считалось, что мужчина правдивее и прямее, а женщина — увертлива, неуловима, причудлива. Всё это стерлось теперь. Я делаю первый шаг. Мне нет дела, каков он. Я знаю только, что я правдива и пряма.

Когда я беру его голову в свои руки, я хочу убедить себя, что через всё это можно дойти до слияния с вселенной. Я касаюсь губами его лба, и он смеется от счастья. Он говорит, что был когда-то веселым, живым, предприимчивым человеком, в двадцать лет у него была сотня возможностей. И вдруг они стали постепенно пропадать, таять, исчезать, всё вокруг него обмелело, он хватался то за то, то за это, и носился по свету, — нет кажется страны, где бы он ни побывал. И о каждой стране он говорит с благодарностью, каждой он чем-нибудь да обязан.

— Да ты счастливейший человек на свете, — говорю я ему, шутя.

У него нет своего места в мире, своего дела, и он теперь

судорожно ищет его. Как будто наступил последний срок. Последний час выбора. А мне кажется, что именно Ледд больше всех нас в этом мире у себя дома. Именно в таком мире, в каком мы сейчас живем, он, может быть, наиболее у места.

Я лежу на его диване, в жарко натопленной комнате его маленького отеля, и задаю ему вопросы, мои вопросы, которые я придумала для него. Я люблю знать, что делается у него в мыслях. Он вырезает из цветной бумаги фигуры, похожие мягкими очертаниями на каких-то бацилл под микроскопом, раскладывает их вокруг себя, и отвечает мне. Это игра, и нельзя ни на мгновение задуматься:

— Я иду?

— По дороге.

— Ты идешь?

— По облакам.

— Он идет?

— По мосту Нотр Дам.

— Мы идем?

— По канату.

— Вы идете?

— По движущейся лестнице метро.

— Они идут?

— Под руку, в сумерках.

Нельзя придумывать. Надо отвечать сразу, автоматически, открыв все семафоры подсознания.

— Я умираю?

— Со стаканом яда в руке.

— Ты умираешь?

— Один, в пустыне.

— Он умирает?

— Харакири.

— Мы умираем?

— Бросаясь на врага.

— Вы умираете?

— В собственной постели.

— Они умирают?

— В железнодорожной катастрофе.

Я умолкаю и долго лежу неподвижно.

«Мы умираем бросаясь на врага». Пусть будет так! Но ведь это ему только так кажется. Никогда он не бросится на врага.

Всё, что я думаю о любви, весь мой любовный опыт, я принуждена таить от того, кто любит меня. Это так, словно я украла что-то: все знают, что я украла, только тот, у кого я украла, ничего не должен знать. И вокруг него — заговор.

Но сегодня я решаюсь сказать ему, что он для меня — один из многих.

«А живы будем, будут и другие».

И вот он садится около меня и смотрит на меня с таким страданием в глазах, что я начинаю его уверять, что это шутка, что это цитата... Какое счастье — возможность всегда говорить правду. Но я не знаю этого счастья и мне тяжело. Редкие попытки мои мне не удаются. Чем больше моя правда, тем больше его страдание. Один раз я сказала ему: «я люблю тебя», сказала не потому, что это чувствовала, но потому, что хотела, как заклинанием, вызвать, попытаться вызвать для себя самой ощущение слияния с ним. Оно не возникло. Слова оказались лишенными магии и прозвучали просто ложью, не обманув никого.

Слова. Я произношу некоторые из них, как вещие формулы, способные создать что-то несуществующее, совершить чудо, соединить несоединимое. Превратить в целое то, что раздроблено. Мир расколот на я и не-я. Я хочу, чтобы всё срослось, соединилось, спаялось — в одном ответе. К этому нужно не заклинание, к этому нужен ключ. Кто-то говорит мне во сне: найди ключ сперва, найди ключ! А потом уже ищи двери. И я ухожу искать этот ключ.

Сначала, кажется, Ледд предполагал, что я поеду с ним. Куда? Конечно — на край света. Сначала Ледд думал, что он сумеет склеить для меня некую игрушку, которую подарит мне в полную собственность, и я за то, в преданности и верности, последую за ним. Этого не случилось и не могло случиться. Склеенные игрушки мне не нужды. Разрешение вопроса по

Ледду (для которого мир упрощенно расколот на богатых и бедных) только маленькая часть огромной задачи, которая стоит передо мной и с каждым годом делается всё страшнее, всё тяжелее.

— Богатые, — говорю я ему, — почти всегда живут в постоянной скуке, постоянной тоске, отчаянии и нечистой совести. Достигший славы или власти платит за это несвободой, страстями, одиночеством и всё той же скукой. От простого счастья человек, в конце концов, теряет образ человеческий и приобретает образ скотский. От отсутствия простого счастья он сходит по узким ступенькам в такой дикий и темный ад, который может быть и со смертью не кончается.

Я лежу на его диване и играю с ним в нашу любимую игру вопросов и ответов. Но он знает и я знаю, что нам обоим предстоит жизнь, целая трудная жизнь. И что ее нельзя проиграть.

— В данный момент, — говорит Ледд, — есть, конечно, места на свете, где можно быть нелишним, где даже можно стать необходимым.

— Байрон, где твое Мисолонги? — говорю я на это. Пусть едет! Если он не уедет, что я буду с ним делать здесь, в Париже? От него, в конце концов, мне станет только еще тяжелее. И весь этот груз меня когда-нибудь надломит.

Но мир расколот и, может быть, в самом деле ничего нельзя с этим поделать. Остается расколоться вместе с ним и в этом действии найти, наконец, желанную гармонию. Такая, какая я сейчас, я еще усложняю всё, самым своим существованием усложняю всю систему, усложняю вселенную. А она, может быть, прекрасна? Этого я не знаю. Сколько я себя помню, я всегда хотела быть с ней в ладу. Я лет десять тому назад приняла одно решение, которое в то время казалось мне спасительным, и хоть таковым оно не казалось, я всё же радуюсь, что выполнила его.

Внимательно приглядываясь к истории мира, не к истории его войн, судьбе правителей, переселению народов, экономическим системам, но к истории его духовных движений, к цепи развития идей, я решила по своим силам проделать тот же

путь. Образно это можно было бы изобразить таким способом: представим себе цепь высоких гор, Альпы или Гималаи. Каждая вершина в цепи есть одна из так называемых «ведущих идей человечества». Я иду от вершины к вершине. Я как бы переселяюсь на плоскость высотой в 2.000 метров и там начинаю жить. Это моя изначальная высота. Я делаю шаг — с одной вершины на другую, с нее — на третью, затем — на четвертую (никогда не спускаясь ниже 2.000 метров). То я восхожу на 5.000, то спускаюсь на 3.000. Несколько раз я дохожу до 6-7 тысяч, и вновь возвращаюсь на 4.000. Но я живу высоко и дышу т е м воздухом. Я повторяю путь, пройденный миром в его духовном плане, иду путем человеческой мысли, слежу ее ход. Моя задача растянулась на годы. Она только теперь идет к концу.

От истоков мировой духовности, китайской «Книги Превращений», Востока и пророков, через Грецию, Рим, Новый Завет, к Александрии и средним векам, я дошла до Возрождения, до Реформации, до XVIII-го, XIX-го веков и нашего времени. Я старела и мудрела вместе с миром. Я жила его историей.

Не хочу этим сказать, что я прочитала всё, что было когда-либо написано по истории, истории философии, истории религий, всю поэзию за двадцать пять веков. На это не хватило бы человеческой жизни! Но я, раз став на эту дорогу, пошла по ней, ни на что иное не глядя. Я десять лет отдала на то, чтобы узнать путь, которым шел мир и сделать этот путь своим. У меня не было (и нет) сомнений, что мой рассчет был правилен, но он рассудочен. Факультет был всей моей жизнью. Licence и защита диссертации были для меня не только преодолением трудностей, но и настоящей большой радостью, одной из немногих, какие я когда-либо испытала. Работа моя о Ксенофонте, защита диссертации о Филиппе Македонском (как я любила этого Дедала, отца Александра — Икара!)—всё это несло меня сквозь века, заставляя постигать ход и величие того, с чем я мечтала слиться.

Главное было не только узнать, не только изучить, главное было поддаться внутренне тем влияниям, тем глубочайшим те-

чениям, которым поддавался в течение тысячелетий — и не всегда добровольно — мир, отразить в себе этот рост, постичь духовные перемены, с ним происшедшие, постичь, как от одного он шел к другому, как менялся, как падал и возвышался. Бывали месяцы, когда философия и литература, искусство и социология, занимали меня почти с одинаковой силой. Всё, что духовно возбуждало мир, всё, что двигало и создавало его, я проходила сама, чтобы следом за ним пройти его «кривую»; да, вот это слово: я хотела, чтобы кривая моего развития и кривая развития мира совпали.

Скажут: человеческой жизни мало, чтобы изучить мир, так, как я этого хотела. Я сделала, что могла. Я сдерживала себя. Я строго держалась основного. Меня интересовали в первую очередь идеи и люди, которые эти идеи несли. Я хотела, хотя бы в общих чертах, быть подобной миру, т. е. пережить все те воздействия, которые пережил он. Он имел преимущество передо мной: перед ним была вечность. У меня было преимущество перед ним: у меня была воля.

Господин Тягин, мой отец, в это время то спекулировал и богател, то раззорялся и не платил за мое правоучение. У меня не бывало денег на метро, и я, голодная, едва умытая, но одержимая своей идеей, бежала из дому, в аудиторию, если не сидела над книгами. Госпожа Тягина, моя мать, несколько раз пыталась убедить меня учиться и шитью и набиванию кукол, а то еще вступить на путь парикмахерского искусства (она считает парикмахерское ремесло из самых доходных). Даша, сестра моя, не удостаивала меня ни советом, ни упреком. Она принадлежит к тем людям, которым дела нет ни до кого и которые, чтобы ни с кем не осложнять отношений, счастливы сами собой. Впрочем, я, может быть, к ней несправедлива. Ох, уж мне эти уравновешенные человеческие особы! Кончают они все одинаково: обрастают жиром и умирают, окруженные внуками.

Я жила кое-как, не слишком честно, не слишком чисто. Цель моя была передо мной, я ей не изменяла. Когда Б. давал мне немного денег, я бывала ему благодарна, я могла есть до-

сыта. Я старалась как можно меньше вводить домашних в расход по части моего питания.

Всё это прошло. В любом провинциальном городе Франции я могу получить место «профессора истории», но я вот уже год, как лежу на диване в Париже: то у себя, то у кого-нибудь. Сейчас — у Ледда. Я лежу до сумерек. На стене — Новалис и Бакунин, два старых моих знакомца, над которыми в свое время я не мало думала. Теперь они объединены этой пестрой стеной комнаты Ледда. Лучше умереть, как Новалис, чем как Бакунин. Но лучше жить, как Бакунин, чем как Новалис.

В сумерках я встаю. Скоро наступит день нашего прощания, но это еще не он.

— Если ты ищешь действия, — говорю я ему, — то ты спасен. И ничего тебе уже не страшно.

Он обнимает меня, целует мне руки.

— Поедем вместе, — говорит он, — тогда я буду спасен. Уедем со мной отсюда.

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я рассказываю ему сказку:

— На одном далеком острове жил в далекие времена один маленький народец. У него была своя культура, высокая цивилизация, были искусства и законы, не было нищеты и войны. И люди, жившие друг с другом в дружбе, уважали друг друга и любили вежливость. Они не знали ни распрей, ни бедствий, ни эпидемий, ни тирании: правители их были честны и дальновидны, женщины трудолюбивы, дети непорочны.

И вот они узнали, что варвары собираются напасть на них и уничтожить их. Неподалеку от их острова находились другие острова и там, с незапамятных времен, жили жадные, грубые, глупые и преступные люди. Они решили напасть и уничтожить маленький народец, чтобы не было в мире такого жизнеустройства и всё бы принадлежало им, и всюду были бы одни и те же нищета, болезни, ложь, страх и скука.

Когда на острове узнали об этом, всё население вышло из домов в глубокой печали. Было ясно, что никому из жителей

не уцелеть в этой неравной борьбе. И народец решил выбрать из своей среды наиболее достойного и отправить его на далекую Землю, чтобы он рассказал людям Земли о том, какой существовал остров и какая на нем была цивилизация, и не дал бы погибнуть в памяти людей тому, что было достигнуто. Они знали, что обречены на гибель, как и их прекрасная страна, и хотели, чтобы не погибла хотя бы легенда об их существовании.

И выбранный отплыл от родных берегов. Он вез с собой модели легких и прочных машин, летательные аппараты и удивительной силы лекарства, дающие долголетие; он вез ученые книги мудрецов, музыкальные инструменты, издававшие сладчайшие звуки, и законы государственные, которые были так хороши, что их даже переложили на музыку. Он вез тонкие ткани, чертежи мостов и модели удивительных зданий... И когда он пропал из виду, народец на острове стал ждать своей участи. Вся жизнь его изменилась; всё, что раньше имело значение, потеряло это значение, потеряло всякую цену и смысл. И вместо всего, что было (такого прекрасного и совершенного), появилось в людях что-то совсем новое, что-то дотоле неведомое, которому даже имени не было. Чем ближе подступали варвары на своих плотах, — с четырех сторон несметными полчищами, — тем ярче разгоралось в людях это, неимеющее названия, тем светлее становились лица и чище помыслы, тем выразительнее становились их глаза, торжественнее движения. Сердца зажигались, светились мысли, очищались души от всего, что было в них, — в ожидании смерти. Вместо всего, что было и что было обречено, вдруг появилось в них что-то нетленное и особенное, что-то предсмертное, величественное и кроткое, что было в тысячу раз ценнее, чем то, что увез от них выборный человек. И это новое было несравнимо ни с книгами их, ни с моделями, ни с чертежами. И если бы этот выборный мог сейчас вернуться к ним, он не узнал бы их, а они бы не поняли, зачем он среди них, и для чего он увозил какие-то предметы? И что собирался о них рассказать жителям Земли, когда он ничего, в сущности, о них не знал? И зачем было жить в памяти людей какой-то легенде?

И они погибли, конечно, потому что варваров было в триста раз больше, чем их, и потому что пришло их время.

...Я выхожу от Ледда в восьмом часу. На улице пахнет гарью, сырой туман заволакивает город. По каким Гималаям шагает моя мысль? Чувство собственной свободы пьянит меня. Я могу пойти налево, могу пойти направо, могу остановиться. Могу жить, могу умереть. Могу оживить, воскресить мое прошлое и могу создать свое будущее. Я вхожу в булочную и из восьми сортов румяных булок выбираю одну и прошу разрезать ее пополам. В соседнем гастрономическом магазине мне вкладывают в нее толстый, несгибающийся кусок суховатой, твердой ветчины. Я иду по улице, откусываю и жую. У меня кружится голова от чувства неограниченной свободы. Никто не смотрит на меня, никто не видит меня. Я иду и жую, и пьянею от одиночества и воли. Я могу выбрать из всего, что мне дано (а данное мне неограничено) то, что я пожелаю, и оно станет моим, и я стану его. И я выбираю весь мир, потому что это самое трудное.

Какой найти путь для соединения с ним? Мелкий дождь моросит мне в лицо, небо по ту сторону реки становится чернобагровым. Я не знаю, куда я иду, по каким мостам, по каким набережным: мне страшно, мне грустно, меня охватывает состояние какого-то предсмертья. Мысль, что мне нет выхода, что мне нет встречи, смысла и ответа, опять появляется во мне; мысль, что всё — зря, что слияния я с не-я не бывает, что ни город этот, ни эта страна, ни континент, ни планета ничего не имеют общего со мной и никогда не будут иметь. Что чернобагровое небо само по себе, а я — сама по себе, со своей свободой: выпить стакан вина в угловом кафе, у стойки. Или, может быть, кофе?

Н. Берберова.

(Продолжение следует).

***

I

Но ведь есть же, есть еще свобода!
Каждый может думать о своем,
Восторгаться зрелищем восхода,
Вспоминать покинутый свой дом.

Но ведь есть же, есть еще граница,
Где никто не смеет задержать,
Где нас ждет небесная Царица,
Всех скорбящих благостная Мать.

Но ведь есть же, есть еще на свете
Соловьи и звезды и друзья,
Шелест дней и гром тысячелетий,
Храмов звон и радость бытия.

Так чего ж грустить и ужасаться,
Что в пути настигла нас беда:
Есть же, есть еще куда спасаться,
Горний свет доходит и сюда!

II

Я видел Свет, прорвавшийся сквозь тучи,
Я видел Свет, забрезживший сквозь тьму.
Я видел Свет, крылатый и летучий,
И счастлив я, не знаю почему.

Я пережил великое крушенье,
Крушенье царств и гибель королей.

Я пережил разлуку и лишенье,
Но с каждым днем душа моя светлей.

Я видел Свет обещанного века,
Я видел Свет загаданного дня.
Я видел Свет, я — нищий и калека,
И нет людей счастливее меня.

И в этот час, и горестный и темный,
Я лишь о нем вещаю и пою.
Я видел Свет и горестей не помню.
Я вновь обрел Мать-Родину свою!

III

Ты — темная, ты — жадная,
Ты — злая, беспощадная,
В беде людской виновная,
Распутная, греховная,
Огнем страстей палимая,
Ничем не утолимая,
Несчастная, любимая,
Родимая земля!

IV

Заблудился Ангел на земле
С золотым сиянъем на челе,
С ясными, как небеса, глазами,
И вмешался робко он в толпу,
И не мог найти свою тропу,
И таит в груди святое пламя.

И везде томился он, везде,
И везде грустил он по звезде,
О селеньях райских вспоминая,
И везде, везде он был гоним —

И глумились смертные над ним,
И грозила тьма ему земная.

Бедный Ангел! Сбился Ты с пути,
И не можешь родину найти.
Есть ли что беспомощней на свете!
Заблудился Ангел на земле
С золотым сияньем на челе,
А дорогу знали только дети.

Николай Белоцветов.

***

Пять адских рек дано узнать поэту:
Стикс — ненависть; терпенье — Ахерон;
Стенанье — Ко́цит; пламя — Флегетон,
И пятую — реку забвенья — Лету.

Четыре переплыты. Вдалеке
Окутана безмолвием и мглою
Струится Лета дымною волною.
Груз тяжких дум потонет в той реке.

***

Ты повторился, древний сказ
О новосозданном Адаме:
Я мир увидел в первый раз
Незатемненными глазами.

Ушам раскрылся шум земной,
На дневный свет раскрылись веки,
Летели птицы надо мной,
В далекий путь струились реки,

И зверь, невиданный досель
Скользил невиданным извивом,
И ветра гулкая свирель
Свистала гимн лесам и нивам.

Я ощутил дыханье трав
И солнца пламень светозарный
И, головой к земле припав,
Дышал и слушал, благодарный.

Александр Браиловский.

1949.

АНГЕЛ

Под грохот тяжелых орудий
На землю спустился архангел.
Не видят посланника люди
Несущего огненный факел.

Архангел идет через пашни,
Чрез поле с несжатой пшеницей,
На камни разрушенной башни
Слетели голодные птицы.

А люди людей убивают
И общие роют могилы,
Убитых тотчас забывают,
Как будто бы те и не жили...

Узнали архангела дети,
Увидели свет принесенный —

Кричали: смотрите, смотрите!
К нам ангел идет освещенный!

Но люди не слышат призыва,
Не рады лучам благодатным,
Сердца их не знают порыва —
В них страх перед ужасом ратным...

Архангел, приди к нам, уснувшим,
Приди и поведай о Боге!
Мы все сновиденьям послушны
В минуты смертельной тревоги.

А. Горская.

***

Когда впервые надо мною
Твоя вскружилась ворожба,
Чем — словом, стоном, тишиною —
Заколдовала ты, Судьба:

Чтоб тридцать витязей чредою
Вошли в видений полный лес,
И слово вспыхнуло звездою
В китайском бархате небес;

Чтоб над рекой, в бродячем свете,
Под гулкий ледохода рев,
Мне жег глаза косматый ветер
Манчжурских рыжих вечеров;

Чтоб жизнь мою, как Божью милость,
Корейским летом я нашла

В воде, что, теплая, струилась
Над тусклым золотом русла;

Чтоб на распутьи лет жестоких
К тебе была моя хвала
За то, что пылью мест далеких
Мое ты детство замела?

Мария Кригер.

29-XII-48.

ПЕЙЗАЖ

М. С. Цетлиной.

Пустырь при слияньи двух улиц,
Двух асфальтовых темных рек,
(— Стикс, и Сена) туманом курится
Средь столбов, уличных вех.

На земле осколки стекла, как звезды.
Весь в алмазах, блещет пустырь.
Стикс и Сена, вечныя сестры —
Дни и ночи — текут в надир.

На столбах объявленья о закрытьи театра.
Где теперь актеры, короли на миг?
Только бродит память моя — Кассандра —
Средь аллей непрочтенных книг.

Тонет шаг в асфальтовом улиц омуте.
Тонет в сердце памяти всплеск.
В пустыре (сквозь окно потемневшей комнаты) —
Лишь стеклянных осколков блеск.

Е. Рубисова.

Нью-Йорк, 1948.

ОСЕНЬ

Кудрявит ветер порыжелый лист
И рвет, метет уснувшую дорогу.
А воздух ясен, воздух нежно чист
Как утром детская молитва к Богу.

И звон шагов, и палки нервный стук
Не согласуются со всей природой.
И твой восторг, мой лучезарный друг, —
Последний крик отравленного года.

ОТХОД

Почему бывают дали ясны,
Почему бывают зори красны,
Если в сердце холод темной ночи
И биенья сердца всё короче?

Пусть поникнут главы церкви древней,
Пусть пройдутся вихри над деревней,
В этот час к иным глухим печалям
Мы с тобой от берега отчалим.

Леонид Страховский.

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

В дождь думать хорошо о светлом небе,
Зимой мечтать о солнце и цветах.
А летом хорошо с внезапной грустью
Вдруг вспомнить снег, висящий на столбах...

Пусть говорят, что думать — это мало.
Но разве не из дум родился мир?

Но разве не из дум открылись звезды?
Но разве не из дум пришел Шекспир?

Ночь опускает жизнь во мрак великий,
Но сердце ждет расвета и во сне.
Нет ничего сильней на этом свете,
Чем думать о прекрасном, новом дне!

МУДРОСТЬ

Кто-то сказал, не знаю,
Чьи это были слова:
Мудрость — это седая
Старческая голова.

Кажется, так и было
Долгие годы, века —
К свету малых водила
Старческая рука.

Только и часто бывало,
Мудрости не было в ней,
Мудрость даже не знала,
Чья голова седей.

Сколько их было на свете
Старых, упрямых глупцов...
Господи, сделай, что б дети
Стали умней отцов!

Сделай, что б все печали
Смехом жизнь унесла,
Так, что бы мудрость в начале,
А не в конце была.

Михаил Чехонин.

ОН И МЫ*

(ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМ)

Петербург, 1897-1903

Наши путешествия, Италия, все работы Д. С., отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны — плоский материализм старой «интеллигенции» (невольно и меня толкавший к воспоминанию о детской религиозности), всё это вместе взятое, да конечно с тем зерном, которое лежало в самой природе Д. С., — не могло не привести его к религии и к христианству. Даже, вернее, не к «христианству» прежде всего, — а ко Христу, к Иисусу из Назарета, образ которого мог и должен пленять, думаю, всякого, кто пожелал бы, или съумел, взглянуть на него пристальнее. Вот это «пленение», а вовсе не убеждение в подлинности христианской морали, или что-нибудь в таком роде, оно одно и есть настоящая отправная точка по пути христианства. Последние годы века мы жили в постоянных разговорах с Д. С. о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они были поняты, как понимаются сейчас и где, или совсем не понимаются или забыты.

Мы должны были бы, в эти годы (1897-1900), сойтись с Влад. Соловьевым, но это почему-то не случилось. Мы его знали лично, встречали и у баронессы Икскуль, и у графа Прозора, читали вместе с ним на литературных вечерах (не студенческих «демократических», а более «фешенебельных»), с его младшей сестрой, Поликсеной, я даже была и тогда, и после его смерти, долгие годы, в самых приятельских отношениях, — а всё-таки у нас с ним лично что-то не вязалось. Он жил в Москве, в СПБ. бывал наездами, когда приезжал —

---

*) См. кн. 23-ью «Нового Журнала».

был окружен кучами «приятелей», которые «нам ничего не говорили», — да, пожалуй, и ему самому. Я не помню, чтобы он где-нибудь при нас (в обществе) говорил о чем-нибудь серьезном. У него была привычка «острить» (не остро, такая же привычка оказывалась и у сестры, Поликсены), а хохот его, каким он свои «остроты» сопровождал, был до такой степени необычен и неприятен (он был им знаменит), что — мне по крайней мере — никакого удовольствия встречи с ним и не доставляли.

Помню, однажды, мы, в белую ночь, поехали на «острова» — с ним и с милым приятелем нашим, старым рыцарем баронессы Икскуль, — М. Кавосом. Кто-то из нас вспомнил древнего философа, на лысину которого упала черепаха, которую нес орел, и убила его. Соловьев, захохотав, сказал, что лучше умереть от черепахи, чем от рака. Это всё-таки была еще «острота», но почему он, с тем же хохотом, объявил, — когда мы проезжали мимо Елагинского дворца, и я сказала, что тут, вблизи, домик, где родился Д. С., — что — это — "le comble de l'amour conjugal" — уже совершенно было непонятно.

Между тем это был один из самых замечательных религиозных мыслителей, даже европейских, и когда я, уже после его смерти, его перечитывала сплошь — я там нашла столько идей, от которых можно и должно было, приняв их, итти дальше, я не переставала ему удивляться. Д. С. никогда не читал его пристально, между идеями обоих были совпадения иногда, но именно совпадения, как бы встречи; об этом знали редкие тогда поклонники Соловьева, но настоящие, как П. П. Перцов, например, который, благодаря этому, и пришел к Д. С. и сблизился с нами, так, что наш общий журнал «Новый Путь» (1901-1904 г.г.) был основан им и в программе было упомянуто имя Владимира Соловьева.

А. Блок и А. Белый (Бугаев) оба, в юности, были, как будто, даже под влиянием Вл. Соловьева, но это уж в другом плане, так сказать, — поэтическом, ибо в их первых стихах было подражание стихам Соловьева.

Можно сказать, в общем, что мало кто В. Соловьева в то время читал и понимал. И мне кажется, что умер он раньше, чем сказал всё, что еще мог сказать, или лучше, яснее определить свои идеи. Он умер сравнительно молодым, накануне 20-го века, в последний год 19-го, летом, когда нас в России не было.

Я упоминаю об этом замечательном русском филосо-

фе для того, чтобы подчеркнуть: его идея Вселенской Церкви не была у него заимствована Д. С-чем, она к последнему пришла совершенно самостоятельно, и даже не вполне с соловьевской совпадала. Соловьевская брошюра, изданная заграницей (в России цензура ее бы не пропустила) нам была тогда неизвестна, а кому известна — понята превратно: римская церковь, считающая себя вселенской, как бы приняла Соловьева в свое лоно, да и в России держался миф, что Соловьев «перешел в католичество». Как будто в идею о Церкви Вселенской включалась возможность перехода из одной церкви в другую!

В 1898-1899 годах в нашем кругу появился и Розанов, о котором я уже упоминала (специально писала в моей книге). Это — с одной строны, с другой-же мы близко стали к серьезному эстетическому движению того времени, не чисто литературному, но тому, где зарождался тогда журнал «Мир Искусства». Это известный, так называемый «дягилевский» кружок. Он, в то время, был немногочислен, но очень сплочен. Искусство, настоящее, какого бы рода оно ни было, к какому бы веку оно ни принадлежало, не может находиться в плане чисто материалистическом. Эстетика, в абсолютно чистом виде, тоже не имеет подлинного бытия. Естественно, потому, что между кружком «Мира Искусства» и нами завязались очень дружеские отношения. Розанов был от них дальше, чем Д. С., с его широкими взглядами и знаниями; но и они понимали ценность Розанова, и он бывал тоже у них. В них, кроме всего прочего, было влечение к новому, к выходу из тупика, в котором тогда находилась культурная Россия.

«Пленение» Д. С-ча Христом, наши разговоры (они не всегда велись наедине, но пока и не в кружке «Мира Искусства») — несомненно должны были привести Д. С-ча к вопросу о христианстве — и к вопросу о церкви. Он, с его привычкой изучения вопроса в прошлом (исторически), чтобы затем перейти к нему в данном, не мог не почувствовать, что нам тут каких-то опытных сведений не хватает. Я, в то время, некоторые разговоры наши записывала. И вот, помню, раз, летом 1899 года, когда я писала что-то о «плоти и крови» в евангельских словах Христа, Д. С. пришел в мою комнату и быстро сказал: «Конечно, настоящая церковь Христа должна быть единая и вселенская. И не из соединения существующих она может родиться, не из соглашения их, со временными уступками, а совсем новая, хотя, может быть, из них же выросшая. Но тут много еще чего, что нам надо знать...» Мне действительно вопрос казался таким громадным, что я, прежде всего, предло-

жила ему ни с кем об этом и не говорить пока. А что тут, и как нужно еще знать, я тоже себе еще не представляла.

Д. С. со мной согласился. Сказал даже, что и хорошо, что мы осенью уедем на целый год заграницу, там, в уединении, можно будет ему самому, только со мной, обо всем этом подумать (он кончал тогда третий том исследования своего — «Религия Льва Толстого и Достоевского»).

Однако, при живом характере Д. С., при его как бы самоотдаче идее, которая им всем владела в данное время, и при его доверии к людям, он не мог не говорить хотя бы просто о христианском вопросе с теми, с кем встречался дружественно. С Розановым (которого занимал главным образом вопрос пола и отрицание всякой плоти в христианстве), с Перцовым (хотя и поклонником Соловьева, но человеком очень сдержанным и осторожным), с Влад. Гиппиусом (тогда студентом) и даже кое с кем из дягилевского кружка. В эту осень я помню бесконечные разговоры на религиозную тему, и даже сходились мы для них то у Перцова, то у нас... Как-то, у Перцова, был даже «сам» Дягилев (ему-то, в особенности, тема эта была чужда). Но Д. С-чу казалось, что почти все его понимают и ему сочувствуют. Да, по правде сказать, так думала иногда и я, ибо Д. С. умел говорить увлекательно, говорил, по моему верно, и прямых возражений ему не было. Но не обладая всё-таки доверчивостью Д. С-ча, я была рада, когда эти псевдо-соглашения с нами прекратились: в октябре мы уехали в Рим.

Весною, как я уже упоминала, мы опять были в Сицилии, в той же Таормине и на той же вилле, над заливом Ионического моря, но, к сожалению Д. С-ча, не проехали опять всю Сицилию, через Джирдженти, до Палермо, как в первый раз, а прямо вернулись в Рим, потом во Флоренцию (где пробыли довольно долго), а на лето уехали в Германию. Д. С. любил её леса, похожие на русские.

Всё это время мы вели оживленную переписку с петербургскими друзьями (переписку вела больше я, так как Д. С. не любил писать письма, да и занят был всё время окончанием вот этой большой своей работы — «Лев Толстой и Достоевский», как уже сказано).

Еще в Сицилии мы узнали, что журнал «Мир Искусства» — основан и с осени (если не ошибаюсь) будет выходить. И Д. С., и я должны были быть там близкими сотрудниками, — хоть журнал проектировался скорее художественный, нежели

литературный. Впрочем, в первое время, он был столько же литературным, сколько и художественным.

Он уже выходил, когда осенью (1899 г.) мы вернулись в Петербург. Журнал, естественно, сблизил нас с «кружком Дягилева», — на этом кружке и на журнале мне надо остановиться.

Я не могу здесь говорить подробно о тех «новых» людях данного времени, которых мы встречали, но о которых у меня уже есть подробная запись в моей книге «Живые Лица», — как о Розанове, Сологубе, Брюсове, Блоке и других. Многие из них, по своему, замечательны, все характерны для эпохи конца и начала нового века, а равно и другие, другого слоя, с которыми немного позже пришлось нам столкнуться. Но об этих последних — речь впереди. Сейчас, когда я пишу, почти все, и замечательные, и просто любопытные, — забыты. Но будущая Россия вспомнит о них, — о Розанове, например.

Кроме нежеланья повторяться, — писать подробно о тех, о которых я уже писала, — я не желала бы отходить и от прямой моей темы, ибо я не пишу общих мемуаров, а лишь о жизни Д. С. Мережковского, которая вся проходила и прошла перед моими глазами. Но, конечно, и для этого мне приходится говорить и о тогдашней русской эпохе, и о людях, наиболее близко с нами соприкасавшихся, и о наших с ними взаимных отношениях.

Время было, по моему, интересное. Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись, или воскреснув, стремилось вперед... Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже двух веков, в воздухе чувствовалась т р а г е д и я. О, не всеми! Но очень многими, в очень многих. Во Влад. Соловьеве, умершем как раз накануне 20-го века, например. Но в нем, несомненно, имелась пророческая жилка. А человек позднейшего поколения и склада, Блок, — он весь был — как я о нем писала — ходячая «трагедия и беспомощность». Но о Блоке и его предчувственной трагедии (не личной) говорено было много и другими.

Возможно, что среди людей эстето-художественного возрождения это не так замечалось, в кружке «Мира Искусства», например, — если его брать en bloc, но ведь и там, несмотря на первоначальную его сплоченность, люди всё-таки были разные...

Я назвала этот кружок «дягилевским», и название имело точный смысл. Без Дягилева вряд ли создался бы и самый журнал. Без его энергии и... властности. Дягилев был прирожденный диктатор. Скажу об этом ниже; когда мы познакомились с участниками кружка (гораздо ранее возникновения журнала) он состоял из окружения Дягилева следующими лицами: во-первых — Д. В. Философов, двоюродный брат Дягилева, затем А. Н. Бенуа, Л. Бакст, В. Нувель и Нурок, который, впрочем, скоро умер и остался для нас поэтому загадочным. Остальные (главное ядро) были и далее на своих местах.

Редакция «Мира Искусства» помещалась тогда в квартире Дягилева, на углу Литейного пр. и Симеоновского; там были и первые «среды». Позднее всё это перенеслось в более пышное помещение на Фонтанке.

«Среды» были немноголюдны; туда приглашались с выбором. Кажется это были тогдашние художественные и литературные «сливки», — так или иначе — под знаком эстетизма, нео-эстетизма. Всё, на чем лежала малейшая тень или отзвук 60-х годов, было изгнано, как и слишком долго царившие в России идеи «общественные» — с их узкими мерками. К людям прилагалась лишь мера таланта или хотя бы воли к освобождению от традиционных пут. Нельзя было там вообразить, например, какого-нибудь художника из «передвижников»*), а среди литераторов — писателя или поэта, давно «общепризнанного» за «гражданский» уклон.

Но Розанов, мало разбиравшийся в художественном искусстве, Сологуб, и даже старый, но поэт, Минский, отказавшийся от своих первых «гражданских» стихов (их и забыли все, так они были плохи: «О родина моя, о родина терзаний») — все бывали на средах постоянно.

Любопытный Розанов скучал там порою, он не умел участвовать в общем разговоре, умел лишь — всё равно с кем — говорить интимно; а с Сологубом не поинтимничаешь; женщин же (с ними это ему больше удавалось) на «средах», кроме знаменитой дягилевской нянюшки, я не помню, их как будто, совсем там не появлялось...

«Мир Искусства» был первым в России журналом эстетическим — в хорошем смысле. Он начал необходимую борьбу за возрождение пластических искусств в России. Возрождение

*) Давние выставки картин, ежегодные, переезжавшие потом в разные города (передвижные) и, обычно, состоявшие из картин старых, признанных традиций, художников.

литературы, даже как словесное искусство, не входило непосредственно в его задачу. Но при широте взглядов новаторов создателей журнала не могла остаться в стороне и новая литература. Отсюда наша близость к этому кружку и его журналу. Мы в нем пользовались непривычной нам свободой. Не говоря о стихах, я помню две мои статьи, которые совершенно не подходя к главной задаче жуднала (что признавалось и мною, и редакцией), были, однако, там напечатаны.

Длинное исследование Дм. Серг. о «Льве Толстом и Достоевском» был окончено, — и, разумеется, ни в каком тогдашнем русском журнале (из «толстых», как их называли, т. е. «литературных» ежемесячников) не могло появиться. Это было так ясно, что и попытки мы считали лишними. И вот, серьезный, почти трехлетний, труд Мережковского впервые был напечатан на страницах «Мира Искусства». Эти широкие страницы часто были покрыты (тогдашнее новшество), поверх текста, прозрачными, иногда цветными рисунками того или иного художника. По тексту «Л. Толстого и Достоевского» гуляли, помнится мне, и бредовые тени Гойа. Но это никого из нас не смущало и серьезного отношения редакторов к Мережковскому не изменяло.

Было там напечатано и письмо-статья Андрея Белого, весьма отвлеченное (первое его выступление в печати), — он никому, ни родакторам, не был тогда известен — даже по имени — так как подписался просто «студент-естественник».

Журнал тогда был в расцвете. Дягилев действовал с обычной энергией: вел журнал (сам в нем почти никогда не писал, зная, вероятно, что это не «его дело») устраивал попутно и всякие выставки, очень удачные. Лишнее, думаю, упоминать, что о «балетах» тогда еще речи не было, это явилось у Дягилева гораздо позже.

Конечно, вопросы, которые, главным образом, занимали в последние годы века Д. С-ча, и о которых осенью 1899 года, перед годом нашего отсутствия из Петербурга, Д. С. говорил с людьми, дружественно к нему относящимися, между прочим — и с людьми дягилевского кружка, — не были главными для них и менее всего для самого Дягилева. Но для того, кто мог бы знать хоть немного общее положение культурного русского слоя в эти годы, было бы понятно, что все так называемые «новые» группировки не могли быть чужды друг другу. Отсюда близость кружков, естественное скрещивание путей — хотя бы на краткое мгновенье, за которым шла часто и перегруппировка, и вливанье во все группы новых людей.

Идея петербургских Религиозно-Философских Собраний

(о них я далее буду писать подробно) родилась, конечно, не в кружке «Мира Искусств», хотя в журнале, задолго до их открытия, была напечатана моя статья о смысле и желательности таких собраний. Но не только они, а даже то, что они привели нас к созданью собственного журнала, задачи которого весьма отличались от задач «Мира Искусства», не послужило к разрыву с «дягилевским» кружком, только ослабило наше сотрудничество в журнале.

Как ни сплочен был этот кружок, но люди-то, тесно Дягилева окружавшие, были всё-таки разные (что я уже заметила выше). Большинство, конечно, подходило Дягилеву, гармонировало с его идеями и задачами: редкая сплоченность не могла же объясняться только диктаторскими свойствами Дягилева. А сплоченность — действительно редкая: ведь даже на те собеседованья, осенью 99 года, когда поднялись впервые разговоры о религии и христианстве в частности, кружок являлся почти в полном составе. То же было и тогда, когда открылись Собрания. Там можно было, положим, встретить всех; но Дягилеву кажется, менее других было свойственно интересоваться тем, что делалось в зале Собраний, — однако он там бывал вместе с другими своими... не знаю, как сказать точнее: друзьями? приближенными? содеятелями? — все равно.

Конечно, ни Бакст (лично мы с ним очень дружили), ни Нувель (тоже наш приятель) не могли тоже иметь много связи с занимавшими нас вопросами; но Ал. Бенуа, например, считавшийся и считающийся только «эстетом», отнюдь не был тогда этим вопросам чужд, — стоит взглянуть в старый наш журнал. А ближайший друг и помощник Дягилева, его двоюродный брат Д. В. Философов, сразу проявил самый живой интерес к этим вопросам и даже принимал участие в хлопотах по открытию Собраний.

Мы этому, конечно, радовались; на кружок в целом, и на главу его — Дягилева — никто и не возлагал надежд в этом смысле. Слишком он был совершенен. Все диктаторы более или менее совершенны, — как prédestinés. А Дягилев, повторяю, был прирожденный диктатор, фюрер, вождь.

Я отнюдь не отрицаю диктаторов и диктатуры, напротив я признаю, что диктатор может быть явлением провиденциальным, спасительным, во всяком случае — положительным (всё равно в какой области, и какие мы возьмем «масштабы»). Это не мешает нам, однако, относиться к диктатуре и ко всякому диктатору с каким-то внутренним отталкиванием. Дело, должно быть, просто во «власти» одного над многими. Отсюда по-

лучаются нередко превосходные результаты, особенно если диктатор действительно талантлив. Их нельзя не признавать, не ценить; но внутреннего отношения к диктатору это не меняет.

Такое отталкивание было у многих из нас от прирожденного диктатора — Дягилева. Без всякой враждебности (ведь мы смотрели со стороны), с признанием всех его талантов и заслуг, с уверенностью в его дальнейших успехах, но — со всегдашним чувством чего-то в нем неприемлемого: в его барских манерах, в интонации голоса, в плотной фигуре, в скорее красивом тогда — полном, розовом лице с низким лбом, с белой прядью над ним, на круглой черноволосой голове. Говорили, что он капризен и упрям. Но я не так вижу его. Он был человек по-своему сильный, упорный в своих желаниях и — что требуется для их достижения — совершенно в себе уверенный. Если эта самоуверенность слишком бросалась в глаза, — тут уж дело ума, в котором ему, при его хорошей образованности, не было никакой нужды: его заменяла разнородная талантливость и большая интуиция.

Его двоюродный брат, Д. Философов, обладая совсем другим характером, скорее пассивным, находился тогда вполне под его властью. В интерес, который Дм. Ф-в проявил к вопросам, нас занимавшим, Дягилев, кажется, не очень верил, по крайней мере в серьезность такого интереса. Он нисколько не рассчитывал потерять такого верного, долголетнего своего помощника и не сомневался, что по уже намеченному дальнейшему пути они пойдут вместе. На всякий случай он хотел всё-таки знать, что делается в новом углу, в нашем, где стал бывать его друг и спутник, а потому бывал и у нас, и сопровождал его на Собрания. Его мать, — не родная, но любившая его, как родного сына, Елена Валерьяновна, женщина удивительной прелести, с которой мы были близки (и Д. Философов тоже) бывала на Собраниях постоянно, говорила даже, что всю жизнь их и ждала.

Но мне пора перейти к этим Собраниям и остановиться на них, так как они занимают довольно серьезное место в жизни Д. С. Мережковского, в его жизненном опыте, имевшем влияние на его последующую внутреннюю эволюцию, а кроме того они имеют и объективный интерес, — для людей даже не русских, но интересующихся русской общественной жизнью того времени.

Осень и зима 1900-1901 г.г., после нашего возвращения в Петербург, прошла вся внутренно — под знаком новых наших с Д. С. мыслей (о христианстве и христианской церкви), а внешне — в работе в «Мире Искусства», в сближении с некоторыми из кружка (главным образом с Философовым), а также кое с кем из «духовного мира». Последние были завсегдатаями Розанова, — с ним мы тоже видались довольно часто. Эти лица из «духовного» мира были не священники, и не имевшие никакого официального положения в духовном ведомстве, а просто безобидные «церковники», м. б. из старых его знакомых: он был женат на вдове священника. (Первая его жена, которая его бросила и на которой он женился 19-тилетним мальчишкой, была лет на 25 его старше; это не кто-нибудь иная, а известная любовница Достоевского, от которой он достаточно пострадал*, а после него, и еще горше, пострадал и несчастный Розанов, — от ее неистовства — пока она его не бросила. Это — Полина в известном рассказе Достоевского «Игрок». О ней, об ее историях с Достоевским и с Розановым, у меня написано в статье о последнем).

Но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа (см. «Темный Лик»). С первого взгляда это кажется странным. Розанов, ведь, был «светский» писатель, при этом, — т. н. «интеллигент», слово, в духовном мире тогда «страшное». Но, во-первых, был не интеллигент как прочие, «пугала из тьмы», которые, мол, никакого Бога не признают, как и «благонамеренных» журналов: он писал в «Новом Времени». Во-вторых (и это особенно для белого духовенства) чувствовалась в нем какая-то семейная теплота. А что он «еретик» — не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь. И он, Розанов, считался в духовном мире немножко enfant terrible, которому многое прощалось. Так было и дальше, несмотря на его жестокие выпады на Собраниях против церкви, духовенства, в особенности против монашества.

Д. С. между своим длинным исследованием «Л. Толстой и Достоевский» и подготовительной работой к новому роману «Петр и Алексей», писал более краткие статьи о целом ряде старых и новых, русских и иностранных писателей и деятелей, составивших целую книгу под названием «Вечные спутники». Были ли эти более краткие «исследования», хотя бы некоторые, напечатаны где-нибудь, кроме «Мира Искусства»,

*) А. Суслова. **Ред.**

— я сейчас не припомню: но книга была целиком издана новым нашим другом П. П. Перцовым, поклонником Вл. Соловьева. П. Перцов вообще был первым издателем Д. С. Мережковского, как первым издателем-редактором нашего общего журнала, который стал выходить в 1901 году (с отчетами Собраний). Перцов был не меценат, и человек даже не очень состоятельный: он был наш «содеятель». Сам, как писатель, не очень яркий, но человек с большим вкусом и большим умом.

Что касается книги «Вечные спутники» — любопытно отметить, что тогдашнее ее появление не вызвало никакого внимания, если не считать всяких грозных нападок со стороны «либеральной» прессы, хотя никакого «либерализма», ни антилиберализма она не касалась: но это была одна из традиций — бранить Мережковского. Между тем, в последние годы перед войной 14 года эта книга была особенно популярна и даже выдавалась, как награда, кончающим средне-учебные заведения.

Работа Д. С-ча не мешала нам сходиться в частные кружки для разговоров на ту же тему, как осенью 99 года, перед нашим путешествием. Приблизительно и участники их были те же. Но мне показалось (и Д. С. согласился, да и сам это заметил), что разговоры эти мало-помалу вырождаются в беспощадные споры, не очень даже оживленные, и что каждый из тех, кого мы считали «близкими», думает больше о чем-то своем, личном, нежели о вопросе общем. Один из них, помнится, любил отвечать на те или другие предложения откровенным: «да, но у меня свои задачи».

Особенно чувствовался тут разлад с членами «дягилевского кружка». Поэтому я предложила Д. С. поговорить отдельно с Философовым, как с несомненно более к нам близким, и устроить иногда разговоры только втроем. Это имело успех, и помимо вечеров, где собирались и другие, мы виделись с Ф. в определенный вечер у нас. У него, оказывается, у самого уж была эта мысль.

Так шла зима. Собственно с М. Искусства у нас никакого охлаждения не было. Мы бывали там каждую «среду», где так же было интересно и весело. Мы с Перцовым часто увлекались в то время «домашними» пародиями, в прозе и в стихах. В них мы не щадили и самих себя, поэтому некому было обижаться. Да это вообще не было принято. В том же «Мире Искусства» имелась налево от передней маленькая комната, увешанная каррикатурами «своих» художников на «своих-же»,

т. е. на участников и сотрудников «Мира Искусства». И всех это лишь забавляло.

Дело, однако, шло к лету, когда все мы разъезжались.

Отмечу, что этой ранней весной Д. С. был болен воспалением легких, а я — сильным ларингитом, но к маю мы оба поправились. Надо было всё-таки уезжать скорее на дачу — мы жили это лето под Лугой, с моей семьей, как всегда.

В самые последние дни перед отъездом я несколько раз видалась с одним из членов «дягилевского» кружка*, по его просьбе; он хотел, будто-бы, выяснить свою бóльшую близость к собственно нашим темам, чем мы это, видимо, считаем.

Из наших разговоров ничего, конечно, не вышло. Я убедилась только, что в дягилевском кружке Философов ценится не одним Дягилевым. Тот наш приятель, с которым я говорила, был обеспокоен вовсе не нашими вопросами, а интересом, который Ф. к нам проявлял. Он точно хотел «спасти» Ф-ва от них — и от нас. Я прямо сказала ему, что если это его «задача», — то, во всяком случае, у Д. С. и у меня «другие задачи», в которых Ф-в не играет главной роли.

Мы, впрочем, не поссорились, даже переписывались летом, но из переписки тоже ничего не вышло.

Летом Д. С. много, как всегда, работал: подготовка к новому роману. О наших новых «вопросах» мы не говорили, — их, конечно, не забывая.

В сентябре семья моя уехала в город, — у сестер начинались занятия: одна была на медицинских курсах, другая в рисовальной школе Штиглица, третья — в Академии. Мы остались в пустой даче вдвоем.

Мы возвращались как-то с прогулки, из лесу, на закате. (Я пользуюсь здесь старыми моими записями, дневниками, которые привезла в Париж в 1905 году и нашла их сохранными в нашей квартире, когда в 20 году мы вернулись сюда эмигрантами. Потому за точность рассказа о Собраниях — и далее — я ручаюсь. Сохранились у меня также и записные книжки парижские, годов 1907-08).

Итак, возвращаясь осенью 1901 г. с прогулки, я спросила Дм. С-ча:

— Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать вот эти наши беседы?

Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал:

---

*) С В. Ф. Нувелем. **В. З.**

— Да... я думаю продолжать. Собрать их всех и предложить высказаться определенно, чего они хотят — и чего не хотят. Там и посмотрим...

В этот день я ничего больше не сказала, но на другой, за завтраком, решила продолжать разговор:

— Разве ты не видишь, — отлично видишь, — что все эти беседы ни чему нас не ведут. Говорим о том же, с теми же людьми, у которых, у каждого, своя жизнь, и никакого общения у нас не происходит. т. е. внутреннего, настоящего. Даже с Фил-вым, который нам ближе других и больше понимает главную идею. Разве не стоял всё время между нами страшный и нерешенный вопрос: а какое она, эта идея, и вообще всё это имеет отношение к жизни? Нашей, и не только даже нашей, а просто к жизни?

Д. С. сказал только задумчиво: «Да.» А я продолжала:

— По-моему, нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего мы тут не знаем, — я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном крошечном уголке, со случайными людьми стараемся слепливать между ними искусственно-умственное соглашение, — зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, и чтоб оно было в условиях жизни, чтоб были... ну, чиновники, деньги, дамы, чтоб оно было явное. и чтобы р а з н ы е люди сошлись, которые никогда не сходились и не сходятся, и чтобы...

Дм. С. вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Я очень обрадовалась, мне хотелось договорить, что ведь это не помешает нам создавать и внутренние наши круги, если он найдет это нужным, — напротив... Но договаривать не пришлось, так как Дм. С. всё это сам уже понял во всем объеме, — вероятно давно и понимал, и знал. Мы в тот день ходили до вечера по осеннему лесу и только об одном этом и говорили.

Очень скоро вернулись мы в Петербург и тотчас принялись за дело. Определенно мысль наша приняла такую форму: создать открытое, по возможности официальное, общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры.

Конечно, мы не обманывали себя: самый проект таких собраний, такого общества, казался, на первый взгляд, неисполнимой мечтой. Надо помнить в какое время, при каких условиях, всё это происходило.

Прежде всего: ведь идея Дм. С-ча, или идея нашей группы, идея христианства, была в то же время (как идея и Вл. Соловьева) идеей Церкви. В открытом Обществе мы, говоря «люди религии», не могли не разуметь представителей данной русской церкви (исторической). Должна была, таким образом, произойти «встреча» между ними и представителями русского (по тогдашнему слову) «светского», т. е. не духовного общества, даже так называемого «интеллигентского».

Подлинность и святость «исторической» христианской церкви никем из нас не отрицалась. Но вопрос возникал широкий и общий: включается-ли мир-космос и мир человеческий в зону христианства церковного, т. е. христианства, носимого и хранимого реальной исторической Церковью? Для этого нам нужно было услышать «голос Церкви» (а как его услышать, если не из уст ее представителей?)

То, что церковь эта была лишь одна из христианских церквей, — мало что меняло. По существу в области главного вопроса, все христианские церкви находились в одинаковом положении. Теоретически вопрос был предложен всем христианским церквам. Вопрос «о христианстве вселенском», как говорил Вл. Соловьев. Практически же, несмотря на полную зависимость нынешней православной церкви от российского государства в то время, — он всё-таки мог быть предложен только православию, благодаря его внутренней свободе по сравнению хотя бы с церковью римской.

Подобные Собрания, и такое откровенное высказыванье на них православными иерархами, невозможны были бы, если это была церковь не православная, а католическая. «И даже лютеранская», говорил тогда Д. С. Позднейшие его исследования христианских церквей укрепили в нем эти мнения — я их передаю в общем.

Однако, и внешние условия, закрепощение православной церкви государством (самодержавием), казались почти непреодолимыми препятствиями для устройства Собраний. Но тут помогла смешанность, текучесть и несколько разнообразный состав наших частных кружков. Люди, имеющие соприкосновение с духовными кругами, — которых мы узнали через Розанова. С некоторыми мы даже успели сблизиться

(вне «дягилевского» кружка). Мысль собраний их заинтересовала. Они нащупали почву и указали нам, куда можно обратиться с первыми хлопотами о разрешении. (Пути официальные были, конечно, заказаны.)

В то время царил всесильный «Обер Прокурор Синода», известный своей строгостью и крепостью—Победоносцев.*) Вот к этому-то «неприступному» Победоносцеву и отправились, 8 октября 1901 г., пятеро уполномоченных «членов учредителей» по делу открытия «Религиозно-Философских Собраний в СПБ»: Д. Мережковский, Д. Философов, В. Розанов, В. Миролюбов и Вал. Тернавцев. О Тернавцеве, сыгравшем в Собраниях не малую роль, я скажу ниже. А Миролюбов был из далеких «сочувствующих» (и то, м. б., потому, что происходил из духовного звания, но это скрывал.) Он издавал плохонький «Журнал для всех», был типичный «интеллигент» старого образца, но глупый, и в Собраниях, порою, не мало причинял нам досады. Вечером того же дня «уполномоченные» (кроме Философова) посетили тогдашнего Митрополита Петербургского Антония, в Лавре.

С этого времени на разрешение Собраний, — получастных, со строгим выбором и только для «членов» — можно было питать надежду. Надежда окрылила всех заинтересованных. И тогда-то началось наше настоящее знакомство с совершенно новым для нас «церковным» миром — как бы некое сближение двух разных миров. Да, это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке; всё было другое, точно другая культура.

Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию — «ряса» — не играли тут роли. Человек тогдашнего «церковного» мира, — кто бы он ни был, — чиновник, профессор, писатель, учитель, просто богослов, и одинаково: умный и глупый, талантливый и бездарный, приятный и неприятный, — неизменно носил на себе отпечаток этого «иного» мира, не похожего на наш обычный «светский» (по выражению церковников) мир.

---

*) «Обер Прокурор Синода» — представитель государственной власти в церкви, главою которой считается сам самодержец-помазанник.

Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Религиозно-Философских Собраний, значение «встречи». Другим эта встреча рисовалась просто в виде расширения церковью проповеднической деятельности, в виде «миссии среди интеллигенции». Признаться, мы этому толкованию особенно и не противоречили, оно могло послужить в пользу разрешения. Только бы разрешили, а там будет видно.

«Интеллигенция» представлялась, конечно, духовному миру в виде одной компактной массы «светских безбожников». Все оттенки от него ускользали. Не только ни о каких новых, по времени, формациях никто там не имел понятия (до открытия Собраний, во всяком случае), но не видели они даже особой разницы между Меньшиковым из «Нового Времени» и каким-нибудь типичным старым «интеллигентом» из либеральнейшей газеты, для которого и сотрудники «Мира Искусства», и мы были «отщепенцы»! (Ведь религия — реакция! Да и всё, что не на базе позитивизма, — эстетика, идеализм, всякий спиритуализм — реакция!).

Таким образом, если говорить о некоторой запоздалости, малого осведомления в мире «духовном», то, по сравнению с вот этой частью тогдашней «интеллигенции», остававшейся «на посту», — мир духовный не мог назваться «миром невежества». Оно, и там, и здесь было одинаково.

«Миссия среди интеллигенции»... Как заманчиво прозвучало это для многих, — между прочим для одного весьма любопытного, как тип «хитрого мужиченки», человека, чиновника особых поручений при Победоносцеве, Вас. Скворцова, редактора «Миссионерского Обозрения», — журнала о существовании которого мы раньше и не подозревали, но который, когда начались Собрания, стал выписывать... даже «Мир Искусства».

Фигура интересная. Отчасти комическая, — над ним и свои подсмеивались, — но достоин он был не только смеха. Официальный миссионер, он славился жестокостью по «обращению» духоборов и всяких «заблудших» в лоно православия. Вид у него был мужичка не без добродушия, но внутри этого «Висасуалия» (по непочтительной кличке) грызло тщеславие: давно мечтал стать «генералом» (дослужиться до «действительного»), а тут еще замечтал попасть в «среду интеллигенции». Перспектива миссии уже не среди нижегородских раскольников — совершенно увлекла его. У него появился зуд «светскости», и только заботила мысль — какие когда надевать надо галстуки, идя в «салоны» обращаемых.

Уж, конечно, не Валентин Тернавцев (один из замечательных людей того момента), мог помышлять о Собраниях, как о «миссии». На первом же заседании (давшем тон всем другим) он и высказался против этого взгляда. На нем тоже лежал отпечаток иного, не «нашего» мира. В этом смысле была в нем и «чуждость». Однако, надо сказать, что именно он стоял тогда всего ближе к нашим идеям. Так как Тернавцев сыграл в Собраниях большую роль, то я скажу о нем несколько слов.

Это был богослов-эрудит, пламенный православный, но происходил он не из духовного звания. Русский по отцу — итальянец по матери, и материнская кровь в нем чувствовалась. Всё в нем было ярко — яркость главная, кажется, его черта.

Высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, но не по-русски, а по-итальянски (как бы «с ленцой»), черно-кудрый и чернобородый, он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские у него были глаза и такой детский смех. Помню, как он пришел к нам в первый раз; сидел, большой и робкий, с мягкими концами разлетающегося галстука. Замечательна его талантливость, общее пыланье и переливы огня. Оратор? Рассказчик? Пророк? Всё вместе. От пророка было у него не мало, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема.

Самый простой рассказ он передавал образно, художественно, нисколько не ища образов: сами приходили. Был ли умен? Трудно сказать. Его талантливость, яркость, его прекрасный русский язык, тоже не вполне «интеллигентский» (мы, смеясь, называли последний, с готовыми сухими фразами — «является-представляется»), его фанатически-узкая трактовка некоторых идей, — всё это заслоняло вопрос о его уме.

В Петербурге «кудрявый Валентин» появился не так давно. Жена — скромная, незаметная полька (перешедшая в православие), она нигде не появлялась. Жили они с детьми, где-то в маленькой квартирке. Тернавцев нигде не служил*). Был занят

---

*) Очень вдолге, лет через 12-15, когда мы уже совсем потеряли друг друга из виду, нам говорили, что Тернавцев служит теперь секретарем в Синоде, но ни облика своего, ни интереса к хилиазму не потерял. Здесь, в эмиграции, кто-то говорил Д. С-чу, который его очень любил и признавал, что Тернавцев в Сибири, весь белый, но хилиазму не изменил. Для незнающих, что такое хилиазм, — скажу, что это учение о Царствии Божием на земле в течение тысячи лет, по

своей бесконечной работой, — исследованием хилиастического учения (Апокалипсис).

В ноябре разрешенье было получено: собственно полуразрешенье, попустительство обер-прокурора, молчаливое обещанье терпеть Собрания «пока что». (Увлеченный «светскостью» и «миссией» Скворцов не мало, кажется, этой удаче посодействовал).

Сочувственно отнеслось и высшее духовное начальство (менее властное). Узнав, что «Ведомство» Собрания разрешает, митрополит Антоний (благообразный, с мягкими движениями, еще не старый, — он слыл «либеральным») благословил ректору Духовной Академии, Сергию, еп. Ямбургскому, быть председателем, ректору Семинарии — арх. Сергию — вице-председателем. Дозволял участие всему черному и белому духовенству, академическим профессорам и приват-доцентам; разрешил даже студентам Духовной Академии, по выбору, Собрания посещать.

К этому времени уже многие из будущих участников успели перезнакомиться между собой. Мы знали молодых профессоров Духовной Академии (двое наиболее часто посещали нас: Ант. Карташев и Вас. Успенский), священников, кое-кого из высшего (черного) духовенства. Доклад Тернавцева, написанный для первого заседания, «Интеллигенция и Церковь», был нам хорошо известен.

Собрания открылись 29 ноября (1901 г.). Неглубокая, но длинная слева направо, «малая» зала Географического О-ва, на Фонтанке, — переполнена. Во всю ее длину, прямо против дверей, по глухой стене — стол, покрытый зеленым сукном.

Еп. Сергий, молодой, но старообразный, с бледным, одутловатым лицом, с длинными вялыми, русыми волосами по плечам, в очках, — сидел посередине*).

Рядом — красивый и злой арх. Сергий, вице председатель. Духовенство, белое и черное, преобладало. Черного было даже, кажется, больше. С левой стороны — ютились мы, «ин-

---

откровению св. Иоанна. А если я напомню, что одна из главных идей, или стремлений, или воздыханий, Д. С. Мережковского было «Царствие Божие на земле» Adveniat Regnum Tuum, — понятным становится и близость его к Тернавцеву, и его утверждение.

*) Позднее Московский Патриарх. **Ред.**

теллигенты», учредители и члены просто. В углу — гигантская статуя Будды, чей-то дар Географическому Обществу, но закутанная (как и на дальнейших Собраниях) темным коленкором.

Еп. Сергий произнес вступительную речь, мало-значительную, с обещанием искренности и доброжелательности со стороны церкви и с призывом к тому же «подходящих с совершенно противоположной стороны» (интеллигенции).

Слово это не было обращением от лица церкви к «противоположной стороне», с признанием «разъединения и взаимного непонимания». К кому была обращена речь Тернавцева? Прямо к Церкви, и ценность доклада увеличивалась тем, что докладчик стоял сам на церковном берегу. Если тут уместно говорить «мы» и «они» (впрочем, это положение установил и Сергий) — то Тернавцев, в своей речи, оказался целиком «с нами», не переставая быть «с ними».

Никакой «интеллигент», хотя бы искренний прозелит, не мог бы обращаясь к церкви с основным вопросом о религиозной общественности, поставить его в более понятной для церкви форме, с такой упрощенной резкостью. Интеллигент и языка бы подходящего не нашел. То, что для нас казалось примитивным, общеизвестным, — и оно было нужно. Тернавцев знал степень осведомленности церковных представителей о нашем, новом для них (но не для него) мире, и давал, где следует, просто информацию.

Но тут мне надо сделать два небольших замечания.

Ничего даже приближающегося к тому, что сказал Тернавцев и что — и как — было говорено на Собраниях, не могло быть тогда сказано в России, в публичной зале, вмещающей более 200 слушателей. Недаром наши Собрания скоро стали называться «единственным приютом свободного слова». Что они были полу-официальны и «как бы» не публичны, — им только помогало: никакой тени полицейского, обязательного на всех «публичных» заседаниях. А полицейский, какой он ни будь (хоть полуграмотный), имел право остановить любого оратора, кто он ни будь. Условие же не допускать «гостей», а только «членов», ничего не меняло: в члены мы записывали по первой просьбе, и число их всё увеличивалось.

Второе мое замечание по поводу выписок из доклада Тернавцева. Я их делаю не только потому, что этот доклад был и остался как бы краеугольным камнем всех заседаний: к нему всегда возвращались, какая бы ни была очередная тема. И не только потому, что это первое заседание, с данным докладом,

имеет известную историческую ценность, а по некоторым «пророческим» замечаниям, в годы и десятилетия дальнейшие, приняло даже как бы актуальное значение. В самом деле, ведь если бы вопросы, с такой остротой поставленные в 1901 году были услышаны, если бы не только русская церковь, но и бо́льшая часть русской интеллигенции не забыли о них вовсе, — быть может, не находилась бы церковь, в течение двух с половиной десятилетий в таком б е д с т в е н н о м п о л о ж е н и и, а русская интеллигенция, ее не убитые остатки, не вкушала бы «г о р е ч ь с к и т а л ь ч е с т в а». И не видели бы мы Россию «в с о с т о я н и и т а к о г о д у х о в н о г о у п а д к а и п о л н а г о э к о н о м и ч е с к о г о р а з о р е н и я е е н а р о д а». Всё это, этими же словами, как предупреждение, было сказано... четверть века тому назад.

Я нахожу нужным сказать более подробно о докладе Тернавцева и сделать из него некоторые выписки, главным образом, потому, что этот доклад очень определенно выразил одну из главнейших идей Д. Мережковского о христианстве, а именно — о в о п л о щ е н и и христианства, об охристианении земной плоти мира, как бы постоянном сведении неба на землю, — по слову псалма — «истина проникнет с небес, правда возникнет на земле». Мережковский утверждал, что эта идея уже заключена в догматах, которые не суть застывшие формулы, какими считают их все исторические церкви, но подлежат раскрытию соответственно росту и развитию человечества.

Тема тернавцевского доклада вся была посвящена именно этому вопросу, причем на конкретном примере — в обращении его к церкви русской и противопоставлении ей русской «интеллигенции» — она отнюдь не потеряла ни своей глубины, ни остроты, хотя «интеллигенцию» он несколько идеализировал. Впрочем он оговорился:

«Состав ее случаен... Есть часть, которая ко Христу не придет никогда. Религиозное противление заведет ее, куда она сама не ожидает и не хочет. Об этой части пока говорить не буду...»

Но «интеллигенция» — это обширный общественный слой, сильный своей отзывчивостью, умственной и нравственной энергией... «Она есть общенародная величина». «Она имеет свои заслуги... и свой мартиролог». Люди эти проявляют в своей деятельности и жизни часто нечто такое, что решительно не позволяет их принимать как силу, чуждую света Христова...» «Идея человечества и человечного есть душа их

лучших стремлений...». «Они отстаивают веру, что человечество найдет путь к единению, и носят эту веру в себе, как некий золотой сон сердца». «Вопрос об устройстве труда, о его рабском отношении к капиталу, проблема собственности, противообщественное ее значение, с одной стороны, и совершенная неизбежность, с другой, — это для людей интеллигенции есть предмет мучительных раздумий...» «Мирохватывающие идеи... имеют над их совестью таинственную силу притяжения...» «Это не толпа, и не партия: она движется, в цельности, идеей нового общества — одухотворенного...»

А что же христианская (русская) церковь? Указав на разделение ее с «этим слоем общества» и подчеркнув его, Тернавцев говорит: «все эти вопросы, — несмотря на то, что деятелям Церкви больше, чем кому либо, приходится быть свидетелями совершенного разорения народа, — религиозно, нравственно и общественно им чужды...» «Церковь не покидала народа в трудные времена. — Но оставаясь сама безучастной к общественному спасению, она не могла дать народу ни Христовой надежды, ни радости, ни помощи в его тяжком недуге. Его бедствия она понимает, как посылаемые от Бога испытания, перед которыми приходится только преклоняться».

«Отсутствие религиозно-социального идеала у Церкви есть причина безвыходности и ее собственного положения...» «Она бессильна справиться и со своими внутренними задачами. Всё разбивается о б е з з е м н о с т ь ее основного учительского направления». И «невозможны никакие улучшения без веры в Богозаветную положительную цену о б щ е с т в е н н о г о дела».

В самом начале, Тернавцев, как историк и серьезный исследователь, обрисовывает общее положение тогдашней, самодержавной России так:

«Внутреннее положение России в настоящее время сложно и, повидимому, безвыходно. Полная неразрешимых противоречий как в просвещении, так и в государственном устройстве своем, Россия заставляет крепко задуматься над своей судьбой...»

«Преобразовательное движение эпохи Александра II кончилось... Россия остается сама с собой, лицом к лицу с фактом духовного упадка и экономического разорения своего народа...» «Сама географическая необозримость России, огромность и разноплеменность ее населения, рядом с внутрен-

ним идейно-нравственным ее бессилием, еще усугубляет нашу тревогу».

«Но мы, как христиане», подчеркивает Тернавцев, «верим, что возрождение России — может совершиться на религиозной почве».

Отсюда он, спросив «где же деятели и проповедники этого возрождения?», переходит к исследованию сил Церкви, а затем уже рисует облик «интеллигенции».

«Силы Церкви не известны... Они слабы: широты замысла, веры низводящей Духа, в них нет. И самое главное — они в Христианстве видят и понимают один только загробный идеал, оставляя весь круг общественных, земных интересов — пустым. Единственно, что они хранят как истину для земли, это самодержавие... с которым сами не знают, что делать».

И Тернавцев, приводя еще много других доказательств, приходит к выводу, что Церковь «с ее вооружением» не может и приступить к делу возрождения России. И прибавляет знаменательные слова: «А ведь им (церковным деятелям) придется скоро лицом к лицу встретиться с силами уже не домашнего, поместно-русского порядка, а с силами мировыми, борющимися с Христианством на арене истории...»

Для предстоящей борьбы нужны иные, новые силы. Оратор, параллельно рассматривая идеалы Церкви и людей «интеллигенции», потенциально в последней, и даже не русской только, а мировой, находит живые силы.

«Дело совести и высшей свободы... составляет для них святыню... Есть много оснований думать, что в таких людях, теперь неверующих, скрыт особый тип благочестия и служения». «Великий сан человека, право быть человеком, сказывается в интеллигенции как способность к мучению над общечеловеческими вопросами — чуждыми Церкви. От этих вопросов она не отречется, даже если б от них отказалась вся Европа...»

О русской интеллигенции Тернавцев однако заметил тоже очень знаменательно:

«Всеобщая историческая гибель открывается для них (людей интеллигенции) с возростающей ясностью. И люди эти переживают тяжелый нравственный кризис... Это не вырождение, т. к. жажда высшей жизни в них остается, но... кризис глубок... В самой интеллигенции должен произойти мучительный, теперь пока еле обрисовывающийся, разрыв: она должна будет расколоться...»

Несмотря на все смелые истины, которые Тернавцев высказал Церкви, он вопрошал именно ее, он был в ее лоне, верил в нее (может быть потому и мог так остро ей правду высказывать) и к замечанию, что об обращении интеллигенции можно говорить только в целом (обращение хотя бы множества отдельных лиц не решит ничего), а это возможно только если Церковь ответит на указанные запросы, — он прибавил горестно: «Дать ответ Церковь... должна. Может ли статься, что вопросы действительные, роковые — есть, и нет отвечающего?»

Закончил же он свой доклад, прочитанный с тем подъемом, какой был ему свойствен (атмосфера в зале была напряженная), — резюмировав его с необычайной ясностью.

«Положение русского благочестия (т. е. Церкви) в настоящее время чрезвычайно: для всего Христианства наступает пора не только словом, в учении, но и делом показать, что в Церкви заключается не один лишь загробный идеал. Наступает время открыть сокровенную в Христианстве правду о земле. Религиозное учение о государстве, о светской власти, общественное спасение во Христе — вот о чем свидетельствовать теперь наступило время. Это должно совершиться «во исполнение времен» дабы, по слову Апостола, все небесное и земное соединить под главою Христа».

Этот первый доклад на первом Собрании и поставил целиком ту единую тему, которая далее, с разных сторон, и была предметом обсуждения на всех последующих заседаниях. Это — вопрос о «всехристианстве» (вопрос и Вл. Соловьева), объемлющем, в долженствовании, мир, жизнь человека и жизнь человеческого общества. И это также вопрос о Церкви. О единой, вселенской (о которой говорил и Соловьев), но и о реальных ныне существующих, христианских церквах. Могут ли они при своих, отъединенных от земного, идеалах исполнить «новую великую задачу», встающую перед ними, ответить на всечеловеческие вопросы, послужив к религиозному объединению человечества?

Из доклада Тернавцева, откуда я делаю столько выписок, можно бы сделать их вдвое больше. Я могла бы также, с помощью стенографических отчетов, напечатанных в нашем журнале «Новый Путь» и моих личных записей, притом как человек, на всех Собраниях присутствовавший, описать даль-

нейшие заседания, отметив вопросы и ответы противоположных сторон. Но пусть займется этим будущий историк, если найдется когда-нибудь такой, для кого эти, на мой взгляд, не маловажные в истории России, Собрания, покажутся интересными. Во всяком случае — это не тема для книги, которую я сейчас пишу. Как важен был для внутренней жизни и главных идей Д. С. Мережковского опыт «встречи» с исторической христианской церковью — здесь уже отмечено. Мне остается лишь кое-что добавить — не много.

Доклад Тернавцева, который, по моему выраженью, был в «наших» идеях, точнее — совпадал с одной из главных тогда идей Д. С-ча, — о христианстве, включающем «плоть мира», и во многих частях совпадал с идеями Вл. Соловьева, встретил со стороны представителей Церкви не то, что отпор, а совершенное непонимание ни его сути, ни главного вопроса, ни попутных. Он был точно не услышан, или услышаны были не те слова, которые Тернавцев произносил. Обсуждению доклада были посвящены два вечера. На обоих происходило что-то весьма странное. Достаточно отметить самого председателя еписк. Сергия. Он сказал, что не видит нужды для Церкви «менять фронт» (?), что Церковь не может «отказаться (?) от неба. Что незачем Церкви ставить новую задачу — р а с к р ы т и я п р а в д ы н а з е м л е: устремляясь к небесному, представители церкви достигали и земного, как Николай Чудотворец...» Еще пример: «Церковь не восставала прямо против рабства, но проповедывала истину небесного идеала... и этим, не чем либо иным, она достигла отмены рабства...» Но довольно! Не могу воздержаться от замечания: если еп. Сергий, теперешний московский патриарх, уже 26 лет проповедует «истину небесного идеала» — сколько еще лет ему понадобится, чтобы «достичь отмены рабства»... куда горшего, чем старое, крепостное!

Кстати на одном из следующих заседаний, Тернавцев, при случае, сказал очень верно о патриаршестве вообще. Назвав воздыхания о нем славянофилов — риторикой, он очень убедительно, и со знанием дела, доказал, что «если не исходить из понимания Церкви как священнического авторитета, — что религиозно мертво и бесплодно», — патриаршество совершенно не нужно. «Оно, — вернее обгоревшие остатки его, — и теперь существуют на Востоке. Но что дают они там? Сообщают ли церквам своим царственное величие исполняющейся истины? Что дают они всему Христианству? Ищут ли путей для его объединения, углубления? Тоже было

бы и у нас . . .». «Патриаршество отменено не по прихоти Петра I. Оно, перед своей отменой, сделалось центром реакции. . .» (мое примечание: вот чего не досмотрели наши деятели первой, февральско-мартовской, революции, тотчас же принявшись за церковные дела, учредив патриаршество.) Кроме того, докончил Тернавцев, и «учреждено было патриаршество светской властью, совершенно так же, как нынешний Синод» (мое 2 прим.: Как учредил его ныне Сталин, в лице Сергия, учредив ранее и свой Синод).

Повторяю, что о дальнейших заседаниях этих Собраний, просуществовавших до 5 апреля 1903 г., как ни были они любопытны (да и люди, их участники), я рассказывать не буду. Общая тема и направление их ясны. Уже здесь, в эмиграции, Д. С. хотел, чтобы я подробно написала о них несколько статей, изложив последовательно наиболее интересные заседания, подчеркнув разнообразие их участников и, насколько возможно, передав атмосферу в зале Географического О-ва. Прежде чем начать работу, я (мы) условились с одним давним нашим другом, редактировавшим тогда толстый эмигрантский журнал и близкое участие принимавшим в другом (уже прямо «религиозном»), что эти мои статьи, конечно, будут у него напечатаны. Этот наш друг, типичный «интеллигент», старый эмигрант, давно, однако, склонялся к христианству (в последнее время даже крестился), и не верить ему у нас не было оснований. Однако вышло не так. Моя работа не пошла далее описания начала Собраний, вот этого первого доклада Тернавцева и нескольких следующих. Эту мою рукопись я лишь недавно нашла в бумагах (I статью) с надписью красным карандашом: «Отвергнуто. . . ским»*. По каким мотивам он нарушил условие, — я теперь не помню, но не могу, все же этому не удивляться: мне до сих пор непонятно, что «странное» мог в ней увидить даже и не такой православный en herbe как наш редактор. Впрочем, надо заметить: Д. С. Мережковский (и я) мы были так же нежелательны и неприемлемы для эмигрантской прессы, как юный Мережковский для тогдашней прессы русской. Д. С. почти ничего не печатал в эмигрантских журналах и газетах, а писал очень много. Он издавал свои труды отдельными книгами, и то — по-русски — в бел-

*) Фондаминским. **В. З.**

градском, а не в парижских издательствах. А большинство его книг выходило раньше на том или другом иностранном языке. Я тоже издала две книги в Праге, одну в Берлине, одну в Белграде, а как журналист — давно перестала существовать.

Впрочем, о жизни и книгах Д. С-ча в эмиграции я скажу позже, — в свое время.

Теперь — вернемся к старому времени и докончим мои воспоминания о тех, далеких, Собраниях (имевших в жизни Д. С-ча большое значение), записью в моем дневнике 1902 г. Я к ней не прибавляю и не вычеркиваю из нее ни одного слова, чтобы не нарушать «историчности». Это было, конечно, не одно мое личное мнение, те же наблюдения были близки и Д. С-чу.

. . . «Мы узнали много новых людей. Узнавали всё больше из кого состоит Церковь (православная), которая, как нам казалось, нуждается в движении, в приятии нового, ибо в ней не отвечающая современной душе косность . . .

Вот из кого состоит ныне она (учащая): из верующих слепо, по-древнему, по-детскому, с детской — подлинной — святостью (о. Иоанн Кронштадский). Им наши запросы, наша жизнь, наша вера — непонятны, ненужны и кажутся проклятыми.

Затем — из равнодушных иерархов — чиновников. Затем — из милых, полулиберальных душ: митр. Антоний.

Из тихих, малокультурных полубуддистов: еп. Сергий. Из диких, злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов, мелочных, самолюбивых... (вот это самое удивляющее, самое неожиданное, на что мы натолкнулись здесь: позитивизм! Иной раз кажется: да это главное! Да все они позитивисты!)

Но продолжаю: из позитивистов — нравственников, с честолюбием, жестоких: Гр. Петров. Попадаются блестящие схоласты, как арх. Антонин, грубый и настоящий «еретик», не верующий даже в историческое бытие Иисуса.

Профессора и приват доценты Духовной Академии — почти сплошь позитивисты, хотя есть и с молодыми студенческими душами. Но и они мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны. И как-то уж неисцелимо...

Так вот из кого н ы н е состоит Церковь. Говорим, з н а я, имея опыт. И веруя в подлинность Церкви.

Отстранив всех, лишь внешне в ней находящихся, получим одного о. Иоанна и тех, кто с ним (невинная святость). Я знаю, наверно есть подвижники, схимники, старцы — там где-то, «в глубине России». Но ведь их святость — она хоть

и далекой, но той-же ниточкой связана с о. Иоанном Кронштадским...

Увы! Увы! Как нам отсечь нашу жажду разумения, нашу молитву о жизни, о ее правде, — о всем человеке?»

Летом 1902 г. (мы жили опять под Лугой, но на другой даче) к нам приехал П. П. Перцов с проектом издания нового журнала. Эта идея возникла, конечно, из Собраний — и для Собраний. Ведь все заседания были стенографированы, начиная с первого. А где они могли быть напечатаны? Конечно нигде... Да и с других сторон — журнал н а ш нам был нужен. «Мир Искусства» уже перестал совпадать с нашими устремлениями — нашей группы. Мы с ним не порывали связи, но даже Философов, который такое деятельное участие принимал в хлопотах на разрешение Собраний и почти на всех присутствовал, — стал каким-то странным образом, к весне, от нас отдаляться. Иногда, неожиданно, казался даже враждебным. Д. С. очень этим огорчался, предполагал, что Ф. снова подпал под власть своего кружка и, в частности, Дягилева, пытался увидаться с Ф. в Публичной Библиотеке (Ф. там служил), но узнал, что Философов все время хворает, на службу не ходит и живет у Дягилева.

Д. С. через день кажется был у Дягилева, сказал, что Ф. с нами поссорился, но мы не понимаем из-за чего, и Д. С. хочет его видеть. Это не удалось. Дягилев сказал, что он болен и в таком ужасном настроении, что лучше его оставить в покое. Так Д. С. и ушел, сам весьма расстроенный. Вечером же было собрание, на котором он должен был читать свой реферат.

К нашему удивлению на этом заседании был почти весь дягилевский кружок, Дягилев сам — и «больной» Философов.

Впрочем он действительно был болен.

Начинать новый наш журнал — было в некотором роде безумие. У нас (ни у Перцова) не было никаких денег, не было разрешения, не было, как будто, и сотрудников. А журнал проектировался «литературный», но с еще небывалым направлением: в его программе должно было упоминаться имя Вл. Соловьева, а в конце каждого номера — отчет религиозных Собраний...

Однако,мы каким-то таинственным способом, сведя с Перцевым смету, — нашли (как он говорил) «последний пятачок» и журнал решили основать.

В это время Дм. С. уже кончил свою книгу «Гоголь и о. Матвей». Она, конечно, вся вышла из вопросов Собраний. Часть ее и читалась, как реферат, на одном из зимних заседаний. А другую, самую важную Д. С. решил прочесть прямо митрополиту в его Лаврском «палаццо». Я уговаривала не делать этого, — никакого не видела толку, — только лишние обиды. Но Д. С-ча, когда он забирал себе что-нибудь в голову, уговорить было трудно. Ему всё казалось, что если не эти — то вот эти люди непременно «всё поймут». Если, мол не понимает Сергий, то митрополит то уж наверно поймет...

У Сергия, в его уютном кабинете, в который вела пустынная, с блестящим, как зеркало полом, зала, мы бывали не раз. Вот, отправились и к митрополиту. У Сергия чай нам подавали тоненькие, черненькие «служки» (будущие монахи). У митрополита в его раззолоченной гостиной — ливрейные лакеи. Розанов, утонувший в соседнем со мной кресле, тихонько шептал мне: «а варенье-то у Владыки — засахаренное. У Сергия лучше».

Нас было человек пять (Философова не было). И, кажется, столько же гостей Антония — почти всё те же высшие иерархи — как на Собраниях. Разговор был мягкий и незначительный. Митрополит так же «ничего не понял» говорил потом Д. С., как и остальные. Я оказалась права (что было не трудно).

Но так как книга Д. С-ча была кончена — он, при первой мысли о журнале, объявил с радостью, что отдаст ее в журнал (без гонорара, конечно) — и вот уже готовый материал для трех книг.

Подготовка к новой работе (к роману «Петр и Алексей») брала у Д. С. много времени, а потому всё «хозяйственное» дело по журналу падало на меня и на Перцова. Раньше поздней осени, во всяком случае, I-ый номер выпустить было нельзя. Нам же с Д. Серг. надо было еще совершить не малое и не легкое путешествие — вглубь России, в губернии раскольников, к «Светлому Озеру» — ко «граду Китежу».

Это наше путешествие я считаю одним из самых интересных из множества совершенных нами с Дм. Серг. Но о нем я здесь скажу лишь два слова; у меня имеется подробная его запись — дневник, напечатанный по-русски в тот же год в нашем журнале, переведенный с рукописи по-французски и сам могущий представить почти целую книгу. Скажу только, что благодаря новым нашим «духовным» связям мы попали

на озеро, к Китежу, как раз в ту июньскую ночь, когда там каждый год совершается особое ночное собрание народа, — староверов-раскольников, духоборов, сектантов всякого толка... когда приезжает туда и окрестное духовенство — не специальное миссионерство, а для разговоров и народных споров. Вот эту ночь — всю — мы там, на Озере, и провели, на холмах местных, в которые когда-то превратились золотоглавые храмы «града Китежа». Обычно предание искажается, говорят, что при приближении татар город с его храмами погрузился в озеро. Но предание не таково. Китеж и храмы его превратились в холмы на берегу Светлояра и скрылись от глаз татар. С тех пор лишь раз в год, в ночь на 21 июня, на заре, могут достойные — говорит предание — видеть в светлых водах озера не отражение холмов, но отражение подлинного города Китежа и слышать, скользящий по воде, звон его колоколов.

Впрочем, для интересующихся более оперой «Град Китеж» (знакомой Европе) нежели русскими преданиями, — это всё равно.

Наш возвратный путь из далеких лесов и болот российской глуби, через Ярославь и Ростов Великий, тоже был интересен, — в своем роде, — и незабвенен.

Вернувшись мы нашли дело журнала совсем на мази. Первый номер, с первыми отчетами Собраний, вышел в ноябре. И вот зима эта (1902-1903 г.г.) была у нас полна работой по журналу, иногда очень тяжелой, так как дело приходилось иметь с двумя цензурами, светской (гражданской) и духовной, причем последняя была особенно сурова, — и, конечно, Собраниями.

Отчеты надо было просматривать внимательно, сообща, а Розанова — заранее цензурно исправлять, ибо он понятия не имел, что допустимо, что нет. Духовный цензор ведь чичал в с ё, вплоть до стихов Сологуба и Блока (он у нас печатал первые свои стихи, часто рецензии).

Была и третья у нас цензура, — не предварительная, правда, а карательная: цензура общей радикальной прессы. Но мы на это не обращали внимания. Дм. Серг., несмотря на своего «Петра и Алексея», которым очень занялся после путешествия, принимал в журнале самое активное участие. Его «Гоголь» пошел, конечно, в первых же книгах.

А что-же «Мир Искусства?»

С ним начинался разлад. Даже с Философовым; он был правда, всё время болен, но не так, чтобы болезнью можно

было оправдать его явное отчуждение от нас и от наших дел. Да к тому же и литературная часть дягилевского журнала естественно как-то сократилась, во-первых потому, что большинство молодых писателей и поэтов перешли в наш журнал, а во-вторых и благодаря Дягилеву, который уже смотрел дальше, в свою сторону, — деятельности чисто художественной. Еще не балетной, в то время, но музыкальной, оперы, главным образом. Журнал для него был только необходимым этапом.

Благодаря тому, что Сергей Волконский, друг Дягилева, был в эту зиму директором Импер. Театров, на Александринской сцене был сделан опыт постановок греческих трагедий — «Ипполита» и «Антигоны» в переводе Д. С. Мережковского. Опыт удачный, но не имевший последствий, так как в скорости Волконский, близким помощником и неофициальным советником которого был «новатор» Дягилев, со своего поста ушел из-за какой-то ссоры с балетом, кажется; Дирекция Имп. Театров держалась старых традиций, никакое «новаторство» там, действительно, было неприемлемо и невозможно.

Дягилев пока остался лишь со своим журналом, который уже не был в расцвете, как ранее.

И я помню, как однажды, уже в самом начале 1903 года, к нам явилась почти вся группа Дягилева, с ним во главе, и со смутными предложениями как-то соединить оба журнала, — наш «Новый Путь» с «Миром Искусства», соединить их в один. Подробностей разговора и не помню (это у меня и записано не было), но затея была явно неудачна, так что один из группы вдруг сказал Дягилеву: «Ты просто хочешь, чтобы они свой журнал прекратили, почему ты думаешь, что они на это согласятся?»

Мы и не согласились, конечно, несмотря на крайне трудное наше положение, и тем дело и кончилось

Собрания продолжались, очень живо. В то время вышло так называемое «отлучение» Льва Толстого от церкви (или как говорили иерархи «признание его от церкви отпадшим»), что дало тему разговоров в двух заседаниях. А в третьем, (кажется) Сергей Волконский прочел реферат о «Свободе совести».

С духовной цензурой у нас шло всё хуже и хуже, отчетов, всячески укороченных и «приглаженных», она почти не пропускала. В очень серьезном труде известного Вячеслава Иванова везде, где упоминалось «православие», надо было

написать «католичество». Можно себе представить, что из этого получалось. Не пропускались некоторые мои статьи, чисто литературные, и даже... какие-то стихотворения Сологуба. К счастью, секретарь нашего журнала (он же секретарь и Собраний), человек энергичный, даже грубоватый, и никакого к религии отношения не имеющий (из старых «интеллигентов», но без всякого уже интеллигентского «фанатизма») сдружился с лаврскими монахами из не имевших ni foi ni loi и ездил к ним с переговорами, часто «выторговывая» у них то или другое.

Но наконец... случилось неизбежное: 5 апреля (1903 г.) светская (синодальная) власть запретила наши Собрания, вопреки, будто бы доброй воле митр. Антония. Говорили, что поводом был «донос» одного из сотрудников «Нового Времени», суворинской реакционной газеты. Но, думается, просто иссякло терпение Победоносцева и он сказал «довольно».

Запрещены были, конечно, и недопечатанные отчеты Собраний — отчеты последней зимы. Запрещены были даже (молчаливо) и новые хлопоты. Да и так сразу было видно, что они бесполезны. Не могу сказать наверное, к этому ли времени, или более позднему, относится свиданье Дм. С-ча со всесильным обер-прокурором синода Победоносцевым, когда этот крепкий человек сказал ему знаменитую фразу: «Да знаете ли вы что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Кажется Д. С. возразил ему тогда, довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России... во всяком случае что-то в подобном роде.

З. Н. Гиппиус.

НОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ ДЕРЕВНИ В СССР

Советское правительство снова пошло походом на деревню, — снова начало беспощадно «ломать мужика»...

Ломка ведется в самых ускоренных темпах, — в двух плоскостях. С одной стороны, проводится, так называемое «укрупнение колхозов», и на место недавних, сравнительно небольших колхозов, объединявших обычно крестьян одного села или деревни, создаются колхозы-гиганты с тысячами гектаров посевной площади. В то же время, с другой стороны, перестраивается вся система организации рабочей силы внутри отдельных колхозов, и центр тяжести с небольших «звеньев», т. е. групп в 5-10 колхозников, переносится на большие постоянные «бригады», объединяющие до 100-150 чел.

Советская печать, — и общая, и специальная, предназначенная для руководителей советской работы в деревне, — уделяет много внимания этим реформам, но внимание это одностороннее.

Советские авторы много пишут о грандиозных перспективах, которые в результате такого укрупнения открываются перед новейшей т е х н и к о й в сельском хозяйстве; они охотно гадают о темпах будущего развития советской э к о н о м и к и на базе укрупненного колхоза, — но пока что все они очень скупы на разговоры о с о ц и а л ь н ы х последствиях проводимых преобразований. Вопрос о социальном содержании новой ломки деревни коммунистическая пресса предпочитает осторожно обходить стороной, — а между тем, уже теперь ясно, что именно в этой ломке и скрыт подлинный смысл нового похода на деревню.

Изучение материалов показывает, что все эти реформы советское правительство задумало и проводит в жизнь для того, чтобы добить старую деревню, — чтобы окончательно выкорчевать старый уклад деревенской жизни. Конечно, эти новые реформы в их основных идеях теснейшим образом связаны с политикой принудительной коллективизации, как она наметилась в 1929 г. Конечно, и в целом ряде деталей новые реформы повторяют и продолжают некоторые из мероприятий,

с которыми советская власть выступала на протяжении последних двух десятилетий. Но взятые в целом, новые реформы составляют настолько значительный шаг советского правительства по пути закрепощения крестьянина и перестройки всей советской деревни, что мы имеем полное основание говорить о них, как о начале нового большого этапа в старой борьбе большевиков против крестьянства. Страшная, бесчеловечная в своей жестокости машина тоталитарного коммунистического государства заканчивает свою работу по «ликвидации, как класса», — теперь уже не «кулака», а всего крестьянства.

**
*

Всё значение этих новых реформ будет понятно только на фоне потрясений, пережитых советской деревней за военные и после-военные годы.

За время войны советская деревня, к тому времени уже полностью загнанная в колхозы, пережила глубокий кризис. В различных формах и с разной глубиной захвата, но по всему Советскому Союзу, без каких-либо исключений, в период войны происходило подведение итогов опыту применения колхозной системы. Результаты оказались далеко не благоприятными для колхозов.

Это относится прежде всего к районам, которые были оккупированы немцами и их союзниками. В большинстве случаев, колхозы здесь были ликвидированы. Происходило это отнюдь не по приказам немецких властей. Последние часто были склонны сохранять колхозы, которые они считали аппаратом, могущим пригодиться и им для выкачивания хлеба из деревни. Ликвидацию колхозов крестьяне проводили по своей инициативе, часто вопреки прямому противодействию немцев. Крестьян не останавливало недостаточное количество рабочего скота и сельско-хозяйственного инвентаря. При всей чувствительности этих недостач, деревня, вернувшаяся от колхозного хозяйства к частному, хотя и с огромным трудом, но справлялась и с посевами, и с уборкой, — и, несмотря на всю значительность немецких реквизиций, жила более сытно, чем при большевиках.

Конечно, весьма сильно страдал город, — но в годы войны город голодал повсюду, и ни в коем случае нельзя утверждать, что в районах временной немецкой оккупации город голодал сильнее, чем в районах оккупации постоянной коммунистической...

Данные выше формулировки, конечно, не охватывают всей сложности явления; материал о жизни деревни под немцами до сих пор не только не изучен, но и не собран. Бесспорным, мне кажется, во всяком случае, одно: весь опыт жизни деревни под немецкой оккупацией показывает, что деревня с колхозами не примирилась и что сохранять колхозы советская власть может только методами жестокого террора. Трудовое население деревни против колхозов, и при снятии с деревни ярма коммунистической диктатуры, колхозы обречены на ликвидацию.

***

В иных формах и размерах, но по существу тот же процесс высвобождения из-под колхозной диктатуры шел в деревне и тех районов, куда немцы не дошли.

В этих районах советская власть продолжала существовать, но обстоятельства вынуждали ее ослабить вожжи диктатуры над деревней. Деревня осталась почти без мужиков. Главное бремя работ легло на женщин, которые всегда были менее покладисты: не случайно деревня знала так много «бабьих бунтов». Методы террора много потеряли в своей эффективности, а нужда в хлебе колоссально выросла. Чтобы повышать производство, надо было поощрить личную заинтересованность, — и власти смотрели сквозь пальцы на то, как крестьянки-колхозницы расширяли свои огороды или заводили лишнюю голову молочного скота... В пригородных селах продажа молока стала важнейшим источником доходов, — и по рассказам очевидцев в Москве военных лет колхозница-молочница стала характерной представительницей типа новых советских богачей. Конечно, их «богачество» было весьма условным, но на голодном фоне тогдашней современности всё же достаточно заметным.

О размерах этих явлений, в виду отсутствия статистических данных, судить трудно, — но советские официальные источники признают, что они носили «массовый характер». Так, «Большевик», комментируя «Постановление» ЦК ВКП(б.) и Совета Министров СССР от 19 сент. 1946 г., писал:

«Постановление указывает, что в колхозах вновь приобрели м а с с о в ы й характер факты расхищения общественных земель. Эти расхищения идут по линии увеличения приусадебных участков колхозников путем самовольных захватов или незаконных прирезок со стороны правлений или председателей колхозов в целях раздувания личного хозяйства в

ущерб общественному» («Большевик» от сентября 1946 г., стр. 33).

В связи с этим же «Постановлением», в советской печати появилось и несколько, правда, отрывочных, но тем не менее интересных конкретных фактов. Так, напр., было сообщено, что весной 1946 г. по Куйбышевской обл. было обнаружено 11.760 случаев захвата крестьянами колхозных земель под личные огороды; что в Красноярском крае был обнаружен ряд случаев, когда колхозники владели значительным количеством скота, — в том числе у некоей колхозницы Евы Капото оказалось целых 15 голов (см. «Социалистическое Сельское Хозяйство», сент. 1946 г., стр. 25); что в Базарно-Карабулакском районе, Саратовской обл., от 25 до 30% всех колхозников в 1943-45 г.г. не вырабатывали положенного минимума трудодней, что является бесспорным показателем перенесения колхозниками их основного внимания на развитие личных огородов («Большевик», сент. 1946 г., стр. 28) и т. д.

Правда, огороды эти едва ли переходили за размеры одного гектара, а преступная Ева Капото, вырастила 15 голов, повидимому, не крупного, а мелкого скота... Но дела это не меняет: в СССР все меряется на особые мерки, — а для этих мерок правонарушения куйбышевских, красноярских и иных колхозниц были весьма значительными.

***

Пока шла война на все эти «преступления» и местные, и центральные власти смотрели сквозь пальцы. Это было так необычно, что по деревне поползли слухи, будто советское правительство само убедилось в непригодности колхозов и собирается после войны не то совсем их упразднить, не то как-то ослабить колхозное иго, дав народу «полегчание». Кое-где рождались слухи, что колхозы уже отменены, — и М. М. Коряков рассказал, что он как-то попал на пирушку, которой крестьяне решили ознаменовать дошедшее до них известие об отмене колхозов... Есть рассказы наблюдателей, что к распусканию подобных слухов как-то были причастны и органы местной власти: они считали (и не без основания), что с надеждами на близкое «полегчание» многострадальная деревня будет легче переносить непереносные тяготы военного времени.

Действительность не оправдала ожиданий. После войны никакого «полегчания» не вышло. Наоборот, немедленно по

окончании военных операций на немецком фронте, советское правительство открыло операции на фронте внутреннем, крестьянском. И чем дальше шло время, тем круче завинчивался колхозный винт.

Конечно, в первую очередь и с особой жестокостью была подтянута деревня, побывавшая под немцами. Ее всю тщательно «прочесали» органы МГБ. Активные участники ликвидации колхозов были расстрелены или пошли в лагеря. В районах, где ликвидация колхозов крестьянами была проведена с особым подъемом, МГБ часто применяло метод сплошного выселения целыми селами на восток, — в Заволжье, Сибирь, в Казакстан. На «освобожденные» таким путем земли сажали переселенцев из внутренних районов. Конечно, колхозы при этом восстанавливали во всей строгости сталинского «Устава сельскохозяйственной артели».... Экономическая политика здесь неразрывно сплеталась с политикой полицейской, — и с точки зрения изучения хозяйственных отношений дает мало интересного материала.

Много более поучительна история колхозов в тех районах, куда немцы не доходили. Здесь прежде всего в 1945-46 г.г. была проведена жестокая чистка колхозной администрации. По Костромской, например, области было смещено свыше половины председателей колхозов (доклад Андреева в Политбюро в феврале 1947 г.). В других районах размеры чистки были еще более значительны. Смысл чистки состоял в удалении той колхозной администрации, которая в годы войны оказалась податливой к «мелкособственническим настроениям» и в той или иной мере подпала под влияние окружающей среды рядовых колхозников. На места вычищенных, которые обычно были избраны колхозниками и как-то связаны с местным населением, назначались сверху новые люди, часто совсем чужаки. Есть указания, что на такие посты назначали «героев» недавней войны или инвалидов, обычно имевших какую-то связь с политработой в армии или НКВД. (Рассказ одного из таких председателей колхозов напечатан в «Соц. Вестн.» за ноябрь 1947 г.).

Таким путем правительство создавало себе в деревне ту «новую метлу», которая, по народной примете, всегда «чище метет». Правда, от этого сильно страдала квалификация председателей колхозов в отношении руководства производственным процессом, — и даже Андреев был вынужден указать на опасность таких массовых смещений. Но своих результатов

правительство достигло, — и «новая метла» в 45-47 г.г. старательно вымела из деревни поблажки военного времени. Скот, который был заведен колхозниками и находился в их личном пользовании, был отобран в колхозные стада. Расширившиеся «приусадебные участки» (огороды) были возвращены в границы предельных минимумов, установленных накануне войны, декретом от 27 мая 1939 г., — а местами даже снижены.

***

С элементами возврата к частному хозяйству на обочинах колхоза, — позиция, на которой крестьянство в 1930-х г.г. вело борьбу за сохранение индивидуального хозяйства, — было покончено. Все послабления, которые были сделаны в колхозном режиме за время войны, были аннулированы. Монопольные права колхозов были восстановлены в тех максимальных размерах, которых они достигли накануне войны. Знаменитое постановление ЦК ВКП(б.) и СНК СССР от 27-го мая 1939 г. было торжественно подтверждено совместным же постановлением ЦК ВКП(б.) и Сов. Мин. СССР от 19 сентября 1946 г. и стало незыблемой основой всей последующей политики большевиков в деревне.

Но проводить эту политику приходилось в условиях послевоенного времени, которые существенно отличались от условий 1939 г. прежде всего тем, что настроения послевоенной деревни были не совсем похожи на настроения деревни кануна войны. Демобилизованные из армии участники недавних страшных боев не отличались кротостью нравов. От них не отставали женщины, которые стали значительным большинством среди трудового населения деревни, — тем более, что жить и работать теперь приходилось в условиях более трудных, более тяжелых, чем до войны.

Чтобы поднять их волю к труду, советское правительство первое время пошло по пути своеобразной ориентации на личную заинтересованность колхозника-середняка. Проводником этой политики стал Андреев, член Политбюро, который в сентябре 1946 г. был поставлен во главе особого Совета по делам колхозов, созданного при Совете Министров СССР.

***

Андреев, который и в предвоенные годы был руководителем колхозной политики советского правительства, еще с

тех времен был известен, как противник колхозной «гигантомании» и как сторонник группировки работников внутри колхозов, преимущественно в небольшие «звенья». Колхозная практика к тому времени уже выработала существование двух основных единиц организации рабочей силы внутри колхозов, — а именно, небольших «звеньев», по 5-10 работников, и крупных «бригад», которые перед войною состояли в среднем из 50-100 человек.

Между «звеном» и «бригадой» шла борьба. Формально «звено» должно было составлять отделение внутри «бригады» для выполнения мелких специальных работ, — главным образом по т. наз. пропашным культурам. Но практика привела к повышению значения «звеньев» и к превращению их часто в самостоятельные единицы, получающие производственные задания непосредственно от колхоза. Вопрос этот имел большое значение с точки зрения поднятия урожайности. Политика правительства ориентировалась на повышение личной заинтересованности колхозников и при увеличении урожайности предлагала выписывать дополнительные трудодни тем группам работников, усилия которых к такому увеличению привели. Но выделить индивидуальную роль труженика в большой «бригаде» почти не было возможности, и это в сильной мере понижало действенность поощрительных мероприятий правительства. По этим соображениям Андреев был горячим защитником, — почти апологетом, — «звеньев».

«...Наличие уравниловки в колхозах, — говорил Андреев в феврале 1939 г. на 18-м съезде ВКП(б.), давая своей речью руководящую директиву всем коммунистам, — а также обезличивание труда колхозников в крупных бригадах, есть основное препятствие к дальнейшему росту производительности труда в колхозах... Эти элементы уравниловки и обезлички труда в колхозах необходимо ликвидировать... Чем более труд в колхозах индивидуализирован, в виде «звеньев» или отдельных колхозников, чем больше их труд материально поощрен, тем больше он производителен как в урожае, так и в животноводстве».

С еще большей настойчивостью Андреев выступил в пользу «звеньев» на совещании сибирских «передовиков сельского хозяйства», которое состоялось в 1940 г. в Новосибирске. Его речь была, как потом писала «Правда» (от 19 февр. 1949 г.), «призывом к повсеместному созданию «звеньев» в зерновом хозяйстве колхозов Сибири». Окончательно «звенья» были

признаны январским постановлением советского правительства за 1941 г., которым было рекомендовано закрепление за «звеньями» определенных посевных участков, рабочего скота и т. д. на целый сельскохозяйственный год.

За годы войны позиции «звеньев» еще больше окрепли. Практика закрепления за «звеньями» посевных участков стала применяться почти повсеместно и не только в отношении овощей, картофеля, трудоемких технических культур и т. д., но и в отношении культур зерновых, а также многолетних трав на сено и даже естественных сенокосов. Наиболее ответственные большевистские органы тех лет печатали настоящие гимны в честь «звеньевой формы организации» рабочей силы в колхозах, доказывая, что эта форма

> «облегчает учет количества и качества труда, затраченного каждым колхозником, способствует внедрению наиболее прогрессивных форм сдельщины, вовлекает в активную творческую борьбу за урожай самые широкие слои колхозного крестьянства, выдвигает и воспитывает новые кадры талантливых организаторов колхозного хозяйства из молодежи, из женщин, воспитывает новое, социалистическое отношение к труду» («Большевик», № 9 за май 1947 г., стр. 24-25).

После окончания войны задачи поднятия урожайности и повышения производительности труда в колхозах стояли с еще большей, чем в довоенное время, остротой, — и Андреев с повышенной настойчивостью проводил политику, ориентированную на «звенья». Февральский пленум ЦК ВПК(б.) 1947 года одобрил тезисы Андреева, которые рекомендовали «звенья» и для зерновых культур, — правда, с оговоркой. «Звенья» становились основным стержнем всей политики советского правительства в отношении организации рабочей силы внутри колхозов. Но это вводило в колхозную политику элементы, которые в процессе развития должны были привести к далеко идущим выводам.

***

Колхозы (непосредственно сами или через «бригады») отводили «звеньям» определенные участки, которые «звенья» обязывались обрабатывать, проводя весь цикл сельскохозяйственных работ, — с помощью, конечно, Машинно-Тракторных Станций. Начет трудодней каждому «звену» производился отдельно, — причем в зависимости от размеров урожая на данном участке и от производительности труда начислялись

добавочные премиальные трудодни: чем выше был урожай с гектара и чем меньше было затрачено рабочих дней на его обработку, тем больше трудодней получало «звено».

Но небольшая группа работников, составлявшая «звено», подбиралась обычно из друзей, хорошо друг друга знавших. Почти всегда основу «звена» составляли работники какой-либо одной семьи, — нередки были случаи, когда вообще всё «звено» состояло из работников только одной семьи. Работа в этих случаях, естественно, шла более споро, производительность труда была выше, — но, при некоторой устойчивости существования такого «звена», у него выявлялась тенденция к обособлению от остальных частей колхоза, к превращению в самостоятельную хозяйственную единицу, существовавшую внутри колхоза на основе своеобразного хозрассчета, с большим приближением к частновладельческим условиям работ.

Отношения колхоза к «звену» (такой тип «звена» в советской литературе получил наименование «обособленного звена») показывали тенденцию развиваться в направлении, весьма напоминавшем отношения землевладельца до-капиталистических времен с крестьянином-арендатором, когда этот арендатор обрабатывал поле, получая натурой какую-то долю урожая, а потому был кровно заинтересован и в производительности своего труда, и в урожайности поля. Разница, конечно, имеется, — но она больше количественная: доля колхозника много меньше доли прежнего арендатора (напр., «испольщика»); менее обеспечены и права «звена», — по сравнению со старыми арендаторами. Но возможность повышать свой заработок, увеличивая напряженность работы, колхозники в «звеньях» действительно получали, — и это оказывало влияние на их волю к работе.

В 1947-49 г.г. политика советского правительства всячески поддерживала и поощряла «звенья». «Строгое соблюдение звеньевой организации труда» и связанное с нею «применение во всех колхозах мелкогрупповой и индивидуальной сдельщины» («Правда» от 2 июня 1949 г.) становится основной директивой, которая идет из Москвы на места. Области, где обращают мало внимания на развитие и на устойчивость «звеньев», получают строжайшие нагоняи (напр., Иркутская обл., «Правда» от 5 июля 1949 г.). Само правительство прямо требует возможно более широкого «применения звеньевой системы труда» (постановление Совета Министров СССР от 19 апреля

1948 г.). Центральная печать настойчиво требует закрепления за «звеньями» определенных участков («Большевик», № 13 за 1949 г., стр. 38). Неудивительно, что количество «звеньев» быстро растет и их позиции крепнут. В Курской, напр., области «звенья» были созданы повсеместно и за ними было закреплено в 1947 г. 96% всех посевов зерновых культур («Правда» от 19 февраля 1950 г.).

Курская область в вопросе о «звеньях», несомненно, шла впереди других, — очень похоже, что ее, в результате каких-то соображений, сделали образцовой в отношении эксперимента со «звеньями». В других областях и республиках процесс зашел не так далеко. Но развитие шло в том же направлении повсюду, — и именно это породило тревогу в Политбюро. Колхозы должны были готовить деревню для построения коммунистического общества, — к каковым граням, согласно официальной фразеологии, Советский Союз подошел вплотную. А тут выяснялось, что внутри этих самых колхозов народились и окрепли инородные тела частно-хозяйственного (часто докапиталистического) типа... Частно-хозяйственные отношения, которые так старательно изгоняли из колхозов через двери, оказывается, возвращались в них через окна!

***

И возвращались они отнюдь не с покорными настроениями: уже осенью 1949 г. на политическом горизонте Советского Союза были заметны тучи недобрых отношений с деревней. Урожай был не плох, — но со сдачей хлеба государству вышли заминки, — и есть все основания считать, что советские власти причину этих заминок увидели в настроениях крестьянства, нашедшего для себя опорные базы в «обособленных звеньях»... Так или иначе, судьба «звеньев» была решена поздней осенью 1949 г.

Первые выступления против них шли с Украины, где уже давно сидел наместником Никита Хрущев, и раньше имевший трения с той группой членов Политбюро, в которую входил Андреев. Летом 1947 г. эта группа пыталась ослабить положение Хрущева. На Украину с чрезвычайными полномочиями был послан Каганович, который оттеснил Хрущева с позиций главного секретаря ЦК КП(б.)У на позиции председателя украинского Совета Министров. Но эта попытка успеха не имела. Каганович вскоре вернулся в Москву, а Хрущев был полностью восстановлен в своих правах.

Очень похоже, что вопрос о колхозах играл какую-то роль и в спорах 1947 г.: едва ли случайным был тот факт, что отправляясь на Украину, Каганович взял туда с собою Патоличева, тогдашнего заместителя Андреева по Совету по делам колхозов. С другой стороны, трудно признать случайным и то обстоятельство, что в речах Хрущева на съездах КП(б.)У за 1948 и 1949 г.г. нет ни одного реверанса перед «звеньями» (см. «Большевик» №№ 10 за 1948 и 3 за 1949 г.г.), а в то время такие реверансы были почти обязательны для всех, кто говорил о колхозах. (Хрущев о них говорил много). Так или иначе, но с поздней осени 1949 г. с Украины начали звучать иные речи о колхозах, чем речи деятелей руководимого Андреевым Совета по делам колхозов, а в самом конце 49 г. под Черкасами, в колхозе имени ОГПУ, который вел хозяйство на 15 тыс. гектаров, была произведена даже закладка первого в СССР агрогорода (колхозного города), куда было решено сселить всех колхозников.

Подробностей о закулисной борьбе мы не знаем, но известно, что в самом конце 1949 г. Хрущев был переведен в Москву, где он занял посты секретаря одновременно и ЦК, и МК, а 19 февраля 1950 г. в «Правде» появилась большая статья «Против извращений в организации труда в колхозах», направленная прямо против Андреева, который, в отступление от всех традиций, установленных для членов Политбюро, был назван прямо по имени, как лицо, ответственное за ориентацию на «звенья», каковая политика газетой отвергалась, как определенно неправильная. Такая статья могла быть напечатана только в результате соответствующего решения пленума ЦК или, по меньшей мере, Политбюро, — и текст ее был проредактирован в секретариате ЦК. Андреев, как теперь полагается, немедленно же признал свои ошибки и покаялся. С этого момента официально начинается новый период в колхозной политике советского правительства, — начинается новая ломка всех хозяйственных устоев колхозной деревни.

Ломка эта, как уже сказано, ведется в двух плоскостях.

Прежде всего проводится у к р у п н е н и е к о л х о з о в. До этих реформ колхоз, как правило, объединял крестьян одной деревни или села и в каком-то отношении был прямым продолжением старой, до-революционной общины. Во многих больших селах создавалось даже по несколько колхозов, — на каждом «конце» свой. К попыткам построения больших колхозов, с посевными площадями во много тысяч гектаров, ру-

ководители советской политики относились отрицательно, — как к опасной и вредной г и г а н т о м а н и и. В среднем для всего СССР перед войной на один колхоз приходилось около 85 дворов при 550-570 гектаров посевной площади. Очень широко распространенным типом колхоза был колхоз с посевной площадью в 150-200 гект. В густонаселенных областях СССР количество таких колхозов, по официальной статистике, доходило до двух третей и больше.

Таким колхозам теперь объявлена беспощадная война. В Московской области, которая первой начала проведение в жизнь новых «реформ», на 1 января 1950 г. числилось 6.069 колхозов, а на 20 июня их осталось 1.668 («Больш.» № 12 за 1950 год, стр. 50). Приблизительно в таких же пропорциях проведено «укрупнение» и в других областях; так, например, в Ярославской области из 3.890 колхозов сделали 963 («Правда» от 27 октября 1950 г.), в Белорусской республике из 9.771 колхоза сделали 3.279 («Правда», 14 ноября 1950 г.) и т. д. В среднем, вместо 3-5 старых колхозов создается 1 новый, «укрупненный».

Результатом такого «укрупнения» было, конечно, огромное увеличение размеров посевной площади каждого отдельного колхоза. Точные данные пока еще неизвестны, но известно, что, например, в Московской области на 1 колхоз теперь приходится 712 гкт. пашни, в Рязанской — более 1.500 и т. д. («Социалист. Земледелие» от 10 октября). На Украине, на Сев. Кавказе и в др. хлебных областях «укрупнение», как видно из отдельных газетных сообщений, носит еше бо́льшие размеры и уже превратилось в то самое явление, которое еще вчера презрительно клеймили, как «легкомысленную гигантоманию». Имеются сообщения о колхозах с 13-15 тыс. гектаров.

Наряду с «укрупнением» колхозов ведется непримиримый поход п р о т и в « з в е н ь е в », как основной ячейки организации рабочей силы внутри колхозов. «Звенья» так жестоко раскритикованы, что с их «ведущей» ролью явно покончено. Они, конечно, будут существовать, но только внутри больших бригад, в качестве подразделов, создаваемых от случая к случаю для выполнения специальных заданий. Со «звеньями», как они складывались в течение последних лет, т. е. небольшими обособленными группами хорошо сработавшихся родственников и соседей, стараются покончить навсегда. Центр тяжести организации рабочей силы внутри колхозов перенесен на рабочие «бригады», которые в свою очередь подвергаются про-

цессу «укрупнения» и превращаются в «постоянные производственные бригады», насчитывающие по 100-150 и больше рабочих, подобранных по производственному признаку так, чтобы «бригада» могла обслуживать все этапы машинизированного процесса сельско-хозяйственного производства...

**
*

Официально необходимость всех этих «укрупнений» обосновывается интересами технического прогресса. Сам Н. Хрущев, новый колхозный диктатор, в первых же статьях, которыми он дебютировал после назначения на этот пост, с особой силой напирал на то, что мелкие колхозы не могут в полной мере использовать те технические преимущества, которые дают современные машины, а потому, в интересах технического прогресса, должны уступить место колхозам крупным («Правда» от 25 апр. 1950 г.).

Интересами того же технического прогресса обосновывается и необходимость отказа от политики насаждения «обособленных звеньев» и переход к укреплению «постоянной производственной бригады», как «основной формы организации артельного труда, позволяющей наиболее производительно использовать в колхозах крупную машинную технику» (из постановления ЦК ВКП(б.) и Совета Министров СССР о подготовке к посевной компании, «Правда» от 17 марта 1950 г.).

Этот же мотив настойчиво подчеркивается и в статьях, подводящих итог уборочной кампании, которые неизменно доказывают, что «укрупнение», наспех проведенное в течение весенних месяцев, уже оказало свое благотворное влияние.

«Ликвидация обособленных «звеньев», — пишет, например, редакция журнала «Машино-Тракторная Станция» (июль 1950 г., стр. 3), — восстановление роли производственных бригад колхозов способствовали лучшему использованию техники».

Все специальные органы переполнены описаниями новейших машин, которые в настоящее время, якобы, в огромных количествах бросаются в деревню. По уверениям этих органов, МТС в ряде районов теперь «оснащены необходимой техникой для механизации всех процессов производства зерна» («Вопросы экономики», № 5 за 1950 г., стр. 45).

Если раньше, при Андрееве, проблемы поднятия производительности труда и повышения урожайности пытались решать, плохо или хорошо, но ориентируясь на настроения кол-

хозника, т. е. ж и в о г о ч е л о в е к а, активного участника творческого процесса труда, — то теперь на первое место повсюду выдвинута **м а ш и н а. Именно на ней** сосредоточено главное внимание. В ее честь слагаются настоящие гимны. Интересы машинизации производственного процесса в сельском хозяйстве определяют всю политику правительства... Создается какой-то культ машины!

Но при более внимательном изучении материалов не трудно установить, что дело далеко не в одном только прославлении машины, поставленной на службу человеку. Позади т е х н о л о г и и ясно вырисовываются контуры с о ц и о л о г и и, — очень примитивной, грубой и жестокой. Машина, все крикливые восторги перед ее возможностями, явно играет служебную роль для того, чтобы отвлечь внимание от живого человека, — от того, кто и на новом этапе развития тоталитарного коммунистического государства обречен играть не творящего субъекта, а страдающего объекта исторического процесса.

***

Каковы будут технические и экономические итоги проводимых «машинизаций» и «укрупнений» судить пока преждевременно. Одно лето вообще срок недостаточный для маломальски обоснованных выводов. Такие выводы становятся вообще невозможными, если и об этом единственном лете мы не имеем в достаточной мере надежных и правдивых сведений. А таких сведений нет. Советская печать, как и следовало ожидать, полна сообщениями о всевозможных победах и достижениях, — но доверия они не внушают. Когда, например, коммунисты из колхоза «Новая Жизнь» (Краснополянский район, Московск. обл.) утверждают, что у них в колхозе за минувшее лето «эффективность труда колхозников возросла в д в о е, в т р о е» («Моск. Правда» от 1 сент. с. г.), то не нужно быть специалистом, чтобы понять, что мы имеем дело с беззастенчивым шарлатанством, которое достигло степеней, возможных только в стране с абсолютной монополией печатного слова.

В действительности положение в деревне в настоящее время далеко от благополучия. Даже советская печать, если ее внимательно изучить, дает достаточно материалов, показывающих, что даже с чисто технической и экономической точки зрения, минувший год дал далеко не положительные результаты. Большой интерес под этим углом зрения представляет

«Моск. Правда», орган Московского Обкома ВКП(б.), которая теперь стала лейб-органом колхозного диктатора Хрущева (последний одновременно состоит и секретарем МК) и уделяет много внимания колхозной политике в Московской области, а последняя играет ведущую роль в проведении новой линии на «укрупнение» колхозов во всей стране. Эта «Моск. Правда» печатает много материалов о колхозных делах, которые не попадают в другую печать. Из них мы узнаем, что в Московской области, например, план животноводства не выполнен в 10 районах области и что кормов для скота на зиму заготовлено всего лишь от 37 до 53% («Моск. Правда» от 4 окт.), что особенно плохо обстоит с покосами и что в Шаховском, например, районе, где МТС выполнила всего лишь 13% плана по укосу, к сентябрю был незакончен даже первый укос, а о втором, который по плану должен был принести больше первого, вообще не могло быть и речи (т., 2 сент.) и т. д.

Положение обстояло крайне плохо не только с животноводством и заготовкой кормов для скота. Серьезный «прорыв» обнаружился и на главном фронте сельского хозяйства, — на фронте хлебозаготовок. Как известно, сдача хлеба государству считается важнейшим делом колхозов и эта сдача производится первой, — даже раньше, чем выделяется какой бы то ни был паек самим колхозникам. И вот оказывается, что на 9 окт., т. е. через 10 дней по истечении предельного срока сдачи, по Московской области в общей сложности 10 районов не выполнили плана, — причем размеры невыполнения иногда доходят почти до 50% задания. Очень плохо обстоит дело и с заготовками картофеля и т. д. Значение этих «прорывов» настолько велико, что Бюро МК ВКП(б.) приняло специальное решение с требованием напречь все усилия для исправления фронта и объявило выговоры и предупреждения секретарям 13 райкомов и председателям соответствующих райисполкомов (это решение Бюро МК опубликовано в «Моск. Правде» от 11 окт. с. г., — ни в одной другой советской газете нет и упоминания ни об этом постановлении, ни о «прорывах» в московской деревне).

Проведение «укрупнения» колхозов вызвало в подмосковной деревне жестокий хозяйственный кризис, — и нет никакого основания думать, чтобы положение в других областях было существенно отличным.

Острота этого кризиса подчеркнута несомненной наличностью пассивного крестьянского сопротивления. Точных све-

дений о последнем имеется очень мало, но существование его совершенно бесспорно. Та же «Моск. Правда» передает ряд эпизодов, значение которых можно понять только в свете событий 1929-32 г.г. Так, в Шаховском районе, Моск. обл., за весенние и летние месяцы с. г., по сообщению «Моск. Правды» (от 2 сент.), колхозами были «разбазарены» и забиты сотни овец, причем государству по мясопоставкам сданы только... две. Очень похоже, что в данном случае (и аналогичных) мы имеем дело с «разбазариванием» скота владельцами, — подобно тому, как это делалось в период сплошной коллективизации. С тою лишь разницей, что тогда этим занимались крестьяне-единоличники, не желавшие передавать свой скот колхозам, а теперь по их стопам идут мелкие колхозы, силою загоняемые в колхозы «укрупненные».

***

Это сопротивление крестьянства и выросший на его почве кризис не остановили проведение хрущевских реформ. Наоборот, они только подстегнули коммунистических реформаторов, которые в настоящее время свою борьбу против колхозников, сопротивляющихся «укрупнению», переводят в новую форму, — поднимают ее, как любят говорить в СССР, вспоминая Ленина, на высшую ступень: по всей стране ведется кампания в пользу ликвидации мелких деревень и поселков и обязательного переселения всех колхозников в колхозные центры. Много идет разговоров о создании особых «колхозных городов» или «агро-городов», которые будут построены по последнему слову современной строительной техники, — с электричеством, ваннами, центральным отоплением, детскими яслями и т. д., с одной стороны, и самыми новейшими механизированными животноводческими фермами и пр., с другой стороны. В Черкасском районе на Украине, такой «агрогород» уже заложен, где-то под Саратовом его закладывают, «укрупненный колхоз имени Калинина» в Высоковском районе, Моск. обл., и ряд других мобилизовали специалистов для разработки планов...

Само строительство таких идеальных городов, конечно, «музыка будущего», — и при том отнюдь не близкого. За то «музыка» снесения мелких деревень и «добровольно-принудительного» переселения их обитателей в новые колхозные центры становится всё более и более заметным т о н о м жизни советской деревни. В том же самом «укрупненном колхозе имени Калинина» принудительное переселение должно начаться в

ближайшее время. Этот колхоз образован путем объединения 13 ранее существовавших в этом месте мелких колхозов, — и 10 из прежних поселков намечены к сносу. Снесено будет около 67% крестьянских домов в районе колхоза («Моск. Правда» от 25 окт.). Если такое соотношение будет и в других районах, — а есть много оснований полагать, что оно во всяком случае будет приближаться к нему, — то от хрущевского эксперимента деревня потеряет много больше жилых домов, чем даже она потеряла от немецкого нашествия...

В каких условиях придется жить принудительно переселяемым колхозникам, легко догадаться. Дома для них будут построены не скоро, — даже план их строительства не разработан. Весною был разработан план строительства только для скотных дворов, — но с выполнением его дело обстоит настолько плохо, что тревогу, оказалось, нужно забить даже в центральной «Правде» (от 13 окт.), которая перечисляет ряд областей, «где допущено серьезное отставание с подготовкой к зимовке».

В списке этих областей нет Московской, тем более интересно, что в этой Московской области, не признаваемой неблагополучной, годовой план строительства овчарен выполнен только на 24%, скотных дворов — на 19, птичников — на 15 и т. д. («Моск. Правда», 4 окт.). Если таково «благополучие», то что же делается в областях, открыто объявленных неблагополучными?

***

Хрущевская ломка деревни проводится в самом спешном порядке, — только крестьянские спины похрустывают! Власть совершенно не считается ни с интересами хозяйства страны, ни с нуждами ее населения. Происходит колоссальная растрата сил и средств народных. Тем острее встает вопрос: для чего всё это делается? Какие задачи ставит перед собою власть?

Та же самая советская печать дает достаточно материала для ответа: проведение хрущевской операции над деревней оказалось необходимым, потому что старая система мелких колхозов с «обособленными звеньями», как основной ячейкой организации в них рабочей силы, оказалась недостаточной, чтобы держать в повиновении деревню. Загнанная в колхозы, советская деревня осталась внутренне враждебной и колхозной системе, и советскому строю. Она сумела приспособиться к новым порядкам, — и, найдя в них слабые места, начала

подчинять своему влиянию низовые органы аппарата управления. Говоря старыми словами Ленина, «мужик» еще раз сделал попытку «регульнуть советскую власть», — и, «тихой сапой» подойдя к командным позициям этой власти, начал оказывать на нее вредное влияние. В работе этого аппарата стали уже наблюдаться перебои, — даже в самой чувствительной его части: в области зернозаготовок.

Именно это вызвало необходимость изменений в политике. Но в отличие от времен Ленина, на наступление «мужика» советская власть ответила не уступками и поисками компромисса, не новым НЭП'ом, — а решительным контр-ударом, большой стратегической задачей которого является уничтожение главных опорных баз противника.

Своим основным врагом в деревне большевизм эпохи Сталина считает индивидуалистическую душу крестьянина, — и основной своей задачей ставит переделку этой души. Но переделка эта — дело большое и сложное, скоро его не сделаешь. Политика Андреева опиралась на веру в возможность обеспечить хотя бы временный нейтралитет крестьянина, дав ему возможность в некоторых пределах увеличивать свой личный заработок в рамках колхоза. В послевоенные годы эта попытка, по оценке самих большевиков, потерпела крах: заняв предоставленные ему позиции, крестьянин-колхозник не примирился с режимом, а начал наступление на него. Новая колхозная политика советской власти говорит, что она окончательно отказывается от надежды на компромисс с этой индивидуалистической душой крестьянина. Ей объявлена беспощадная борьба, — борьба не на жизнь, а на смерть.

Вчера советская власть, дав крестьянину возможность в индивидуальном порядке увеличивать размеры своего дохода, давала ему возможность оставаться к р е с т ь я н и н о м, — хотя и загнанным в колхоз, но выполняющим весь круг крестьянских работ. «Обособленные звенья» были настолько малы по размерам, что не давали возможности проводить внутри них сколько-нибудь значительное разделение труда. Они были сотрудничеством крестьян, — формой простой кооперации, без разделения труда.

Внутренняя организация рабочей силы укрупненного колхоза теперь перестраивается на базе укрупненных же бригад, построенных по производственному принципу и достаточно больших по своим размерам, чтобы последовательно проводить принцип не простой, а сложной кооперации, специализируя

каждого работника на выполнении определенной функции в производственном процессе. Со старым крестьянином, как экономической категорией, хрущевские реформы собираются окончательно покончить. На его место должны притти сельско-хозяйственные рабочие различных специальностей. Где-то в идеологических канцеляриях Сталина, очевидно, уже заготовляются тексты его ближайшей речи, где будет объявлено о новом историческом событии, — о ликвидации извечного «противоречия между городом и деревней».

Но и к этому новому типу рабочего, который должен заместить крестьянина, у руководителей советской политики доверия нет, — и на место прежних цепей они куют для этого нового «мужика» цепи новые, еще более тяжелые.

Вся советская власть вообще держится на аппарате большевистской партии, которая в советском государстве, как целом, играет роль коллективного собственника. Этот аппарат сверху до-низу проникает всё советское государство, не только выделяя из своей среды все органы власти (как государственной, так и хозяйственной), но и неустанно контролируя их, следя за каждым их шагом, выправляя те их меры, которые ему кажутся ошибочными. Всё функционирование аппарата советского государства построено на этом симбиозе партии с государством.

Самым слабым звеном в этой машине всегда была деревня. ВКП(б.), как бы многочисленна она ни была, в деревне никогда большого успеха не имела, прочных корней там пустить не могла. За годы войны ВКП(б.) потеряла много членов, — и для восполнения этих потерь установила льготный прием новых членов. Но как ни велико было число этих новобранцев, восстановить потерь они не смогли, — особенно потому, что качественно они не стояли на прежнем уровне. Особенно это сказывалось в деревне, где именно новобранцы были слабым звеном правительственной цепи, легче других подпадавшим под влияние окружающей крестьянской стихии. Сделать действительными все новые реформы советская власть надеется прежде всего и больше всего путем усиления партийного контроля над деревней.

Эта задача поставлена, как первоочередная, — и над ее реализацией ведется неустанная работа, уже давшая заметные результаты. Так, в Московской области, относительно которой мы располагаем лучшими данными, до «укрупнения» колхозов низовые организации ВКП(б.) имелись только в 20%

колхозов («Моск. Правда» от 16 сент.). Из каждых 5 колхозов в среднем 4 оставались, с точки зрения большевиков, беспризорными. Конечно, общая коммунистическая пропаганда проникала и в такие колхозы: там ее вели соответствующие территориальные органы партии, но внутреннего контроля над колхозами такие территориальные организации осуществлять по правилам не могли. Во внутреннюю жизнь колхоза, как хозяйственной единицы, — а тем более непосредственно в производственный процесс, — они вмешиваться не имели права. Конечно, еще менее имели возможность такие территориальные организации ВКП(б.) проникать в основные производственные ячейки колхозов, — в «обособленные звенья». В результате почти весь производственный процесс в сельском хозяйстве ускользал от хозяйского контроля партии.

Теперь ВКП(б.) ударной задачей сделала овладение деревнею и требует создания низовых ячеек партии во всех без исключения колхозах. Только «укрупнение» сделало эту задачу осуществимой, — и в настоящее время в «передовых» своих областях коммунисты уже приближаются к этой цели. В Мытищенском, напр., районе, где раньше парторганизации имелись только в 38% колхозов, теперь уже нет колхоза без комячейки, — и по своим размерам эти ячейки стали много более значительными («Моск. Правда» от 22 окт.). К такому же «идеалу» приближаются и другие районы Московской области. Нет сомнения, что в этом же направлении идет развитие и в других областях страны. Сеть парторганизаций всё плотнее оплетает всю деревню, проникает в нее всё глубже. На очередь поставлена задача создания партийных групп и в «укрупненных» производственных бригадах.

Это ведет к весьма важным последствиям: низовая коммунистическая группа в колхозе имеет право принимать участие во всем процессе организации производства. Результатом будет ликвидация последней тени крестьянского самоуправления, которое кое-где еще сохранилось в деревне... Хозяйский глаз и полицейская рука ВКП(б.) добираются до самых глухих закоулков народной жизни, — до самых глубин производственного процесса советской деревни.

До каких граней собирается дойти партия в своем надзоре за деревней, видно по мелочам, которые порою проскальзывают в местную печать: на полях колхоза «Память Ильича» производственная бригада с помощью картофелекопателя убирает картофель; за машиной идут уборщицы, которые подбирают

картошку, — а следом за ними надсмотрщицы от партячейки, которые наблюдают, сколько картофелин пропустила та или иная уборщица («Моск. Пр.» от 22 окт.):

Подобного рода наблюдение, конечно, повышает «эффективность» работы сборщиц, — но в то же время создает столь значительный слой партийно-полицейской бюрократии, мертвым грузом лежащей на народном хозяйстве, что положительные стороны технической рационализации (даже в тех случаях, когда они действительно существуют) сходят на-нет или даже превращаются в свою противоположность. Но для правящей партии эти соображения имеют третьестепенное значение. Важно лишь одно: при помощи этого аппарата она будет держать деревню в железных рукавицах.

Конечно, надзор партийных организаций за сборщицами картофеля, даже для советской практики, является, повидимому, «перегибом». Это, говоря старыми словами Щедрина, результат «административного восторга», охватившего коммунистических новобранцев. Но сама возможность проявления этого восторга в таких формах свидетельствует о том, какой уровень этой практики устанавливается в советской деревне.

Этот же партийный аппарат в деревне необходим и для поддержания в повиновении аппарата официального, советского. Опыт показал, что в местностях, где нет постоянного коммунистического контроля, советский аппарат быстро подпадает под влияние «окружающей крестьянской стихии» и, говоря языком советских передовиц, «морально разлагается». Можно присылать в деревню каких угодно надежных героев войны и назначать их колхозными диктаторами с широкими полномочиями, делу это мало поможет: если за ними нет постоянного бдительного надзора партячеек, на них «партия» никогда не может полагаться. Только регулярно функционирующий и проникающий до самых низов деревни партийный аппарат, — который, в свою очередь, сам находится под бдительным контролем сверху, — дает максимум возможных гарантий и своей собственной устойчивости, и послушной работы исполнительных органов аппарата советского, и бесперебойного функционирования аппарата хозяйственного, — таков основной принцип, которым руководствуется Политбюро и в соответствии с этим перестраивает деревню.

В этом большой смысл новой политики большевиков в отношении деревни, — политики, ориентированной на «укрупнение» колхозов. И опыт военного времени, и практика после-

военных лет показали им, что деревня, даже загнанная в колхозы, продолжает оставаться им враждебной, — и сохранит, по их оценке, это свое отношение, пока производственный процесс в деревне будет сохранять элементы частно-хозяйственных отношений. Из этих оценок руководители советской политики, со свойственной им последовательностью, сделали практические выводы: они решили уничтожить остатки индивидуального крестьянского хозяйства. Крестьянин, как производственная категория, должен исчезнуть с лица «земли советской».

Такова большая стратегическая задача, поставленная советским правительством. Но ни характер, ни размеры этой задачи еще не объясняют **темпов** ее реализации. А эти темпы крайне важны для понимания того, что происходит сегодня в советской деревне. Поход на деревню во имя «укрупнения» колхозов принимает размеры подлинного геологического катаклизма. За принудительными мерами по «укрупнению» колхозного хозяйства советская власть перешла к мерам полицейского характера по ликвидации мелких деревень и поселков и к принудительному переселению крестьян в новосоздаваемые «единые колхозные центры». Раньше, каждый маленький поселок, как правило, имел свой колхоз. «Укрупненные» колхозы объединяют крестьян из 3-5 поселков (иногда число их доходит до 12-15, — в особенности это относится к под-московным деревням). С самого начала шла речь о том, что для каждого «укрупненного» колхоза необходим свой колхозный центр, куда желательно сселить всех участников этого колхоза. Но прежде казалось, что эту болезненную операцию над деревней произведут не сразу, а постепенно, в течении ряда лет. Эти надежды не оправдались. События в деревне развертываются с поистине катастрофической быстротой. Передовая статья «Известий» от 22 ноября содержит следующие строки:

> «Задача местных советов и их сельско-хозяйственных органов, правлений колхозов, состоит в том, чтобы в зимнее время провести всю подготовительную работу к сселению мелких деревень, — с тем, чтобы с наступлением весны развернуть широкое строительство и благоустройство в новых хозяйственных центрах укрупненных колхозов».

Написанная в высшей степени авторитетных тонах, эта статья «Известий», несомненно, является директивной и опирается на новые решения, принятые соответствующими инстанциями ВКП(б.) и советского правительства, — а из нее

следует, что принудительное сселение крестьян в новые колхозные центры должно быть проведено в ближайшие же месяцы и что подготовительные к нему мероприятия уже начаты. Тем важнее понять размеры этой операции.

По официальной советской статистике в 1938 г. во всем СССР числилось около 19 миллионов хозяйств отдельных колхозников. Этой цифре приблизительно соответствовало количество их домов. После 1938 г. произошло много перемен: с одной стороны, сильно увеличилась территория СССР в соответствии с чем возросло количество хозяйств колхозников; с другой, весьма значительное количество крестьянских домов погибло во время немецкой оккупации и с того времени не восстановлено. В виду этого дать точную цифру домов колхозников в настоящее время трудно, но мы едва ли сильно ошибемся, если примем ее равной приблизительно 20 миллионам. «Укрупнение», как мы видели, производится в пропорции создания одного «укрупненного» колхоза на месте прежних 3-5 колхозов старых. Так как новые центры создаются, естественно, как правило, в наиболее крупных поселениях, то пропорция переселяемых колхозников будет ниже пропорции сливаемых колхозов. Тем не менее общее число подлежащих переселению колхозников-домохозяев будет во всяком случае не меньше 10 миллионов. Иными словами: должно быть снесено не меньше 10 миллионов крестьянских изб со всеми надворными постройками, должно быть ликвидировано не менее 10 миллионов налаженных огородных участков, большое количество садов и пр. Переселяемым обещают, что каждый из них на новом месте получит особый новый домик со всеми удобствами, участок для своего огородика, надворные постройки для своего скота и птицы и т. д. ... Все это должно быть проделано в течении ближайших месяцев!

Все это, конечно, простое «втирание очков». Разрушить 10 миллионов крестьянских изб большевики смогут, но осуществление подобной грандиозной операции строительства в столь короткий срок было бы не под силу любому хозяйственному организму мира, — даже мощному аппарату Соединенных Штатов Америки. Тем более оно не под силу хозяйству советскому, — которое до сих пор не смогло еще залатать прорех причиненных крестьянскому хозяйству за годы войны. Еще до сих пор многие сотни тысяч, — если не миллионы, — крестьянских семей ютятся по землянкам и временным, наспех сколоченным баракам. А общее количество разрушенных немцами крестьянских изб едва ли превышало треть того количе-

ства, которое должно быть снесено во время весеннего переселения. Советская пресса может писать сколько ей угодно о превосходных новых домиках-котеджах, которые должен получить каждый переселяемый колхозник. В жизни такие домики, если и будут построены, то лишь в нескольких показательных поселках, куда будут возить знатных иностранцев. Для огромной массы переселяемых колхозников эта операция принудительного сселения означает на практике переселение из хотя бы плохого, но во всяком случае отдельного собственного домика («незыблемые права» на который за ним, — кстати сказать, — были закреплены «сталинским» колхозным уставом!) в общие колхозные бараки, которые по своим качествам мало чем будут отличаться от бараков концлагерных. Ничего другого советская власть, даже если бы она и хотела, построить не может.

С тем бóльшей остротой встает вопрос: зачем же, — с какой целью, — вся эта операция проводится в таких бешеных темпах?

Ответа на этот вопрос мы не найдем, если мы не будем знать, что вся вообще политика советского правительства за все послевоенные годы является ничем иным, как тотальной подготовкой к тотальной войне против Запада. И политика в отношении деревни не является исключением: проводя ее, советское правительство спешно создает такие отношения в своем глубоком тылу, какие ему кажутся наиболее выгодными для тяжелых испытаний военного времени.

Это указание может показаться невероятным. Элементарно ясно, что принудительное переселение миллионов колхозных семейств из собственных домов в плохие бараки не может иметь последствием улучшение отношения этих миллионов и всего колхозного крестьянства вообще к советской власти. Поэтому, казалось бы, простая политическая логика должна была требовать от большевиков отказа от проведения этой политики, которая как раз накануне надвигающейся войны должна вызвать ухудшение отношений с колхозным крестьянством. С этой точки зрения может показаться, что во главе советского правительства стоят люди, которые потеряли головы и проводят вредительскую (с их точки зрения) политику.

Но такой способ рассуждений методологически неправилен. Руководители советского правительства дали достаточно доказательств того, что они являются дальновидным политиками, достаточно хорошо разбирающимися в том, что выгодно для них и что невыгодно. Они превосходно понимают и ту

реакцию, которую их политика «укрупнения» и «принудительного сселения» вызовет в крестьянских массах. Они знают, что «сселенный» в колхозные бараки крестьянин будет много более враждебен советской власти, чем тот же крестьянин до принудительного сселения. И вопрос должен быть поставлен так: почему большевики, ставя во главу угла задачу подготовки к войне и превосходно понимая, что их политика в деревне неизбежно вызовет крайнее увеличение раздражения деревни против них, все же считают для себя более выгодным в самом спешном порядке провести эту ломку деревни? Ответ на этот вопрос может быть только один: потому что, по оценке большевиков, все опасности, порождаемые этой политикой, менее опасны, чем те, которые их ждут в случае, если они откажутся от проведения этой политики.

К надвигающейся войне, которую оно само всячески развязывает, советское правительство готовится, как к длительной войне, в которой все будет поставлено на карту. Наиболее опасным для себя оно считает развал своего собственного тыла, а в этом тылу наиболее слабым пунктом считает крестьянство. Что бы ни говорила советская пресса, дела советского правительства ясно показывают, что оно не строит никаких иллюзий относительно отношения к себе крестьянства. Учтя опыт военных и после-военных лет, это правительство рассматривает деревню, как своего потенциального врага, которого невозможно превратить в друга, а можно только поставить в условия, когда он, этот враг, будет лишен возможности вредить. Живущий в собственном доме в небольшом поселке крестьянин-колхозник ускользает из-под контроля коммунистов. Если теперь этого нет, то во время войны, при неизбежном тогда ослаблении правительственного и партийного аппарата каждая крестьянская изба **может** стать опорным пунктом враждебной правительству концентрации сил. Обеспечить возможность наиболее полного и наиболее легкого контроля над крестьянином, такова первостепенная по важности задача. Именно ее поставило перед собою советское правительство, — во имя именно ее оно проводит теперь принудительное сселение крестьян в новые единые колхозные центры.

Б. Николаевский

М. О. ЦЕТЛИН

Однажды, в конце 1920-ых годов, поздно вечером, мы медленно шли с Михаилом Осиповичем по одной из тенистых, широких, благоухающих весной улиц Отэй и говорили о словах и их значении, о «стертых» словах, о «вновь оживленных», о словах забытых, «заезженных», утерявших свое значение (на время, или уже навсегда), о словах, которые неловко произносить (как, например, слово «дивный»); Михаил Осипович, который в те годы не раз наталкивал меня на французскую культуру, литературу, язык, выразил мысль, что русский язык имеет способность изнашивать слова, как ни один другой.

— По-французски всё можно сказать: нет слов, которые бы вызывали не те представления, для которых они созданы. Каждое слово, значит только то, что значит, не тянет за собой ни слишком расплывчатых, ни слишком литературных, ни слишком личных ассоциаций, — сказал он, — важно лишь, в каком порядке они стоят. Валери не побоится слов, употребленных до него Сюлли-Прюдомом. Он только выразит ими другое, совсем обратное. У нас же слова, сказанные Надсоном, слова Северянина, стали невозможны. Выражения «честно мыслить» или «красиво жить», кроме улыбки, ничего не вызывают, а вместе с тем, если вдуматься, то честно мыслить — совсем не плохо, и право лучше жить красиво, чем некрасиво.

— Придет гений, — сказала я, — и всё перевернет: все слова зацветут, прежние «улыбки» забудутся и люди почувствуют себя, как в первый день творенья.

— Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich, wie am ersten Tag!

— ответил он. — А пока что — ни в стихах, ни в прозе вы не посмеете сказать ни про кого «он был аристократ в душе».

— А вот когда-нибудь возьму да и скажу! — засмеялась я. И в ту же минуту мне представилось, что если я когда-нибудь встречала «аристократа в душе», то это был именно он.

Мы встретились с ним, когда ему уже было за сорок и мне, при моей тогдашней молодости, он казался пожилым человеком, — с лучистыми, светлыми глазами, седеющими, полудлин-

ными волосами и правильным, несколько мягким лицом. Речь его была тиха и медлительна, облик задумчив. Теперь, спустя долгие годы, он живет в моей памяти либо с открытой книгой в руке, либо склоненный над рукописями, либо с именем Новалиса, Бодлера, Блока на устах. Он говорил немного, любил хорошо слушать и жил в области им любимой и единственно для него реальной — области поэзии, музыки и живописи.

Его заграничная жизнь началась с того, что он стал редактором-издателем сборников «Окно» («окно в Европу»), но после трех выпусков прекратил издание, т. к. его друзья из «Совр. Зап.» считали, что «Окно» является конкурирующим с «Совр. Зап.» органом, на тесном эмигрантском книжном рынке. В «Совр. Записках» он стал редактором стихотворного отдела, и оставался им до конца — т. е. до последнего, 70-го, номера журнала.

Когда я впервые увидела его, я знала, что он поэт, пишущий лирические стихи и поэму о декабристах, о которых он «всё знает», что только можно знать. Декабристами Михаил Осипович занимался всю первую (бóльшую) половину своей жизни, им посвящена его поэма, которую он писал очень долго и которая была издана в 1939 году. Декабристам же посвящена его большая работа, книга, вышедшая в 1939 году («Судьба одного поколения») — одна из замечательных книг, написанных в эмиграции. После нее он приступил к собиранию материалов по истории «могучей кучки».

Помню, он лежал больной, в своей квартире, на улице Николо, когда я пришла навестить его; на одеяле лежало несколько книг, на тумбочке — другие. Это было тотчас после выхода моего «Бородина», года полтора после выхода «Чайковского».

— Мы встретились с вами в теме, — сказал он. — Ваши знакомые стали моими знакомыми.

Мы стали говорить о Бородине, Кюи, Стасове, об отношениях «Моденьки» и «Петра Ильича», обо всем, что было так интересно обоим и что оба хорошо знали.

— Мой больше вашего! — восклицал он с довольной улыбкой, намекая на величие Мусоргского по сравнению с Чайковским.

— Конечно, больше, — отвечала я, — но с вашим в жизни никаких приключений не приключалось.

— И никаких случаев не случалось, — вторил Михаил

Осипович со смехом, — или почти... Тем труднее, тем труднее будет писать о нем!

Очень часто тон наших разговоров был шуточный, но однажды я едва не рассердила его (что было очень трудно). Это было по поводу декабристов. Мы сидели с ним в кафе Мюрат, около Булонского леса, и говорили о Некрасове. Он, конечно, очень любил «Русских женщин».

— Михаил Осипович, — сказала я вдруг, давая волю своей нелюбви к Некрасову, — а ведь женщины-то были французские!

Он нахмурился.

— Анненкова и Трубецкая. И Камилла Ивашева. Одна только Волконская — русская была.

Он был недоволен, ничего не ответил и перевел разговор.

Его книга о музыкантах, «Пятеро», вышла уже в Соединенных Штатах, в 1941 г., и в Европу дошла после войны. Это одна из тех редких книг, которую можно брать с полки и вновь и вновь, раскрывая ее наугад, находить в ней новое. В России, когда-нибудь, она окажется необходимой каждому читающему человеку.

В поэзии, иностранной и русской, он был большим знатоком. В его квартире, в круглой гостиной и в тоже круглой библиотеке, стояли на полках первые издания Блока, Белого, Гиппиус, Бальмонта, частично — с авторскими надписями, некоторые — в переплетах, сделанных со вкусом и любовью. Многое из того времени я впервые держала в руках именно здесь. Михаил Осипович современной поэзией интересовался без предвзятости и в 30-ых годах умел ценить и Поплавского, и Сельвинского, с большим вниманием относясь ко всему «молодому» и «новому», не ища в поэзии других только того, что похоже на него, наоборот, любя иногда совершенно ему далекое. Рядом с Ходасевичем, которого он очень любил, было в его сердце место и для Цветаевой.

Сам он выпустил пять сборников стихов (шестой должен был выйти, но война помешала этому). Первый вышел в 1906 году и был уничтожен цензурой, «Лирика» вышла в Париже, в 1912 году, «Глухие слова» — в изд. «Зерна» — в 1916 г., «Прозрачные тени» — в Париже, в 1920 г. и «Кровь на снегу» — в 1939 г. Несмотря на то, что он не стал большим поэтом, можно встретить в его стихах строфы большой ясности, простоты, прелести, а общий строй этой поэзии (как и строй души

самого Михаила Осиповича) связан более с духом начала XIX века, чем с началом «смутного» века XX-го.

Современность воспринимал он, как некое возвращение истории, в котором, быть может, ему было меньше места, чем в бывшем прежде. Одно из наиболее удачных его стихотворений называется «Цицерон»:

Он с обреченными связал свою судьбу.
Он близких к гибели и слабых на борьбу
Звал за бессильные и дряхлые законы.
Но с триумвирами — и рок, и легионы,
Но императорских побед ден взлет орлов,
А у Сената что? Запас красивых слов!

Здесь чувствуется именно это «возвращение истории» и близость поэта к первому явлению ее. От этого в характере его больше было склонности к «слову», чем к «делу», хотя, любуясь Сезанном, он однажды и сказал:

И в корне мира — Дело, а не Слово.

Именно «слово» и всё, с ним связанное, было в центре его внимания, было темой главнейших его бесед и многих его стихотворений. «Слово дней ушедших» — было для него, может быть, дороже всего в жизни.

Душой я не с вами, не с вами!

— читаем мы в одном его стихотворении, и в другом:

А сердце мое трепетало и билось
От счастья, что в жизни не сбылось,
И может быть, было, но после забылось,
И может быть — только приснилось.

Его квартира в Париже, была одним из мест собраний и встреч писателей и поэтов, между 1919 и 1939 г.г. Я уже не застала здесь ни Ал. Н. Толстого, ни И. Эренбурга, ни Б. Савинкова, но здесь впервые увидела я и услышала голос Д. С. Мережковского, увидела И. А. Бунина. Здесь «молодые» и «старые» встречались в атмосфере культуры — в прежнем значении этого слова, заключающем и преемственность идей, и их развитие, и движение вперед, и высокий уровень интересов, и понимание основ, общих для всех; здесь начальное "la" всем разговорам давал хозяин дома, сдержанный, расположенный

ко всем, один из последних из той категории людей, которая на наших глазах уходит.

Недоброжелательных отзывов его о ком-нибудь я не помню. Конечно, они были, но, вероятно, они были бледны, расплывчаты и потому не запомнились. Несколько метких замечаний его о книгах и людях помню. Однажды он сказал о двух писателях-прозаиках, известных в эмиграции и бывших его друзьями:

— Я понимаю, что X много читают, что все его знают, что он хорошо пишет и слава его заслужена, но мне кажется, что Y — у которого и слава меньше, и книги не так умны, и вообще — диапазон совсем иной, обладает чем-то, чего у X нет и быть не может, о чем он даже не подозревает. В конце концов, каждый образованный человек, если постарается, может написать не хуже X. А вот как Y — никто не может, хоть он и не большой писатель.

...Милые книги, которыми я так часто любовалась, были взяты во время оккупации и увезены, разграблены, погублены. Милый дом населен уже другими, чужими людьми. Милый Михаил Осипович, в далекой от Парижа земле, болел, умер. Перед смертью мы вновь «совпали» с ним в теме: он читал книги по истории символизма, готовясь написать о нем книгу. В это самое время я подготовляла к печати «Александра Блока и его время».

Тихие улицы Отэй до сих пор хранят о нем память для меня, и когда проходишь по ним и по улочкам Пасси, кажется: вот за тем углом появится его фигура, черная шляпа, палка, медленная походка. Он идет из русского книжного магазина «Родник» в редакцию, на улицу Винез, или возвращается к себе, купив у Мюэтт вечерние газеты. Он вспоминается уже не совсем таким, каким был: волосы его длинны, шляпа — широкопола, на нем не пальто, но крылатка, и весь он уже — не наш, но иного, с в о е г о времени, такой, каким был в глубине своего «я», больше связанный с Новалисом, чем с Верхарном. Пройдет еще время, и он исчезнет, даже и такой. Останется автор двух прекрасных книг и пяти сборников полузабытых стихов — М. О. Цетлин.

Н. Берберова.

1950. Париж.

ПАМЯТИ А. В. ЖЕКУЛИНОЙ

«Деятельность русского общества на поприще народного образования в лице земских и городских деятелей и частной инициативы почти не освещена в литературе. А между тем эта деятельность была одной из светлых страниц истории русской культуры. В ней особенно характерно было то участие, которое принимало в ней общество, тот энтузиазм, которым она была проникнута и которым горели люди, работавшие на этом поприще; та вера в дело просвещения, которой они были полны, и та энергия, и то упорство в достижении намеченных целей, которые они проявляли в работе».

Этими словами начинает О. В. Берви-Кайданова свои «Очерки по истории народного образования», написанные ею уже в годы изгнания из России, и этими же словами мне хочется начать страничку моих воспоминаний об Аделаиде Владимировне Жекулиной, ибо имя ее неразрывно связано с той эпохой и с той деятельностью, о которых говорит Кайданова. Оно стоит в первых рядах имен тех русских людей, которые в последней четверти прошлого столетия и в первой четверти текущего воспринимали служение родине и ближнему не только как долг, но и как великую радость, которые умели хотеть и делать, причем делание свое всегда подчиняли не личным, а общественным интересам.

25 февраля 1950 года А. В. Жекулиной не стало. Она скончалась в Брюсселе, 84-х лет от роду.

Ни о ком не вспоминается так тепло, так радостно, легко и весело, как о «Бабушке Жекулиной», несмотря на весь трагизм жизней ее поколения, и несмотря на всю боль ее недавней утраты.

Мать девяти детей, многократная бабушка и прабабушка, она в свои 84 года была ближе и доступнее для детей и окружавшей ее молодежи, чем их собственные родители и уж, конечно, другие представители старших поколений. Она была всегда самая молодая в кругу даже собственной семьи и ее маленькая, энергичная рука, умевшая так твердо вести других никогда не ложилась бременем на плечи и волю водимых, а

всегда ощущалась как опора и помощь. Редкое и исключительное сочетание блестящего и практического ума и неиссякаемой энергии с очаровательным по легкости и веселью характером — и всё это пронизанное любовью к детям и молодежи, бодрящей терпимостью к их «грехам» и полной отдачей себя этому вечному «будущему».

Она любила жизнь во всех ее проявлениях, никогда не пугаясь ее темных сторон, которые своим ясным и трезвым умом всегда видела; она всегда принимала бой с этой самой жизнью, когда нужно было защитить слабого и беспомощного. Ее неутомимая действенность и неизменная отзывчивость не имели ничего общего с той сентиментальной чувствительностью, которую так часто называют добротой, или тем слепым оптимизмом, который верит только потому, что не хочет знать. Она знала, видела и понимала жизнь, и несмотря на это, а вернее — именно поэтому, всегда шла в самую ее гущу и всегда знала, где и как и кому облегчить ее тяготу.

Жизнь она прожила длинную, и список тех дел, которыми она ее заполнила, так велик, что я не буду пытаться его здесь исчерпать, укажу лишь на главное.

Она имела счастье родиться в такую эпоху русской жизни, когда атмосфера последней была пропитана тем энтузиазмом, о котором говорит О. В. Кайданова, а дел, к которым можно было приложить свою энергию, был непочатый край. И она избрала, для приложения своей юной энергии, именно ту область общественной жизни, которая была особенно близка сердцу молодой женщины и матери и вместе с тем особенно нуждалась в оживляющем воздействии частной и общественной инициативы, — область народного образования.

Дитя той средней полосы России, природу которой так ярко и поэтично описал Тургенев в своих «Записках охотника», она с детства впитала в себя тот непосредственный, естественный демократизм, который вытекал не из отвлеченных теорий философов и политических деятелей, а из благородных и великодушных чувств людей, умевших вкладывать и в несовершенные формы жизни дух подлинной гуманности, вдохновлявший девятнадцатый век.

Детство, молодость и тринадцать лет своей замужней жизни Аделаида Владимировна прожила в деревне, в Суджанском уезде Курской губернии. Детство протекало в обычной деревенской обстановке того времени, среди крестьянских детей, среди всего того приволья, которое было возможно на рус-

ском черноземе в 70-х годах прошлого столетия. Юность уже потребовала школы, ее стали привозить по зимам в Петербург, где она кончила гимназию, а 17-ти лет она уже вышла замуж. Муж ее, Сергей Иванович Жекулин, был землевладельцем и земским деятелем того же Суджанского уезда, где жила и родня Аделаиды Владимировны, Евреиновы и Полторацкие, и дальнейшее ее развитие складывалось под влиянием той культурной земской среды, яркими представителями которой эти семьи являлись.

К этой же группе земских деятелей того же Суджанского уезда нужно присоединить и имя другого сверстника Аделаиды Владимировны, имя князя Петра Дмитриевича Долгорукого. Это тем более уместно, что сотрудничество их продолжалось всю жизнь — и в России, и в изгнании, сосредоточившись в этом втором периоде на заботе о русских детях. Советское НКВД решило, что эти заботы подрывают устойчивость его власти: в 1945 году оно арестовало 80-тилетнего Петра Дмитриевича в Праге и увезло его «в неизвестном направлении», после чего он бесследно исчез. Так дописываются в наше время биографии тех людей, высокий душевный и культурный строй которых оказывается непереносным в атмосфере того общественного смрада, который один признается достойным «нового» человека в России.

Первым делом молодой четы Жекулиных была постройка школы в их имении, и в этой же школе Аделаида Владимировна впервые пробовала свои силы как преподавательница, втягиваясь постепенно в свое любимое дело. Только овдовев и оставшись с девятью человеками детей на руках, переселяется Аделаида Владимировна в Киев, с которым впредь и связывается ее жизнь и деятельность.

Всякий киевлянин нашего времени еще помнит «Жекулинскую гимназию», которая теперь называется безличным именем «девятилетки» и числится под каким-нибудь номером. «Гимназия» эта, ко времени захвата ее большевиками, являлась сложным комплексом воспитательно-просветительных учреждений, выросшим постепенно: в 1902 году была открыта начальная школа второго разряда с совместным обучением; в 1905 году эта школа развернулась в две гимназии — женскую, «Жекулинскую», и мужскую, руководимую известным киевским педагогом, Владимиром Павловичем Науменко. В том же 1905 году были учреждены при гимназии высшие женские курсы с отделениями естественно-математическим и

историко-филологическим, а в 1910 году открылось педагогическое отделение для подготовки учительниц дошкольного воспитания и учительниц высших начальных училищ. При этих курсах были открыты высшее начальное училище и народный детский сад. Круг был таким образом завершен и все образовательные ступени связаны между собой.

В 1912 году для всех этих учреждений строится, с помощью Киевской Городской Думы, собственное пятиэтажное здание и в 1919 году, ко времени большевистского разгрома, гимназия насчитывала 450 учениц, а детский сад более 100 детей.

Но как ни обширна была эта деятельность, она не поглощала полностью энергию А. В. Последние годы перед войной она принимала деятельное участие в общественно-педагогической работе Украины, устраивала выставки, читала лекции, выступала с докладами на съездах и т. д. По ее инициативе было создано Педагогическое Общество и она мечтала об издании педагогического журнала и об организации мастерских для изготовления школьных пособий.

Когда грянула война, А. В. стала во главе госпиталя на 500 человек, организованного профессорами и слушательницами Высших Женских Курсов, а когда Киев наводнили беженцы, она открыла несколько школ и мастерских для их детей. Всегда дети в первую очередь...

В 1919 году ей пришлось бежать из Киева, занятого большевиками, которые расстреляли ее младшего сына, студента. Ей было к этому времени 53 года.

Весь последующий, эмигрантский период наших жизней мне лично пришлось прожить в теснейшем сожительстве и сотрудничестве с А. В.

Немедленно же, с первой минуты своей высадки в Константинополе в марте 1920 года, эта женщина, только что пережившая полный разгром своей личной и общественной жизни, начинает заботиться о детях той огромной человеческой лавины, которая называлась русским беженством. Она неутомимо создает детские сады, начальные школы и гимназии, умея найти для этого необходимые средства и умея сплотить нужных людей. Одна из этих гимназий, с 600 учащимися и учащими, была затем перевезена в Чехословакию и водворена в Моравской Тшебове. Другая, вместе с агрономической школой, переселилась из Константинополя в Болгарию.

С 1922 года А. В. поселилась в Праге. Она вновь создала

там русские детские сады, из которых один еще до сих пор существует. Организовала Педагогическое Бюро, в котором сосредоточивались сведения о педагогической деятельности русской эмиграции во всех странах ее рассеяния и которое издавало свои бюллетени, объединяя таким образом эту деятельность. Она поддерживала живую связь и с европейской и американской педагогической мыслью, выезжая на всевозможные съезды, посвященные воспитательным вопросам, и вела на них пропаганду русской культуры, собирая средства и находя поддержку для создаваемых русской эмиграцией просветительных начинаний. А главное, всегда главное — забота о благополучии «своих» детей. Так много юных жизней прошло через ее руки, что вся наша эмиграция звала ее «Бабушкой».

Она побывала и в США в 1924-25 годах, по приглашению нью-йоркского Общества помощи русским детям за рубежом. Она читала здесь лекции о положении русских детей и студентов, читала их в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Виргинии. Сама прослушала шестинедельный курс лекций в учительском институте при Колумбийском университете, в отделении детских садов (а ей было тогда почти 60 лет!), и посещала школы средние и начальные, обращая особое внимание на постановку детских садов.

К сожалению, никакой перечень дел не может передать яркости и теплоты живой личности. В том, ч т о мы делаем, самое важное то, к а к мы это делаем, ибо плохое «как» отравляет и портит подчас наши самые лучшие намерения. А. В. обладала как раз редким умением объединять людей вокруг любимого ею дела, вдохновлять их и побуждать к личному творчеству в организованном сотрудничестве — редчайшее свойство настоящих строителей, бескорыстно преданных общему делу.

Есть еще одна черта в жизни А. В., которая особенно интересна нам, женщинам. Обычно, и не без основания, считается, что семейная женщина может участвовать в общественной работе лишь в ущерб своей семье, так же, впрочем, как и зарабатывать свою жизнь каким-либо ремеслом, отрывающим ее от дома. И в этом часто трагизм женской жизни, борьба между призванием и долгом: или твоя семья заброшена, или ты никчемный работник.

У Аделаиды Владимировны этого конфликта не произошло. Напротив, ее собственная многочисленная семья стала как бы базой для еще большей семьи детей, подростков и юношей которые ютились около нее, превращаясь также в «своих»

детей. И мне всегда казалось, что именно потому, что ее личная жизнь была так полна в прошлом, что она была такой щедрой и страстной матерью, поэтому то она и стала таким любвеобильным педагогом и таким мудрым водителем в общественных делах.

Теперь эта жизнь оборвалась. За два месяца до ее смерти обстоятельства вынудили ее покинуть Прагу, в которой она прожила почти 30 лет.

До самого последнего дня ее мысли были поглощены заботами о других, о тех, кто остался в Праге, о малых и старых, о тех, кто всегда беззащитен против жестоких ударов судьбы — и она писала во все концы света, всем своим бесчисленным друзьям, ища для этих обездоленных поддержки и помощи. Она негодовала на законы Бельгии, которые лишали ее, иностранку, права на труд, когда она еще могла давать уроки и зарабатывать. И когда грипп, которым она заболела, осложнился воспалением легких и ослабевшее сердце еле слышно трепетало, ее последними словами было: «Меня зовут! Иду...» Она встала, пошла и... упала мертвая.

Прощайте, наша дорогая, незаменимая Бабушка!

С. В. Панина.

ПАМЯТИ М. М. ФЕДОРОВА

Мне хочется поделиться с читателями «Нового Журнала» своими воспоминаниями о Михаиле Михайловиче Федорове, скончавшемся в Париже около двух лет тому назад, 93-х лет от роду.

В эмиграции М. М. стяжал себе известность, как инициатор и организатор дела помощи неимущей русской молодежи в ее стремлении закончить свое образование. Но у этого выдающегося человека были немалые заслуги и в прежней дореволюционной его деятельности.

Я имел возможность встречаться с М. М. в продолжение многих лет — и в России, и в эмиграции. Первая моя встреча с ним относится к тому времени, когда он был председателем совета Азовско-Донского банка, с которым и я был связан. Но еще и до встречи с ним я был знаком с его деятельностью, как редактора «Торгово-Промышленной Газеты». До М. М. Федорова это был сухой и довольно таки скучный орган министерства финансов. Лицам, близким к финансовым сферам, поневоле приходилось просматривать эту огромную простыню, наполненную бесконечными цифрами и официальными распоряжениями и справками, мало кому интересными... Но вот во главе «Торгово-Промышленной Газеты» появился новый редактор — энергичный, всесторонне образованный и осведомленный во многих вопросах, и не только финансовых, — и газета мгновенно изменила свой облик. Со страниц ее, как по мановению волшебного жезла, исчезла монотонность и казенная скука. Появились солидные, а временами и замечательные, статьи не только русских экономистов разных направлений, но и интересные корреспонденции из заграницы, освещавшие те или иные вопросы экономического характера. Как новость, в газете стали печататься руководящие передовые статьи, написанные, по большей части, умелой рукой самого редактора. Одним словом, «Торгово-Промышленная Газета» превратилась в содержательный орган и стала интересной не только для ограниченного числа лиц, так или иначе прикосновенных к финансовым кругам, но и для широкой публики.

В 1905 г. граф С. Ю. Витте, хорошо разбиравшийся в людях, получив возможность создать по своему усмотрению первый «конституционный кабинет», привлек в качестве министра торговли М. М. Федорова.

Помню с каким нескрываемым разочарованием рассказывал впоследствии М. М. о первых, «медовых» неделях своего служения «новой конституционной» России, о надеждах на светлое будущее страны, о том, какие планы были созданы для быстрого развития российской торговли и промышленности... И как через три, четыре месяца, убедившись в бесплодности своих планов и надежд и поняв, как крепка еще в стране реакционная клика, не считавшаяся ни с требованиями времени, ни с интересами народа, а следовательно, и государства, — он ушел навсегда от государственной деятельности, считая, что будет больше на месте в частном предприятии.

После первой нашей встречи в каждый свой приезд в Петербург я неизменно посещал М. М. и подолгу беседовал с ним по интересовавшим нас обоих вопросам. Но вот разразилась февральская революция, а за ней последовали злосчастные октябрьские события. Мои поездки в Петербург, само собой разумеется, прекратились, и до меня стороной доходили слухи о переезде М. М. в Киев.

В конце 1919 года, когда Добровольческая армия, дойдя до Орла, стала откатываться на юг, в числе беженцев, попавших в Крым, оказался и Михаил Михайлович. Он пробирался в Европу через Константинополь и по дороге заехал на несколько дней в Феодосию. Так как в городе все гостиницы были переполнены до отказа, ему пришлось временно поселиться в помещении банка. В том же помещении жил уже в течение нескольких месяцев коллега Федорова по совету Азовского банка — Оболонский. Встреча их была очень трогательна, но, к сожалению, расстались они очень недружелюбно. Об эпизоде этом, которого я был свидетелем, я упоминаю как о весьма характерном для тогдашнего настроения двух лагерей так называемой русской буржуазной общественности.

Оболонский был человеком крайне правых убеждений и на печальные события, разразившиеся над нашей родиной, смотрел глазами неисправимого реакционера. Он попросту считал, что революция была создана искусственно. С одной, мол, стороны — немцы с помощью предателей из левого лагеря; с другой же глупая сентиментальность и мягкотелость последних царских министров. По мнению Оболонского, если бы в

самом начале февральских событий нашелся бесстрашный, энергичный человек, который без всякой жалости распорядился бы стрелять в толпу, а главное — арестовал бы сотню-две зачинщиков бунта, всех этих Родзянко, Милюковых, Львовых и им подобных — от революции остались бы «рожки да ножки»...

Возражая Оболонскому, М. М. Федоров доказывал, что до революции страну довела самоубийственная политика власти. К крайнему негодованию Оболонского он утверждал, что революцию легко было бы избежать, если бы высшая власть в свое время согласилась с требованиями Государственной Думы и пошла на уступки...

Приблизительно через год я снова встретил Михаила Михайловича, на этот раз в Севастополе. Кто-то из моих знакомых сообщил мне, что генерал Врангель вызвал его из Парижа и предложил ему пост министра финансов, но Федоров, будто бы, ответил отказом. Так ли это было — не знаю. М. М. лично об этом мне ничего не говорил.

Нашел я его на пристани, в ожидании парохода, который через несколько часов должен был отойти в Константинополь. Подробностей этой моей беседы с ним я не помню. В память врезались лишь слова: — Дела очень плохи! Еще месяц, другой... Врангелю придется уходить, если он не захочет оказаться в мышеловке.

Слова эти совершенно шли в разрез с тем, что утром того же дня говорил мне один из штабных офицеров. Тот меня уверял, что положение врангелевской армии прекрасное.

— За Перекопом мы можем безбоязненно продержаться годы, пока... большевики сами не сдадут своих позиций...

Увы! Оказался прав М. М. Федоров. Но и назначенный им срок: месяц-два — оказался слишком долгим. Не дольше как через десять дней после его отбытия из Севастополя — советская армия под водительством Фрунзе форсировала Сиваш и ворвалась в Крым. Всё было кончено.

В эмиграции я встречал М. М. Федорова в Берлине, а затем в Париже. Кажется, в 1926 году я встретил его на одной из парижских улиц. Он только-что вернулся из Праги, куда ездил по делам основанной им организации. К тому времени М. М. окончательно нашел применение своим силам и энергии в деле помощи русскому юношеству за-границей и полностью был захвачен овладевшей им идеей. Ему было тогда уже за семьдесят лет, а он с юношеским пылом говорил о перспективах отлично

задуманного плана создания фонда для постоянной и правильной помощи русским студентам.

— Понимаете, — говорил он, — наша священная обязанность — помогать русской молодежи, дать ей возможность получить за-границей высшее образование... Мы должны иметь смену. И когда большевики исчезнут, а я в этом глубоко убежден, новое поколение придет нам на смену. России очень нужны будут молодые люди, получившие образование в странах, где понятия о свободе и правах личности вошли в плоть и кровь народа.

Встречал я его еще несколько раз, но в памяти как-то особенно ясно осталась встреча с М. М. вскоре после возвращения его из Америки, куда он ездил за сбором денег для своего детища. К тому времени на попечении федоровской организации были уже не десятки студентов, а сотни. М. М. был в каком-то приподнятом настроении. Поездка в Америку дала не только приличные средства для фонда образования русских студентов, но и лично ему принесла большое моральное удовлетворение. Он с восторгом говорил о Соединенных Штатах, о чрезвычайно любезном приеме, оказанном ему американцами, о необычайном размахе деятельности и работы во всех отраслях, об американских учреждениях и американской свободе...

Многое в Америке ему напоминало родину.

— Даже люди, — сказал он, — похожи на наших русских. Та же ширь. Та же сердечность... Эх, кабы нам, хотя бы пятьдесят лет тому назад, да такую конституцию... Где бы мы, батенька, были теперь! В своей стране имели бы собственную Америку!...

Он тяжело вздохнул и, подав на прощанье руку, удалился. Я невольно посмотрел ему вслед. Старенькое поношенное пальтишко, такая же шляпа и стоптанные башмаки бросались в глаза. Вспомнились ходившие по русскому Парижу рассказы об его образе жизни. Жил он буквально на гроши и отказывал себе во всем. Ничего для себя. Всё для любимого дела.

В последний раз видел я М. М. Федорова в начале второй мировой войны — на панихиде по ком-то. Трудно было узнать его: как будто подменили человека... Куда девалась его постоянная оживленность? Его оптимизм? Надежды?... Он как-то сразу осунулся, постарел. Помню, больше всего угнетал его никем непредвиденный сговор Гитлера со Сталиным. В этом сговоре М. М. видел полную гибель цивилизации и наступление эпохи нового варварства.

О своей организации он вспомнил с болезненным вздохом отца, теряющего от неизлечимой болезни любимого сына... Я не стал расспрашивать его о подробностях, так как знал, что уже захват Чехословакии Гитлером нанес любимому детищу М. М. глубокую рану.

И всё же, несмотря на печальный конец прекрасно задуманного дела, более чем тысяче молодых людей удалось, благодаря стараниям покойного М. М. Федорова, получить высшее образование. Этой его заслуги русская эмиграция никогда не забудет.

После крушения любимого дела Михаил Михайлович прожил еще почти девять лет. К счастью, некоторые из бывших стипендиатов покойного не забыли своего долга и по мере возможностей поддерживали старика материально, хоть этим отчасти скрасив последние годы незаурядного человека с большим сердцем, беззаветно любившего свою несчастную родину.

Да будет ему вечная память!

Мих. Мабо-Азовский.

Н. Н. БЕЛОЦВЕТОВ

1896—1950

Лет пятнадцать тому назад я встретился с Николаем Николаевичем Белоцветовым в Ревеле, милом мне по воспоминаниям своей провинциальностью — всеми «пережитками» губернского города — вистом в русском клубе, пасхальными визитами, вообще устоявшимся бытом; и еще был мне Ревель мил — сырым климатом (совсем петербургским!), который создавал впечатление реальности, доходящей до фантастического, и как то романтически «отравлял» монотонную бытовую жизнь. Однако, по существу Ревель, конечно, никогда не был русским городом: прежде руками эстонцев его строили балтийские немцы, постаравшиеся придать ему вид немецкого города, а на наших глазах эстонцы налаживали жизнь в своей новой столице скорее по скандинавскому образцу...

Мы познакомились в литературном кружке, основанном еще в 90-х годах. Несуразная плюшевая мебель, на стенах не то бури под Айвазовского, не то боярыни под Маковского... Н. Н. сидит в кресле — сдержанный, безразлично-любезный и как будто даже отсутствующий. Мне он показался таинственным, призрачным... Я же был тогда неловко-провинциальным энтузиастом, который еще не видел ни одного поэта, если не считать крылатки Бальмонта, промелькнувшей на московском Арбате, в 19 или 20 г.г. (т. е. еще в пору детства). Знал я еще Игоря Северянина, жившего тогда в Эстонии, но он для меня не был поэтом, о котором можно мечтать. Разговор как-то не налаживался, но вот Н. Н. помянул Осипа Мандельштама. Я сразу вспомнил несколько его строк. Около часа мы вместе «перебирали» мандельштамовские стихи, все его волшебные лирические формулы, и незаметно разговор наш принял заговорщический характер...

Первый сборник Белоцветова «Дикий мед» появился за несколько лет до нашего знакомства (в 1930 г.). Тогда он готовил вторую книгу стихов «Шелест», в которую вошли лучшие его вещи: все они были написаны одним дыханием. Каж-

дое стихотворение состояло из одной непрерывной музыкальной фразы. На своем ревельском вечере Н. Н. читал эти стихи как-то мелодически бесстрастно:

А ведь когда нибудь, друзья,
Как в океан впадают реки,
А ведь когда нибудь и я,
И я когда нибудь навеки...
И в звездных сферах бытия,
В хрустальных сферах Птоломея
Развеется душа моя,
Перед Создателем немея...

Удивительные стихи: в них слышались отголоски блоковской музыки, как и у Г. Иванова. Но оба они по-разному отталкивались от Блока. Г. Иванов надрывно пародирует блоковскую музыку, а Белоцветов освобождает блоковскую стихию от всего земного, тяжелого, от всякого вообще фона. Многое в его творчестве может быть объяснено антропософскими медитациями. Существенней же, что он отвращался от всякой тяжести, как бытовой, так и духовной. Он мог страстно увлекаться, но ни к чему не привязывался, он пролетал через жизнь, и поэтому его стихи так бесплотны и легко стремительны. Его поэзия действительно — чистое искусство. В этом его сила, но также и слабость: сила в чистоте тона, а слабость в том, что в слышимой им музыке было мало человеческого. Он всегда пребывал в высших сферах бытия, где прислушивался не только к ангелам, но и к демонам... В «царстве Духа» он восхищался и светом и тенями. Но в последних своих стихотворениях (печатаемых в этом номере «Н. Ж.») он отдал предпочтение свету.

На вечере я уяснил себе одну странную особенность облика Белоцветова. Его почти невозможно было увидеть en face. Уж очень узким было его лицо, и поэтому он всегда был видим в профиль. Отсюда впечатление некоторой призрачности, которая была и в бесплотных его стихах.

Да: в красно-плюшевом литературном кружке 90-х г.г. и на аляповатой сцене гимназического зала, где он читал свои стихи — Н. Н. был для меня таинственным и волшебным чужеземцем... Но на готических улицах старого Ревеля, сырыми, совсем петербургскими вечерами, его тень поэта была «уместной». Он хотел поселиться в Ревеле. Кажется, какие-то антропософские выкладки подтверждали и «обосновывали» его влече-

ние к этому городу. Но, к сожалению, ему, нансенисту, было отказано в получении права на жительство.

Материально Н. Н. был обеспечен. Но после второй войны он лишился всех средств. Последние годы он жил (с женой и дочерью) в очень стесненных обстоятельствах. Ему так и не удалось выбраться в Америку, куда переселились его сестры и брат.

До прихода Гитлера Н. Н. проживал в Берлине, где участвовал в кружке поэтов и печатался в берлинских сборниках. Его стихи были помещены в антологии Адамовича «Якорь». Вообще же он был чужд т. н. литературных дел, у него не было никакого тщеславия и в эмигрантских журналах он печатался редко. В Париже его знали мало, и даже не хотели знать, замалчивали. По моему убеждению, все эмигрантские поэты должны прислушиваться к голосу русского Монпарнасса, но нельзя не признать, что по отношению к Н. Н. Белоцветову Париж был явно несправедлив и кружково нетерпим.

Н. Н. писал также статьи — и не только антропософские. Замечательна его статья — «Ничего — кроме голоса» — о поэзии и поэтах.

Ю. Иваск.

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

«...Колониальные страны есть основной тыл империализма не только в том смысле, что империализм будет оставлен без тыла, но и в том смысле, что революционизированный Восток должен дать решающий толчек к обострению кризиса на Западе. **Атакованный с двух сторон — и с тыла и с фронта — империализм должен будет признать себя побежденным».**

Так, — во времена флирта Кремля с Токио 1925-го года, Сталин раскрыл основной план мировой стратегии Коминтерна в разговоре с г. Фусе, корреспондентом влиятельной японской газеты «Ничи-Ничи» (М. «Правда», 4-го июля 1925 г.). Ровно за двадцать пять лет до начала... Кореи!

Конечно, Запад не собирается и никогда не соберется «признать себя побежденным». Однако, во всем остальном коминтернский стратегический план стал действительностью: мир, где еще «свободно дышет человек», оказался атакованным с фронта и с тыла. Правда, на фронте, т. е., в Европе (когда пишутся эти строки) атака идет еще только политико-психологическая, своеобразная пытка страхом: а вдруг начнется?! Но такая атака легко может превратиться в бой огне- и бомбострельный; также легко, как и огневой бой в тылу, т. е. в Азии, может на время затухнуть. Да, мало ли что может еще случиться в эти роковые месяцы!...

Но как же это случилось, могло случиться, что слова Сталина, сказанные двадцать пять лет тому назад японскому журналисту, превратились сейчас в действительность, всем очевидную? Как это случилось, что Запад, уничтожив три мировые империи, оказался зажатым в тиски «мировой революции»; зажатым между, так называемым, Железным Занавесом и «революционизированной» Азией? Как это случилось, что на ленинский вопрос — «кто кого?», — ныне остро и неотложно поставленный Сталиным и ген. Мао-Це-Тунгом, свободному миру приходится отвечать в обстановке, не им созданной; в сроки, не им назначенные; при расстановке сил, не им рассчитанной?!

**
*

Уинстон Черчилл, в начале Второй Войны, как-то возгласил: политика Кремля — это «загадка, укутанная в тайну».

Молотов сейчас же ему ответил: в нашей политике нет никаких ни загадок, ни тайн; всякий грамотный человек может прочесть в наших изданиях о всех наших идеях, планах и целях. Ответил, как скоро будет видно, совсем по марксову «Коммунистическому Манифесту». Конечно, слова Молотова вовсе не означают, что коммунисты всегда говорят правду. Наоборот: ложь они считают одним из самых острых, полезных и действенных орудий «классовой борьбы». Но в том-то и состоит секрет непрестанных успехов коммунистов: они одновременно говорят полным голосом о своих планах и целях и тут же пускают по свету нужные им для борьбы с врагом легенды и выдумки. Они твердо знают, что выдумкам не поверят те, кому нужно знать правду, а правде не поверят те, кому для пользы «мировой революции» надлежит быть обманутыми.

Так случилось и с смелым и прямым ответом Молотова на «тайну» Черчилля. Молотов знал, что от его прямоты ничего не изменится. Ничего и не изменилось.

Ни один из властителей тогдашнего демократического мира, — властителей, обладавших почти неограниченной во время войны властью, — ни один из них, даже под ударом союза Сталина с Гитлером, не последовал совету Молотова, не нашел нужным, не захотел познакомиться по первоисточникам со смыслом, с коренной целью всей политики Кремля и Коминтерна.

В физических науках есть термин — константа. Этим термином определяется в природе нечто постоянное, не подлежащее никаким изменениям; например, ускорение силы тяжести. Приходило ли когда-нибудь в голову государственным и политическим вождям свободного мира, что некая «константа» подчиняет себе, как неотменимый закон природы, всю политику, всю деятельность международного коммунистического движения в целом и работу, даже жизнь каждого коммуниста в отдельности; будь он Сталиным или ген. Мао, Фостером, Дюкло или простым, рядовым членом той или иной местной компартии?! — Уверен, что такой мысли у демократических вождей никогда в голове не было. Ибо, если бы была, то никогда демократия не оказалась бы в нынешнем после-корейском положении. Никогда!

А между тем такая «константа» была установлена свыше ста лет тому назад, в 1848 году, в марксовом «Коммунистическом Манифесте». — «Коммунисты считают для себя унизительным скрывать свои убеждения и намерения. Они открыто заявляют, что их целей можно достичь только насильственным ниспровержением всего ныне существующего социального строя. Пусть господствующие классы трепещут перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего терять кроме цепей. Они должны завоевать мир!»

Однако, «призрак коммунизма бродил по Европе» (слова Ком. Ман.) тогда не долго. Первая волна, первый прилив социальной революции быстро спал. Гигантский скачек «из царства необходимости в царство свободы» под беспощадными бичами пролетарской диктатуры — не осуществился!

На европейской сцене появляется силуэт... Бисмарка. В утешение разбитым в «классовом бою» и упавшим духом «пролетариям» Карл Маркс пророчествует. «Вы должны, — пишет он германским рабочим после краха европейского революционного движения 1848-го года, — пережить 15, 20, 50 лет гражданских войн и международных битв не только для того, чтобы изменить существующие отношения, но и для того, чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству». (Маркс и Энгельс. Соч. т. 8, стр. 506).

Именно, из Маркса, — не ученого экономиста, а неистового, злорадного революционера и провидца, вышла «константа» всей политики коммунистического движения. А именно — знание невозможности со-существования коммунистического (социалистического) и капиталистического порядков жизни; **воля** к насильственному — всеми средствами — ниспровержению существующего в свободных странах политического и социального порядка; **вера** в современную тоталитарную войну, как в фактор, приближающий торжество мировой социальной революции.

В конце концов, если вдуматься во все речения, писания и, главное, деяния, то будет ясно видна одна единственная, **нерушимая** генеральная линия: стремиться только к одной цели — к мировому насильственному перевороту. Всё же существующее — отдельные люди, отдельные классы, целые поколения, народы, государства, величайшие ценности материальной и духовной культуры — всё и вся приносится в жертву этому чудовищному Молоху «мировой пролетарской революции»!

**
*

Когда, вернувшись из разных изгнаний в «самую свободную», — по их же словам, — страну, разжигая самые страстные мечты о какой-то невозможной свободе у наивных и самые отвратительные инстинкты у черни, Ленин, Троцкий и Сталин с целым легионом своих российских и иностранных единомышленников принялись во имя грядущей «мировой революции» громить, разбазаривать и распинать Россию, — когда всё это происходило, никому на Западе и не снилось, что ложью навязанный и террором закрепленный, чуждый духу и душе русского народа, изуверски атеистический, а потому и сугубо беспощадный, тоталитарный коммунизм, с Запада же к нам ввезенный, приведет его, этот Запад, в... Корею!

Было тогда так легко и просто — и так успокоительно! — объяснять всё происшедшее, этот страшный российский обвал, местными условиями — отсталостью России, «привычкой народа жить под кнутом» и т. п.

Впрочем, в начале марксов «призрак коммунизма», как будто, опять стал реять над Европой и «местная» большевистская революция, — как будто, оказалась не совсем местной.

«Наша задача, — возвестил Ленин 22-го марта 1918 года представителю лондонской газеты «Дэйли Ньюз», — продержаться до тех пор, пока взаимное истощение воюющих групп европейского капитала не вызовет революции во всех странах».

Какую революцию? Конечно, не ту, всенародную, свободную, демократическую, которую только-что убили большевики в России! Нужна та, которую требовал «Коммунистический Манифест». А Россия страна крестьянская, одна из самых отсталых в Европе. В России, как таковой, социализм не может победить... «Наша (т. е. российская) революция только пролог к Мировой Социальной Революции, переходный мостик к ней. Объективные условия империалистической войны не оставляют сомнений в том, что революция не кончится на своем первом этапе». («Прощальное письмо» Ленина к швейцарским социалистам, апр. 1917).

**
*

Какие же это объективные условия современных «империалистических» (или, правильнее, тотальных) войн «на истощение» или даже «на истребление» превращают их в пролог к политическим катастрофам и социальным революциям?

Уничтожая несметное количество накопленных веками населением богатств, понижая уровень жизни среднего класса и тем сглаживая социальное неравенство между ним и пролетариатом, всё больше сосредотачивая всю хозяйственную жизнь страны в руках своеобразного капиталиста-монополиста, государства, — нынешняя тотальная война создает в индустриально-капиталистических странах те самые предпосылки для пролетарской, социальной революции, которые предуказывал К. Маркс.

Следя из своего швейцарского уединения за развитием I-ой Мировой Войны на Западе, — Ленин понял, почему современная тотальная война «архи-выгодна» для развития и успеха «мировой революции». Она в два года создала те марксовы предпосылки революции, которых никак не мог дождаться «революционный пролетариат» в мирной Европе.

Конечно, тотальная капиталистическая война механически, так сказать, открывает путь индустриальному пролетариату к диктатуре, уничтожая средние классы и вводя по нужде плановое хозяйство. Однако, для успеха мировой социальной революции, местной победы только европейского пролетариата может оказаться недостаточно, даже наверное — недостаточно.

Патриархальные времена европейского торгово-индустриального капитализма, при котором писались «Коммунистический Манифест» и «Капитал» давно прошли, — рассуждал Ленин. В начале двадцатого века капитализм перешел в свою высшую (и конечную) фазу — фазу империализма, т. е. в фазу мирового финансового капитализма, монопольно эксплоатирующего естественные богатства и труд колониальных и полуколониальных народов Азии, Африки и тихоокеанских пространств. Мощь капитализма в его империалистическую фазу опирается уже не на эксплоатацию рабочего класса в индустриально-капиталистических странах, а на чудовищные доходы, притекающие со всех концов мира. Часть из своих сверх-прибылей империалисты уделяют своему рабочему классу и таким образом не только крепят на время обреченный на слом капитализм, но еще и создают внутри самого рабочего класса «социал-предателей», «прислужников буржуазии», противников «классовых войн» и диктатуры пролетариата.

Итак, для того, чтобы уничтожить капитализм в XX веке, недостаточно открыть дорогу к диктатуре европейскому пролетариату. Нужно еще освободить от «цепей» империализма угнетенные народы Востока.

Такое освобождение и началось во время I-ой Мировой

Войны. В этом была ее вторая «архи-выгода» для развития мировой революции.

В самом почти до невозможности сжатом виде здесь изложены взгляды Ленина на положительную роль современных тотальных войн в развитии социально-мировой революции или о роли в этой революции национальных движений азиатских народов только для того, чтобы каждый читающий эти строки мог увидеть, как тесно связаны швейцарские рассуждения Ленина с происходящей сейчас «атакой империализма — с тыла и фронта»!

**
*

Ленинский верный «личарда»—Гр. Зиновьев, уже в 1918 г. на декабрьской конференции петербургской Р.К.П., кричал: «Если кто может разжечь восстание сотен миллионов людей в Индии, так это мы — советская власть». (Пет. Правда, 8 дек. 1918 г.). Но это было только головокружение от революционного успеха.

Во-первых, в азиатском тылу тогда на «советскую власть» наседали японцы. А, во-вторых, все взоры засевшего в Кремле «авангарда мировой революции» были обращены на Запад, на Германию. Там, — по пророчествам Ленина и Зиновьева — не какая-нибудь там завалящая, мужицкая, — а настоящая, пролетарская революция вспыхнет через 6-8 месяцев! Надо только «продержаться». Ведь, всюду идут уже восстания: 1-го января 1919 года — спартаковцев в Берлине; в марте Кнут Эйснер воцаряется в Мюнхене; 19-го марта Бэла Кун устанавливает зверскую диктатуру в Венгрии и т. д.

Под видом дипломатических нот «Сов. власть» рассылает по иностранным правительствам революционные прокламации. Сам Чичерин, Наркоминдел, посылает в январе 1919-го года приглашения иностранцам на первый, учредительный съезд... III Интернационала.

2-го марта этот съезд открывается и рождается Коминтерн. Начинается упорная работа по расколу социалистических, марксистских партий и профсоюзов. Во Франции, Италии, Германии создаются сильные компартии. Однако, с провалом Саксонского и Дрезденского восстаний (в 1923 году) попытка пролетарской атакой в лоб разгромить подорванный войной капитализм кончается совершенной ретирадой.

Буржуазный строй восстает, как Феникс из пепла. Начинается период стабилизации капитализма во всём мире, в Советском Союзе воцаряется — НЭП. «Передышка» — некое хозяйственное перемирие с населением — «всерьёз и надолго»...

Вышло — к счастию для «революции» — невсерьёз и не надолго, так как стабилизация капитализма оказалась очень недолговечной. Уже в 1927 году Сталин уверенно утверждает, что те коммунисты были правы, которые не поверили в длительную стабилизацию капитализма: новый кризис уже начался. Он неизбежно приведет к новой империалистической войне. А новая волна войн — к новой волне революции!

**
*

Почуяв своим острым политическим нюхом запашёк новой войны, Сталин сейчас же отменил досадную «передышку» и начал пятилетками, истреблением крестьянства, ежовщиной и прочими и прочими беспощадностями превращать страну, «где так вольно дышет человек», в плацдарм и арсенал для подготовки второго этапа мировой революции.

Однако, коротенькое время Нэпа для работы Коминтерна и Кремля вне России, в Западной Европе и Соединенных Штатах — в особенности, было очень полезно. «Буржуазно-капиталистический» мир совсем перестал бояться «красной Москвы и ее агентов», сов. Кремль и коммунисты всех национальностей были признаны равноправными членами демократического общества. Они в короткий срок проникли во все поры западной демократии, в особенности, во все правительственные и политические руководящие круги, вплоть до самых высоких!

О том, что в действительности происходило в тридцатых годах в С.С.С.Р., западные руководящие круги ничего не знали; правильнее — не хотели знать. Кремль был нужен и охотно разыгрывал роль «защитника демократии против фашизма и гитлеризма». Они так в этом успели, что даже самые искушенные и часто циничные реальные политики и министры строили свою международную стратегию и тактику не на реальных фактах, а на ирреальных легендах. Главное: они поверили, что Сталин «предал» коммунистические, интернациональные идеи и идеалы; «отказался» от пролетарской, мировой революции Ленина и Троцкого; ввел в России «самую демократическую в мире конституцию». Одним словом, стал реальным государ-

ственным деятелем, пекущимся только о государственно-национальных интересах своего государства и процветании мировой демократии!

Правда, когда Кремль «предал» демократию и вступил в союз с Гитлером, на демократических верхах Запада произошел такой переполох, что однажды с очень высокого места было даже объявлено, что в России под Сталиным существует такой же тоталитарный режим, как и в фашистских странах. Но как только Гитлер вторгся в С.С.С.Р., измена демократии превратилась в мудрый тактический ход, дабы выиграть время. Сталин был восстановлен в своих государственных и демократических достоинствах. Вместе с Рузвельтом и Черчиллем он вошел в «Великую Тройку» и вершил во время войны и после капитуляции Германии и Японии судьбы мира!...

Говорят, что Президент Рузвельт только не задолго до своей кончины, вернувшись из Ялты, стал понимать, что всё время войны Черчилл и он были «едины в действиях, планах и духе» (слова из заявления Великой Тройки при разъезде из Тегерана), — были едины не со Сталиным, существующем, а с неким призраком, смело созданным на пользу второго этапа мировой революции самим Кремлем. Ибо Кремль твердо знал, что очевидная суть политики «вождей мировой революции» остается для демократических вождей мировой политики — «загадкой, укутанной в тайну!»...

Американский автор, скрывшийся под псевдонимом «Историкуса» тщательно по первоисточникам, живя некоторое время в Москве хорошо изучил сталинскую революционную теорию, стратегию и тактику. Во всей этой большой исследовательской работе (см. «Форейн Афферс», янв., 1949 г. Н. И.) нельзя найти даже намека на то, что Сталин хоть когда-нибудь вел «русскую колониальную политику», (как недавно заявил Президент Труман) или прикрывал марксистскими фразами русский империализм (Эчисон и многие другие).

Напротив! — «Ударение, которое ставит Сталин на значении теории (марксизма-ленинизма — А. К.) настолько непривычно для американского склада ума, что мы склонны преуменьшать влияние теории на направление его деятельности», пишет Историкус.

Именно, следуя ленинской теории об архи-полезности империалистических войн для развития мировой революции, **«Сталин целую четверть века ждал** (подчиняя всю свою политику этому ожиданию. — А. К.), о чем свидетельствуют **все**

его писания, **следующего революционного урожая во время или сейчас же после Второй Войны»!**

Сейчас же после этой войны **жатва созрела** и Молотов объявил, в 1947 году, в годовщину «Октября»: «мы вступили в эру коммунизма».

Конечно, издыхающий капитализм, как смертельно-раненный зверь, попытается броситься на своего врага... Осторожней, — предупреждает Министр Иностр. Дел страны «победившего социализма»:—за свой прыжок капитализм заплатит своим существованием.

Молотов вернулся к революционной словесности дипломатических нот Наркоминдела Чичерина. Но тогда, тридцать лет назад, за чичеринскими словами не было ни силы, ни настоящей организации; ничего не было! Теперь всё это есть и речью Молотова официально началась «новая эра», новый этап мировой революции: наступление с тыла и с фронта.

***

И опять повторилась старая история: наступательный план не был во время расшифрован и «загадка, укутанная в тайну» привела Запад в Корею, со всеми вытекшими от сего последствиями.

Вернемся назад к Ленину. Его швейцарские размышления о необходимости для победы «мировой пролетарской революции» подрубить империалистические корни европейско-американского капитализма не только превратились в книгу («Империализм, как новейший этап капитализма» (1916 г.), но и стали обязательной частью генеральной линии III Интернационала.

Так с первых дней существования вырабатывались пункты программы для «колониальных стран». Шли горячие споры между защитниками западного и восточного «вариантов» развития революции и т. д.

Уже 27-го марта 1920 года, на собрании секретарей партийных ячеек московской организации, Ленин говорил: «Недавно вышел журнал Ком. Интернационала под заглавием: «Народы Востока». Коммун. Интернационал издал для народов Востока такой лозунг: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы соединяйтесь». Кто-то из товарищей спрашивал, когда же это Исполком распоряжался, чтобы менять лозунги? Я, действительно, этого не могу припомнить. Конечно, с точки

зрения «Коммунистического Манифеста» это неверно. Но Коммун. Манифест писался совсем при других условиях. Но с точки зрения текущей политики это верно. Отношения обострились. Вся Германия кипит. Вся Азия кипит. Вы читали, как в Индии складывается революционное движение. В Китае бешенная ненависть к японцам. То же — к американцам».

Летом того же года, на Втором Конгрессе Коминтерна принимается ленинский тезис: «европейский капитализм почерпает свою мощь не из индустриальных стран Европы, а — из своих колониальных владений. Сверх-прибыль, получаемая из колоний, есть основной источник богатств современного капитализма; европейский рабочий класс поэтому будет в силах свергнуть капиталистическую систему только тогда, когда этот источник окончательно иссякнет».

Осенью того же года в Баку созывается первый Конгресс Народов Востока и, кажется, в том же году открывается особый для этих народов университет, через который годами проходят многие тысячи.

Для III Конгресса Коминтерна (1921 г.) Ленин пишет следующий тезис «О колониях». Тезис, который мог бы быть почти целиком написан сегодня. — «Совершенно ясно, что в грядущих решающих сражениях мировой революции движение большинства населения земного шара, первоначально направленное на национальное освобождение, обратится против капитализма и империализма и, быть может, сыграет гораздо бóльшую революционную роль, чем мы все ожидаем. Важно подчеркнуть, что мы в первый раз, в нашем Интернационале подошли к подготовке этой борьбы. Конечно, в этой огромной области затруднений гораздо больше, но во всяком случае движение идет вперед и массы трудящихся крестьян колониальных стран, — несмотря на то, что они сейчас отсталы — **сыграют очень большую роль в последних фазах мировой революции»** (Подчеркнуто Лениным).

Прошу простить меня за длинные выписки. Я сделал это для того, чтобы избавиться от необходимости собственными словами доказывать то, что становится сразу очевидным для всякого грамотного человека: из сопоставления только-что приведенных выписок с событиями, ныне происходящими в Азии.

Ведь всякому становится ясно, что в Китае сейчас не «русский колониальный империализм» завлекает в свои сети наивных и симпатичных «аграрных демократов», а осуществляется совместными усилиями китайских, русских и прочих

коммунистов одна из «последних фаз мировой революции», предусмотренная ровно тридцать лет тому назад!

Мне стало жутко, когда я увидел, что давние протоколы учреждения, официально уже упраздненного, до конца раскрывают **суть** развертывающейся перед нами мировой — в точном смысле этого слова — трагедии. Никакие дальнейшие раз'яснения не нужны!

Знаменитый немецкий гео-политик ген. Гаусхофер, наблюдая еще в конце двадцатых годов за политикой Кремля и Коминтерна в Азии, назвал эту политику «жуткой и страшной для врагов». («Революция в Китае», ст. Б. Николаевского в «Нов. Журнале», кн. 7, стр. 378).

Страшна для свободных стран политика коммунистических вождей не сама по себе.

Она страшна только потому, что вожди свободных народов ходят в **слепую** на поединки со **зрячими.**

От этого и случаются и еще будут случаться... кореи.

17 декабря 1950 года.

А. Керенский

HOMO GAUDENS

(РАДОСТЬ, КАК ИСТОЧНИК ЦИВИЛИЗАЦИИ)

За всё время существования человечества едва ли найдется период, настолько насыщенный историческими событиями, как последние пятьдесят лет. Электрификация, автомобилизм, авиация, радио, телевизия и овладение атомной энергией в корне видоизменили быт всех стран. Два раза за это короткое время делались попытки создать мировую организацию народов мира и тем достичь политического единства человечества. Две мировые войны, затронувшие все народы мира, мировая революция, которая втянула в свой водоворот уже половину человечества, опустошительный мировой кризис в экономике, не считая дюжины местных войн, революций и кризисов, нарушили до самых недр стабильность материальной и духовной жизни людей. В этом поразительном сплетении творчества и разрушения всё потеряло устойчивость и всё пришло в движение. Никогда за такое короткое время не возвышалось и не падало столько правителей, тронов и династий; никогда не разрушалось столько старых государств, и никогда не создавалось столько новых. Потрясенный, затерянный, оглушенный событиями человек невольно хочет остановиться, оглянуться на старые берега, от которых он уже навсегда оторван, и обдумать, оценить и понять значение того, что совершается. Перенасыщенность историческими событиями вызывает стремление осмыслить историю.

Философия истории стара, как сама история. Исторические хроники Ветхого Завета полны замечаний, оценивающих события. Повествования первых историков, Геродота и Фукидида, сопровождаются пространными рассуждениями и пояснениями, не потерявшими злободневности по сейчас. И всё же философия истории, в настоящем смысле слова, представляет собой продукт нового времени, и первый чисто философско-исторический труд принадлежит итальянцу Джанбаттиста Вико, который рассматривает историю как последовательность трех периодов или веков: век богов, век героев и век людей. С тех пор почти всякий философ затрагивает вопросы смысла

истории. Основоположник философского позитивизма Огюст Конт тоже видел в истории смену трех периодов или царств: теологический, метафизический и позитивный, причем, в противоположность Вико, Конт в этой смене веков видел не ухудшение, а, наоборот, прогресс. Наиболее последовательный представитель идеализма, Гегель, в своей «Философии Истории» рассматривает судьбы людей как самораскрытие Абсолютного Духа. «Гибель Запада» Шпенглера с ее пессимистическими прогнозами и с ее теорией цикличности в истории дала мощный толчок философско-историческому мышлению.

Наше время пытается создать свою собственную философию истории. Если прежние теории обычно стремились подчинить человека высшему, непреложному закону, который, подобно греческой Мойре, господствовал над всеми его делами и поступками, то новая теория рассматривает человека, как главную действующую и оформляющую силу истории. Если прежняя теория пыталась постичь конечный смысл истории, то новая довольствуется изучением и познанием сил, создающих результат истории, — цивилизацию. Человек как фактор цивилизации, — вот в сущности, тема нового направления философии истории.

Homo Oppresus

Английский историк, профессор Арнольд Тойнби, в последние годы перед войной опубликовал один за другим шесть томов «Исследования Истории», и это была, судя по опубликованному плану, всего лишь половина задуманного труда. Шесть томов, написанных с чисто немецким глубокомыслием и тяжеловесностью, перенагруженных отрывочными фактами и данными изо всех областей истории, было слишком много для рядового читателя. Но нашелся поклонник Тойнби, который по своей инициативе сократил изложение до одного тома. Этот сокращенный текст, получивший полное одобрение автора, появился в печати. Краткое изложение имело ошеломительный успех, и теория Тойнби нашла доступ к широким кругам читающей публики и заняла доминирующее положение в современной философии истории[1].

Задача Тойнби — показать условия возникновения, роста

1. Arnold J. Toynbee, "A Study of History", vol. I-VI, 1933-1939, and "A Study of History", abridgment of vol. I-VI by D. C. Somervell, 1946.

и падения цивилизации. В своем труде он не дает определения цивилизации, и даже противопоставление цивилизации и культуры, данное Шпенглером, ему, повидимому, совсем чуждо. Сущность цивилизации у Тойнби выясняется противопоставлением ее примитивному обществу: примитивное общество находится в состоянии статического равновесия и неподвижности, причем уклад жизни устанавливается инстинктами, обычаями и подражанием предкам. В противоположность этому, цивилизация создается обществом, находящимся в динамическом процессе движения, в котором уклад определяется подражанием активному меньшинству, пионерам и новаторам. Из 300.000 лет своего существования человечество, по мнению Тойнби, 98% прожило в условиях примитивного общества, и только последние 6.000 лет принадлежат цивилизации.

В чем заключается сила, которая равновесие неподвижности примитивного общества сменяет динамикой движения цивилизации? Эту силу Тойнби видит не в особо благоприятных условиях жизни, но, наоборот, в необычно неблагоприятных и тяжких условиях. "Easy is inimical to civilization" — говорит он. Бедствия и невзгоды ("adversity"), в особенности ново-возникшие, небывалые, и их вызов ("challenge") человеку — это необходимое условие возникновения всякой цивилизации.

Мысль эта подробно иллюстрируется примерами из истории 21 погибших или еще живущих цивилизаций старого и нового мира. Наиболее поучительный пример — это возникновение египетской цивилизации. По мнению Тойнби, фактор возникновения египетской цивилизации следует искать в изменении климата смежных областей Африки и Азии, когда из за воцарившейся засухи, богатые, полные животными степи превратились в бесплодные пустыни. Эта перемена была бедствием, сделавшим смертельный вызов человеку, жившему охотой. Как люди ответили на этот вызов? Кто не сумел найти ответа, тот погиб. Кто превратился в скотовода, тот влачил жалкое существование номада. Кто передвинулся к югу или к северу, тот стал жертвой или холодов или монотонности тропического климата. Тот же, кто сумел переменить основы своей жизни и из охотника превратиться в земледельца, овладев упорным трудом болотами долины Нила, тот стал создателем цивилизации.

В истории всех цивилизаций Тойнби находит то же самое чередование: покой, бедствие с его вызовом человеку и ответ

человека на этот вызов. В этом чередовании основная роль принадлежит бедственности. Она может быть самых разнообразных родов: засуха в образовании не только египетской, но и сумеро-вавилонской цивилизации; болота и наводнения в области Желтой Реки в цивилизации Китая; неприветливость и опасности моря в цивилизации Крита; бесплодная почва в древней цивилизации Анд, чрезмерная пышность растительности тропических лесов в цивилизации Майя; бедные естественные условия Аттики и Лациума в цивилизации Греции и Рима. Во многих случаях бедственность коренилась не в природных, а в социальных условиях, — в распадении старой цивилизации, в поражениях, в рабстве, — но бедственность должна быть всегда: человек не может стать творцом цивилизации иначе, как пройдя чистилище бедствий. Тойнби не дает краткого имени своей теории. Но оно напрашивается само собой: Homo Oppressus, как создатель цивилизации.

Так как сущность всякой цивилизации заключается в устранении бедственности и преодолении трудностей, то всякая цивилизация по необходимости уничтожает причину своего возникновения и тем создает опасность новой остановки и застоя. Тойнби понимает это и он сам выставляет тезис, что ничто не опасно так, как полный успех: "Nothing fails like success", предостерегающе твердит он многократно. Возникшая цивилизация, чтобы избегнуть остановки или тупика, должна, устраняя одну трудность, сама создавать на смену ей новую. «Лучший вызов это не тот, когда вызванный вынуждается дать один успешный ответ, но когда он вынуждается приобрести инерцию, толкающую его от одного успеха к новой борьбе, от решения одной задачи к постановке новой проблемы». Непрерывность в чередовании бедствий и успехов является необходимой частью теории Тойнби.

Этот механизм чередования бедствий и успехов ясно показывает как хрупка и неустойчива цивилизация в понимании Тойнби и сколько опасностей таится на ее пути. Многие цивилизации, успешные в начале, задохнулись в полноте своего успеха и остановились в тупике ("blind alley") истории. Некоторые были способны создать более или менее продолжительное чередование успехов и новых трудностей. Но, в конце концов, каждая цивилизация обречена на то, что где-нибудь она окажется или слишком успешной или недостаточно успешной, — цепь чередований оборвется, и начнется роковое падение.

Падение цивилизации — это главная тема исследования Тойнби. «Цивилизации не погибают, они кончают самоубийством», говорит он, в сущности противореча своей собственной концепции: какое общество в состоянии долгое время избегать и слишком большого и слишком малого успеха? Механизм падения сложный. Творческое меньшинство пионеров и новаторов, ведущих вперед, теряет свою динамичность и превращается в притеснителей. Притесненное большинство — Тойнби упорно именует это большинство внутренним или внешним «пролетариатом» — начинает борьбу, и общество, пройдя последовательно стадии смуты, универсального государства и разложения, распадается и сходит со сцены истории, уступая место новым, свежим силам.

В какой из этих стадий находится цивилизация Запада? Для Тойнби несомненно, что она не в стадии роста и подъема: она явно уже вошла в первую стадию падения и находится в периоде смут. Что может спасти ее? Во всяком случае, не универсальное государство, «это пламя, которое в свое время превратит нас в пыль и золу». И не «машина времени» наших утопистов, стремящихся вернуть нас назад к невозвратному прошлому («архаическая» идеология) или унести вперед, в царство грядущих, несбыточных утопий («футуристическая» идеология). Надежда на философов-правителей тоже обманчива. Спасти человечество может только перевоплощение: Бого-Человек, который в защиту своего звания дерзнул окунуться в ледяные струи смерти. Одна из тем, предвещенных для последующих томов, — создание универсальной церкви.

В своем исследовании Тойнби часто употребляет слово «драма». В сущности, в его понимании вся история — непрерывная цепь драм и трагедий, и человек вечно окружен опасностями и бедствиями. Если всё идет хорошо, это вызывает неподвижность и застой, ибо человек, как ленивый и нерадивый раб, пока может, прозябает в бездействии. Только кнут бедствий и невзгод может заставить его зашевелиться и начать работать и творить. Но подневольное, вынужденное творчество не радует и не веселит не только потому, что оно принудительно, но и потому, что это сизифов труд: каждый успех в преодолении одного бедствия должен быть оплачен созданием нового бедствия, ибо иначе грозит возвращение в унылое и беспросветное прозябание застоя. Пафос конца книги кажется деланным и пристегнутым, спасение смертью не убеждает, и книга закрывается с сознанием бессмыслицы в истории: «Всё суета сует и всяческая суета».

Homo Ludens

Взгляд Тойнби на историю полон безнадежности. Но хотя это наиболее известная теория, она не единственно возможная и не единственно существующая. В то самое время, как Тойнби был занят писанием своих шести томов, полных мрачных размышлений, голландский историк, профессор Иоган Гойзинга (Huizinga), избранный ректором Лейденского университета, произнес вступительную лекцию под названием "Homo Ludens", «Играющий Человек». Эту лекцию он потом расширил в небольшой томик, который до войны вышел на немецком языке, а в 1947 году, уже после смерти автора, вышел в подготовленном самим автором тексте на английском языке под названием "Homo Ludens: Исследование элемента игры в культуре"[2].

«Много лет», — пишет Гойзинга, — «как во мне складывается убеждение, что цивилизация возникает и развивается в игре и как игра... Игра старше культуры, так как культура, как бы мы ее ни определяли, всегда предполагает человеческое общество, но животные не ждали, пока человечество научит их играть... Факт, что игра и культура всегда фактически взаимно переплетены, не был замечен и не был сформулирован, в то время как для нас всё дело заключается в том, чтобы показать, что подлинная, чистая игра является одним из основных начал цивилизации».

Гойзинга не дает психологической теории игры и даже не упоминает ни Спенсера ни Грооса[3], пытавшихся дать биологическое и психологическое обоснование игры. Он только подчеркивает, что игра известна и животным: «Надо только посмотреть на наших собак, чтобы убедиться, что все существенные элементы игры людей имеются в их веселых забавах. Они приглашают друг друга играть определенным поведением и жестами. Они придерживаются правила, что нельзя кусать до боли

---

2. Johan Huizinga, "Homo Ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur", 1939; "Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture", 1949. Сходные, хотя и не так ярко выраженные мысли можно найти в сборнике испанского философа José Ortega y Gasset, "Toward a Philosophy of History", 1941.

3. Karl Groos, "The Play of Animals", 1898, "The Play of Man", 1901.

ухо играющего собрата. Они представляются, что они страшно злы. И, что важнее всего, во всем они испытывают громадное удовольствие и веселье»...

Рассматривая игру в социальном аспекте Гойзинга подчеркивает добровольность и свободу игры: игра не знает принуждения, игра обязательная — это уже не игра. Один из основных элементов игры — это ее состязательность и Гойзинга склонен во всякой игре находить элемент состязательности и, во всяком случае, во всякой состязательности он распознает игру.

Всякая первоначальная активность первобытного общества пропитана элементом игры. «Архаическое общество», — говорит Гойзинга, — «можно сказать, играет, как играют дети или животные. Всюду элементы игры: порядок, напряжение, движение, смена, торжественность, ритм, порыв... Постепенное ощущение святости пропитывает игру... и создается обрядность». В осторожных словах Гойзинга дает понять, что всякий культ рождается и остается в существе своем игрой.

Анализируя все стороны человеческой жизни, Гойзинга всюду, особенно в стадии зарождения, находит игру. Ее влияние на поэзию — самоочевидно. Но поэзия является началом всякой национальной литературы, и «стихи всюду предшествуют прозе». Связь музыки с игрой подчеркивается языком многих народов, говорящих об «игре» на музыкальных инструментах. Философия и науки зародились в виде состязаний в разгадывании загадок и сохранили свой состязательный характер вплоть до философских и научных диспутов в европейских университетах. Даже в суде, с его театральной обрядностью, даже в войне, поскольку в ней соблюдаются правила, он находит сильно выраженные, а подчас решающие элементы игры.

Гойзинга понимает, что элемент игры был силен преимущественно в начальных стадиях цивилизации, и что впоследствии он был оттеснен на задний план другими формами творчества. Цивилизация становится серьезнее, героический период кончается, и состязательность становится делом прошлого. Но всё же мы не должны преуменьшать роли игры в нашей жизни. Гойзинга напоминает, что век рационализма был веком Барокко и Рококо, этих наиболее вычурных, «играющих» архитектурных стилей, и что современники Декарта, Ньютона, Спинозы, Лейбница и Канта носили парики, и эта изумительная форма общественной игры продолжалась почти целых два века. Даже в наш меркантильный век многое, не только в искусстве, но и в политике, в общественных отношениях и даже в деловом

мире основано на игре. Во всяком случае, элемент игры, притаившийся за другими проявлениями культуры, еще не умер: «В любой момент, даже в условиях высоко-развитой цивилизации, инстинкт игры может проснуться со всей силой, захватывая личность и массы опьянением грандиозной игры». Положению: «Всё суета сует» Гойзинга противопоставляет свой тезис: «Всё игра».

Теория Гойзинги вдохновляет, и его Homo Ludens поистине очарователен. Весь иррационализм жизни, вся парадоксальность существования, со всем динамизмом и порывом, который не считается и не приспособляется, а игнорирует все трудности и бедствия, отражены в этой блестящей теории. В каждой главе читатель видит новые горизонты, на каждой странице находит запас мудрости больший, чем во всех шести мрачных томах Тойнби. И, закрывая с улыбкой книгу — ее нельзя читать без улыбки, — читатель чувствует себя обогатившимся. Он узнал и научился многому, между прочим, он знает, почему Платон называл людей «игрушками богов», и знает, почему в Писании сказано: «Будьте, как дети» — кто играет лучше, чем дети? Во всяком случае, теория Гойзинги полнейшая противоположность теории Тойнби. Если с точки зрения Тойнби начало всякой цивилизации определяется бедствием: засухой, голодом, наводнением, социальными катаклизмами, то теория Гойзинги для начала цивилизации требует условий благоприятствующих игре: довольства, спокойствия, мира.

Уже это сопоставление говорит убедительно в пользу теории Гойзинги. Все живые существа для своего развития нуждаются в хороших условиях жизни. Растение, чтобы оно хорошо цвело, нуждается в свете, тепле и влаге, — в холоде же, темноте или в засуху оно гибнет и чахнет. Точно так же животное для своего преуспевания нуждается в хорошем питании, хорошей воде и соответствующей температуре. Надо думать, что и человек для своего развития, процветания и успеха нуждается не в бедствии и недостатке, а, наоборот, в хороших условиях жизни: удовлетворив полностью все примитивные потребности жизни и располагая избытком энергии и средств, он создает себе новые потребности и покрывает их. Новая же потребность чаще всего зарождается и складывается в виде игры. С точки зрения Тойнби каждый успех на пути цивилизации грозит ей остановкой и крушением. Цивилизация в понимании Гойзинги может расти беспредельно, так как она знает только одну опасность: если игра, создающая ее, станет приниматься слишком серьезно и будет вестись под принуждением.

Homo Gaudens

Истина, которую вскрывает теория Гойзинги, глубока и поучительна и способна вдохновить каждого, — подлинное откровение в области философии истории. Но является ли эта истина полной? Не подлежит сомнению, что игра дала много в истории зарождения и первоначального развития всех элементов цивилизации: искусства, религии, философии и знания. Но всё же было бы явно натяжкой двигающие силы их дальнейшего развития находить в игре. Например, Гойзинга правильно указывает, что век рационализма был веком забав, вычур и париков. Но никто не станет утверждать, что эти парики или стиль Рококо в какой-либо степени обусловили «Метод» или «Геометрию» Декарта, «Принципы» Ньютона, «Этику» Спинозы или «Критику» Канта. С другой стороны, даже в тех областях жизни, которые стоят в связи с игрой, чувствуется, что игра, как таковая, является лишь внешней формой, выражением чего то более глубокого, существенного и значительного, какой-то силы двигающей играющим человеком.

Эту силу не трудно обнаружить. Что составляет существо игры? Ответ очевиден: радость. Радость является источником игры, радость двигает играющих, радость является результатом игры — как для участвующих, так и для зрителей. Радость обнимает все формы игры и объясняет, почему игра может быть только свободной, а не по принуждению: играть по принуждению нельзя, потому что нельзя по принуждению радоваться.

Всякая игра рождена радостью и имеет в себе как основной элемент, как двигающую силу — радость. Но не всякая радость — игра. Но зато всякое творчество, независимо от того, связано ли оно с игрой, всегда заключает в себе элемент радости. Уже этих соображений достаточно, чтобы показать, что следует попытаться, расширяя, углубляя и объясняя теорию Гойзинги, его Homo Ludens заменить Homo Gaudens, ставя в основу исторической теории не понятие Играющего Человека, а более широкое и всеобъемлющее понятие Человека Радости.

Что радость представляет собой великую силу, об этом все давно знают. Бергсон нашел для этой истины чудесные слова:

«Философы, рассуждая о смысле жизни и о судьбах человека, обращают недостаточно внимания на указание, данное нам самой природой. Природа предупреждает нас отчетливым знаком, когда наше назначение выполнено. Этот знак — ра-

дость. Я говорю о радости, не об удовольствии. Где радость, там и творчество; чем богаче творчество, тем глубже радость»[4].

Слова Ницше из «Заратустры» еще глубже,—может быть, самое глубокое,—что было сказано в западной философии:

«Во истину, я делал то или иное для страждущего; но мне всегда кажется, что лучшее, что я делал, — это когда я учился лучше радоваться.

С тех пор, как существует человечество, человек радовался слишком мало; только это, братья, наш первородный грех.

И когда мы учимся лучше радоваться, тогда мы лучше всего разучиваемся причинять боль и изобретать боль для других».

Радость, конечно, великое начало. Как может человек, это мгновение меж двух вечностей мрака и неизвестности, радоваться? В этом есть великая загадка и тайна, и вместе с тем это явный залог чего-то великого, что скрыто в человеке.

Радость испытывал всякий, и всякому понятно, что такое радость. Но если попытаться дать определение радости, то тотчас возникнут большие, неожиданные трудности. Энциклопедические словари не помогут: в них напрасно станем искать слова, «радость»[5]. Так как радость — душевное переживание, один из видов эмоций, то было бы естественно ожидать найти точный ответ в психологии. Но как это ни странно, учебники психологии не дают никакого ответа, или, если ответ и будет найден, то явно неточный и вводящий в заблуждение, ибо в нем будет то, против чего предостерегал Бергсон: смешение радости с удовольствием[6]. Между тем, почти все языки мира,

---

4. Henry Bergson, "La Conscience et la Vie", Conférence Huxley, 1911, в сборнике "L'Energie Spirituelle".

5. В Британской Энциклопедии под заголовком «Психология» радость определяется как «примитивная реакция на успех». Определение краткое, но абсолютно ложное. Мы смотрим на звезды и обыкновенно испытываем радость, которая подчас при этом весьма сильна. Но где тут успех? И почему это умение радоваться звездам, которым человек выделяется изо всех других известных существ, называть «примитивным»?

6. Безнадежным смешением радости и удовольствия отмечена и единственная известная автору психолого-научная монография о радости George van Ness Dearborn, "The Emotion of Joy", 1899,

знающие особое слово для радости и особое слово для удовольствия, подчеркивают разницу этих понятий. Остается странным, но несомненным фактом, что эмоция радости является одним из самых заброшенных и неразработанных областей психологии.

Поэтому, не вдаваясь в детальное обсуждение этого вопроса, в дальнейшем под радостью в этой статье будет пониматься чувство, которое в человеке вызывается ощущением гармонии в мире, в особенности чувство, сопровождающее создание, углубление или расширение гармонии. Вопрос генезиса этого чувства, его психологический, социальный, философский или этический аспект оставлены без обсуждения, как и вопрос о том, обнимает ли это определение радости все случаи радости или только один вид ее. Бесспорно одно: радость, как эмоция, вызываемая гармонией, существует, — это каждому может показать самонаблюдение в условиях каждодневной жизни. Для задач последующего изложения такое понятие достаточно. Поэтому под словом Homo Gaudens понимается человек, радующийся гармонии мира и стремящийся ее углублять и создавать.

Будет, конечно, ошибочным предполагать, что под словом Homo Gaudens подразумевается какая-то особая антропологическая порода человека, какая-то его разновидность, тип или раса. Каждый человек, всех рас, национальностей и возрастов, даже самый отъявленный пессимист и мизантроп, способен испытывать радость. Поэтому Homo Gaudens как и Homo Ludens живет в душе всякого. Задачей последующих страниц является показать значение этой стороны души в истории цивилизации. Краткий и по необходимости поверхностный очерк правильнее всего рассматривать не как окончательный итог готовых и проверенных результатов, а как план исследования, формулирующий вопросы в виде гипотетических, намечаемых и с известной вероятностью предполагаемых ответов.

где, между прочим, дана обширная библиография по вопросу о радости; см. также очерки того же автора: "The Influence of Joy", 1916. Тем же смешением страдает единственная попытка обосновать философию радости: Max Zerbst, "Die Philosophie der Freude", 1904. Между тем первое условие для создания теории и философии радости — это преодоление гедонизма, как философии удовольствия и наслаждения. Для этого же нужно отчетливое разграничение радости и удовольствия.

На заре цивилизации

А. Тойнби к цивилизации относит только последние шесть тысяч лет существования человека, считая всё остальное время, около трехсот тысяч лет, примитивным периодом неподвижности и застоя. С этим воззрением едва ли можно согласиться. В течение каменного века, в особенности во время неолита, с его скотоводством и земледелием, с первыми каменными сооружениями, с тканями, керамикой и зачатками государства и религиозных культов, сложились все особенности современного человека: в основном мы не только едим, одеваемся, строим жилища и обставляем их одинаково с человеком неолита, но мы даже думаем и чувствуем так же, как человек последнего доисторического периода. История последних тысячелетий это только прямое продолжение того, что было до них, и без понимания доисторического человека останется непонятным человек, которого мы знаем в истории.

Конечно, понимание доисторического человека связано с большими трудностями. За отсутствием письменности, исследователю трудно понять мотивы и душевный строй человека каменного века, и все выводы приходится строить на догадках и предположениях. Но эта трудность не непреодолима. Известно, что широкая письменность и наличие многочисленных исторических документов часто более затемняют, чем разъясняют мотивы действующих лиц. Из действий и поступков, освещая их аналогиями с поступками людей последующих эпох и данными антропологии, можно создать такую же отчетливую картину, как если бы мы были современниками тех эпох.

Первым шагом на пути цивилизации было освоение к а м н я. И когда наш далекий предок, который был еще больше животное, чем человек, впервые взял в свою косматую лапу камень, чтобы употребить его в качестве оружия или орудия для работы, в этот день совершилось величайшее событие, предопределившее господство человека на земле. Но никак нельзя думать, что человек той эпохи, впервые взяв камень в руки, сразу пустил его в дело. Это противоречило бы всем данным анатомии, физиологии и психологии. Для того, чтобы употребить камень для работы или для борьбы, надо уже уметь твердо, уверенно держать его в руке и уметь обходиться с ним. Каким образом человек мог приобрести эти способности? Самый простой и естественный ответ: играя. Мы знаем, что многие животные, в том числе кошки и собаки, умеют играть камнями и неодушевленными предметами, не

умея пользоваться ими для дела. Поэтому будет законным предположить, что и человек сперва играл камнями и ему доставляло удовольствие схватывать их, толкать, бросать, укладывать. Занимаясь этой игрой с увлечением и страстью человек привык к камням и уже потом, создав гармонию своего тела и психики с камнями, стал пользоваться ими, как орудием или оружием в борьбе за существование. Надо поэтому думать, что в этом решающем событии в существовании человека радость и игра предшествовали работе и борьбе.

Вторым великим шагом в зарождении культуры было освоение о г н я. Что привлекло человека к огню? Этот вопрос поставили перед собой двое немецких ученых, Лазарус Гейгер и Мюллер Лайер (их труды переведены и на английский язык)[7], и оба ответили одинаково: не полезные свойства огня, не его теплота или способность варить пищу, а его красота, блеск, цвет и яркость. Человек, впервые освоивший огонь, жил в теплом климате и не нуждался ни в теплоте, ни в варке пищи. Его привлекла к огню его красота, как она привлекает к нему наших детей и нас самих: сидя в комнате с центральным отоплением и электрическим освещением, американец, принимая гостей, непременно зажигает камин. «Наши дети сегодня», — говорит Мюллер Лайер, — «как и в детстве нашей расы, раскладывают костры для удовольствия глядеть на них. Очарованье, которое вызывает огонь, в значительной степени обусловлено радостью света... В древние эпохи оценены были впервые не полезные свойства огня, но его яркость и красный блеск... Красочность — это то, что прежде всего привлекло человека к огню».

Одним из основных признаков, выделяющих человека из мира животных, являются его о д е я н и я, которых не знают даже высшие по развитию животные и которые человек знает на всех ступенях быта. Хотя вопрос о происхождении одеяний не так ясен, как вопрос об освоении камня и огня, тем не менее законно утверждать, что в их развитии на первом плане стояли не утилитарные, а эстетические соображения: ожерелья, браслеты, кольца, серьги, подвязки и головные уборы предшествуют одежде. Об этом свидетельствуют не только археологические раскопки, но и этнографические данные:

---

7. Dr. Franz C. Müller-Layer, "The History of Social Development, 1935, pp. 56-7; Lazarus Geiger, "Contributions to the History of the Development of the Human Race", 1880, pp. 113-114.

даже в настоящее время, когда европейская культура проникла уже во все уголки мира, в центральной Африке, в Южной Америке и в Австралии имеются еще племена, не знающие никакой одежды; но никто, никогда и нигде еще не видел людей, не знающих никаких украшений тела. Даже самые примитивные племена пигмеев в Конго, до сих пор не знающих платья, носят ожерелья, браслеты и серьги, а их головные уборы отличаются красотой и оригинальностью[8]. Не будет преувеличением сказать, что человек стал сперва наряжаться и лишь потом стал одеваться. С этой точки зрения одежда эта, в сущности, выродившееся и принявшее на себя новые функции украшение. Наши дамы, героически борясь за красоту в одежде и стараясь ей вернуть характер украшения, инстинктивно правильно оценивают первичное соотношение между эстетикой и пользой.

Конечно, подобное объяснение основных начальных величайших событий в истории цивилизации может показаться чересчур буколичным и противоречащим условиям жизни примитивного человека, жившего среди опасностей и лишений и ютившегося в расселинах скал и пещерах. Да, конечно, человек палеолита жил еще в пещерах, борясь за их обладание со зверями. Но мы ведь знаем, что стены этих пещер примитивный человек иногда покрывал р и с у н к а м и, которые по четкости очертаний, выразительности и красочности могли бы служить ценнейшим украшением самого изысканного современного дворца. Когда эти рисунки были впервые открыты, — кстати сказать, пятилетней девочкой, — в Испании, ученые не хотели верить, что они доисторического происхождения. Сомнения эти уже давно рассеяны. Примитивный человек был великий художник, Homo Pictor, обнаруживший много вкуса, тонкости и понимания. Эти рисунки — тоже великий этап на пути цивилизации. Но никакая теория трудностей и бедствий неспособна объяснить их происхождение. Наоборот, чтобы выполнить эти подчас довольно сложные композиции, примитив-

---

8. Новейшее красочное описание пигмеев в центральной Африке дано у **Mary L. Jobe Akeley, "Congo Eden", 1950.** О соотношении пользы и красоты в развитии одеяний см. в цитированной книге Мюллер Лайера (стр. 133-135), который приходит к выводу, что на первоначальных ступенях человеческой культуры украшение было значительно важнее одежды и что одежда в начале употреблялась только как украшение.

ный человек должен был быть материально обеспечен и пользоваться досугом и покоем. Рисовал же он потому, что это доставляло внутреннее удовлетворение и самому художнику и его соплеменникам, подобно тому, как рисуют наши дети. Один из выдающихся археологов сравнил эти рисунки с первой улыбкой на устах новорожденного[9]. Улыбка эта была очаровательной — в ней великая победа первого художника, нашедшего в творчестве для себя и для других новый источник чистейшей радости, и его произведения радуют до сих пор, как радовали его современников. В радости пятилетней девочки, впервые увидевшей на стене пещеры изображения бизонов и закричавшей: «Быки, быки», воскресла радость художника, нарисовавшего их двадцать пять тысяч лет тому назад.

***

Примерно десять тысяч лет тому назад период древнего камня, палеолита, сменился периодом нового камня, неолитом. Человек этого периода научился полировать, шлифовать и просверливать камни, которым он придает законченную художественную форму, иногда даже в ущерб прочности и полезности. Разукрашенные сосуды, ожерелья и запястья свидетельствуют, что человек этого периода был артистической натурой и в своей жизни руководился не только соображениями пользы и удобства, но и красоты. Но главное, что было создано человеком неолита — это скотоводство и земледелие.

Скотоводство основано на установлении между человеком и животным гармонии, путем приручения животного и ухода за ним. Польза, которую получил при этом человек, обеспечив себя молочными продуктами, мясом, шерстью, кожами и рабочей силой, настолько очевидна, что тут, на первый взгляд, было бы тщетной попыткой объяснять это какими-либо идеалистическими мотивами. Но какое животное было приручено впервые? Археология не оставляет в этом никакого сомнения: собака. Но собака как раз была животным, которое приносило менее всего пользы: ни молока, ни шерсти, ни мяса, и мало пригодна в качестве рабочей силы. Как сторож или помощник пастуху, она не имела значения, ибо в то время не было что сторожить и не было кого пасти. Ее свойства, как помощника на охоте не могли быть известны при первом при-

9. Joseph Dechelette, "Manuel d'Archéologie préhistorique Celtique et Gallo-Romaine", 1908, vol. I, p. 202.

ручении[10]. Но зато собака — вернейший друг человека и незаменимый товарищ в игре. И можно себе легко представить, что первый волченок, от которого произошли собаки, был приручен не серьезным, полным забот взрослым человеком, а беззаботно играющим ребенком, и из этой игры создалась гармония человека с животными, со всеми неисчислимыми последствиями. Заметим, что и сегодня в городах, тот, кто заводит животных, держит не поросенка или теленка, не козу или овцу, а собаку, надо думать, по тем же мотивам, по каким ее прежде всего приручил первобытный человек.

Вопрос о происхождении земледелия не так ясен. Однако и тут не будет удивительным, если когда-либо удастся доказать, что первые растения, которые были посажены, были не репа, чеснок или огурец и не какие-либо полезные злаки, а притягивающие своей красотой цветы. Цветочные орнаменты доисторического человека и то обстоятельство, которое установлено антропологами, что первыми земледельцами чаще всего были женщины, говорят в пользу этого предположения. Эмблемой Египта был не колос пшеницы или ячменя, а лотус.

К этим соображениям можно, не вдаваясь в подробности, добавить следующее: Вильгельм Вундт в своей «Антропологии» доказывает, что колесо, этот прообраз всякого механизма и всякой машины, было изобретено впервые для праздничных игр[11]; прежде, чем делать ткани, человек должен был научиться изготовлять ленты, служившие для украшений. Карл Бюхер в своем исследовании «Труд и Ритм» пришел к выводу, что коллективный труд людей, эта основа современного общества, зародился неразрывно связанный с ритмом танцев, пения и музыки[12]. Первые каменные сооружения не имели никакой практической пользы и были связаны с играми или ритуалом, что, по существу своему, тоже игра; самые древние изделия из глины были произведения искусства, так что примитивный человек был сперва скульптором, и только впоследствии стал гончаром; первые металлические изделия не только из золота и серебра, но из меди, бронзы и даже из железа, были украше-

---

10. Против утилитарного объяснения приручения собак, см. Wilhelm Wundt, "Elements of Folk Psychology", 1916, pp. 22-3.

11. Wilhelm Wundt, l. c. pp. 291-2.

12. Karl Bücher, "Arbeit und Rhytmus", 6 Auflage, 1924. Странно, что эта крайне интересная книга до сих пор не нашла себе переводчика на английский язык.

ния, так что металлургия зародилась в мастерской художника и ювелира. Зарождение первых религий неразрывно связано с искусством и, как убедительно показал Гойзинга, с игрой, которая лишь с течением времени окаменевает в ритуал. В знаменитой четвертой части «Социологии» Спенсера, в главе об «Обрядных учреждениях» собрано много фактов, доказывающих, что зарождение государства тоже тесно связано с игрой, которая впоследствии застывает в обрядность и церемонии. В коротком очерке Ортега-и-Гассет о происхождении государства имеется несколько замечательных сопоставлений, доказывающих, что основной ячейкой государства являются свободные спортивные организации молодежи, созданные для игр, танцев и взаимопомощи при умыкании невест[13]. Словом, всюду в изобилии рассеяны следы того, что путь человеческому прогрессу расчищает и показывает не расчет или польза, а красота, гармония и сопутствующие им игра и радость. Доисторический человек, надо думать, инстинктивно оценивал жизнь с над-материальной точки зрения: течение времени у него направлялось не днями печали и забот, а днями веселья и радости. Одно из великих и благодетельных изобретений доисторического человека — праздники, и эти дни игр, песен, танцев и всеобщего веселья стали великим фактором цивилизации.

***

Многим, живущим еще преданиями материализма и утилитаризма, подобный подход к возникновению культуры может показаться необоснованным, противоречащим самоочевидным фактам, легкомысленным и даже недопустимым. Слов нет, жизнь примитивного человека, как и жизнь современного человека, состояла не только из одних праздников, но, главным образом, из дней труда, напряжения, материальных забот и борьбы за пищу, кров и тепло. Но в этой повседневной, серьезной борьбе человек обычно строго придерживается сложившихся инстинктов, установленных обычаев и унаследованных правил мудрости и практичности, и поступает так, как поступали его предки. Между тем, все новые принципы цивилизации,

13. José Ortega y Gasset, "The Sportive Origine of the State", в сборнике статей под общим заглавием: "Toward a Philosophy of History", 1941. Похожие мысли высказаны у Marcel Granet, "La Civilisation Chinoise", 1929, pp. 228-240 (имеется английский перевод).

в момент их зарождения, лежали за чертой этого традиционного поведения. Игра, иррациональная радость гармонии с миром, — с камнями, с огнем, с животными и растениями, — не считаясь с требованиями полезности и целесообразности, как раз выводила человека из круга повседневных забот и подводила к новому, неизведанному и неиспытанному. В дальнейшем, при разработке и усовершенствовании найденного, человек потратил много труда, сил и забот, направленных к определенной цели. Но самые важные изобретения, открытия новых сил и возможностей и установление новых взаимоотношений с миром естественно совершались на пути свободного, безрассчетного творчества. В этом смысле отдельные элементы цивилизации в момент их зарождения всегда были и должны быть чем-то сверх удовлетворения материальных потребностей, излишеством, ненужностью, капризом, баловством, создающимся от переизбытка сил, ex abundantia cordis, как песнь, о которой Гете сказал:

Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet...

Нельзя не отметить, что подобное толкование развития человечества, стоящее в противоречии с рационализмом, утилитаризмом, материализмом и, до некоторой степени, с догматическим дарвинизмом прошлого столетия, вполне созвучно с новейшей биологической теорией мутаций де Фриза и Моргана. Оно дает яркую иллюстрацию тому, что Бергсон называет «жизненным порывом» и «творческой эволюцией» и даже может найти себе корни в индетерминизме, к которому подводит современная суб-атомная физика.

При подобном взгляде на историю цивилизации вскрывается не только подлинный механизм человеческого творчества, но, что еще важнее, уясняется во всей глубине существо цивилизации, как углубление гармонии человека с миром. Всякий успех на пути культуры заключается в установлении новой гармонии с составными частями мира: с неодушевленной природой, с растениями, с животными или же во взаимоотношениях людей. Радость, как эмоция, вызываемая гармонией и ее созданием, естественно, ведет человека по этому пути. Подходя к первобытному человеку с этой стороны, мы в его судьбах видим не цепь друг друга порождающих трудностей, бедствий и неудач, а непрерывное наростание друг друга создающих и обусловливающих успехов и достижений, в подтверждение прекрасных слов Бергсона: «Где радость, там творчество; чем богаче творчество, тем глубже радость».

Искусство

Философы и ученые расходятся в понимании происхождения и основ искусства. Тем не менее, несомненно: каждая цивилизация раскрывается нам прежде всего в творении искусства. Каменные храмы, пирамиды, скульптура, живопись и мифология египтян, сумеров и вавилонян; священные поэмы и пещерные храмы в Индии; пагоды, орнаменты, вазы и книги стихов в Китае; дворцы, храмы, узорная утварь Крита; эпические поэмы Гомера, гармоничные храмы и законченные произведения скульптуры в Греции; песнь о Роланде, Эдда, песнь Нибелунгов, живописные замки, готические соборы и ратуши средневековой Европы; былины и многоглавые церкви в России, — всё это не только формы и символы зарождающейся цивилизации, но, фактически, ее существо. Всякая цивилизация начинается со стихов и поэм, с сооружения храмов, с каменных изображений, с создания красоты по собственному вкусу. Всякий рост и развитие цивилизации оставляет следы в виде своеобразных произведений искусства. Истощение или извращение артистического творчества является верным признаком социальной болезни. Цивилизация, которая не создает гармонии и красоты, мертва.

Всякий может по-своему объяснять роль искусства в жизни. Но остается бесспорным, что с узко материалистической точки зрения искусство абсолютно бесполезно: первыми каменными постройками были или гробницы для мертвых или храмы несуществующим богам; самые великолепные создания скульптуры или живописи никого не одели, не накормили и не согрели. Все создания искусства, взятые вместе, украшая жизнь, ни в чем ее не улучшили с точки зрения основных потребностей человека. Поэтому, если цивилизацию рассматривать, как преодоление трудностей жизни и бедствий, то искусство станет необъяснимо. Неудивительно, что во всех своих шести томах о генезисе цивилизации, Тойнби хранит полное молчание о происхождении искусства. Его Homo Oppressus, занятый борьбой за существование, в драматической последовательности друг друга рождающих бедствий, не имеет времени и возможности думать о красоте. Искусство, нуждающееся всегда в благоприятных условиях для расцвета, — в довольстве, досуге, спокойствии, мире и радости, — никак не укладывается в эту мрачную схему понимания истории.

A thing of beauty is a joy for ever.

Предмет искусства источник радости для мастера, создавшего его, для его современников и для всех грядущих поколений. Кто может исчислить количество радости, созданное бюстом Нефрететы, Венерой Милосской, львами Асоки, «Илиадой» Гомера или «Калевалой»? Поэтому область искусства — это безраздельное царство Человека Радости. Всякий предмет искусства — это след его шествия по векам и тысячелетиям. Совершенная скульптура, гармоничность сооружения, красочность живописи, звучность песни или мелодии, ритм и образность поэмы или сказки, — все они всегда и всюду рождены в радости и всеми ими мы обязаны Человеку Радости. Так как искусство неразрывно связано с цивилизацией и до известной степени дает ей содержание, то этого уже достаточно, чтобы признать в Человеке Радости творца цивилизации.

В. Станкевич.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИХ КРИТИКА

После того, как в течение ряда лет информация из Советского Союза просачивалась за границу редкими и тонкими струйками, сейчас же по окончании войны она разлилась прямо таки грандиозным потоком. Историки должны чувствовать себя так, словно были открыты новые огромные залежи источников. Каждый новый эмигрант является новым источником, а ведь число их измеряется сотнями тысяч. И это еще не всё. Союзные армии захватили немецкие архивы с прямо таки необозримым количеством документов, из которых бóльшая часть вообще никогда не стала бы доступна исследователям. Большинство этих документов никакого отношения к России не имеет, но среди них имеется также немалое количество и таких, в которых можно найти ценные сведения или о Советском Союзе вообще, или о судьбе и настроениях тех советских людей, которые во время войны попали в Германию. Особенно же важны те документы, которые относятся к германской оккупации западных областей Советского Союза.

При таком огромном количестве материала вполне естественно, что до сих пор только сравнительно незначительная часть его могла быть изучена и использована. Но и этой незначительной части было бы достаточно для приобретения очень ценных познаний. И это в известной мере имело место. Но, к сожалению, во многих случаях, новые источники были использованы не только без достаточной критики, но прямо таки с вопиющим пренебрежением самыми элементарными требованиями критической проверки. На этой почве выросли вольные и невольные, часто политически очень опасные, злоупотребления, на которых и следует прежде всего остановиться. Это будет как бы первым введением к критике новых источников.

1

Прежде всего, нужно «остерегаться подделок». Подделными могут быть не только документы, но и живые источники. Я имею в виду не людей, просто дающих ложные показания,

не лжесвидетелей, а именно поддельных, в действительности не существующих свидетелей. По существу, фабрикация таких сведений не отличается от подделки документов. В одном случае фабрикуется, скажем, стенографический отчет о заседании Политбюро, а в другом рассказ таинственного участника этого заседания. Публикуются статьи и даже книги, авторами которых будто бы являются люди, занимавшие в Советском Союзе особенно ответственное положение. В некоторых случаях подделка бывает очень грубой, что однако не всегда мешает тому, чтобы ей верили. Бывает и более тонкая работа, в которой вымысел так перемешивается с подлинной информацией, что при проверке, всё что м о ж н о проверить, оказывается правильным, а ложь проверке, по крайней мере, сразу, не поддается, так что разоблачить ее без тщательной критической работы нельзя. Ну, а кто теперь занимается такой тщательной работой? Небольшому количеству людей с серьезным историческим подходом противостоит целый легион отравленных или страстью к сенсационным «открытиям», или навыками бойкой публицистики.

Недавно появилась и имела большой успех книга, являющаяся в своем роде классическим произведением — до такой степени она переполнена сенсациями, основанными на показаниях поддельных свидетелей. Я имею в виду «За закрытыми дверями» адмирала Закарайаса, бывшего одно время заместителем начальника американской морской разведки, написанная им в сотрудничестве с некиим Фарраго*). Издательство рекомендует адмирала, как величайшего американского специалиста по «интеллидженс» и вообще, как «одного из самых проницательных аналистов в Соединенных Штатах». На самом деле эта книга особенно интересна тем, что тенденция некоторых использованных в ней фальсификаций очень ясно показывает, к а к вдохновляется работа их творцов.

Несколько примеров необходимы, чтобы обосновать тяжелое обвинение, выдвинутое здесь против поставщиков использованного в книге материала. Обратимся сначала к страницам 183-85. Речь идет о советском генерале Чуйкове, заместившем в Германии маршала Соколовского. По словам авторов, назначение этого, будто бы малоизвестного, молодого генерал-лейтенанта вызвало изумление. Но они знают, чем оно объяснялось. Дело будто бы в том, что Чуйков — «полковник во время

*) Ellis M. Zacharias. Behind Closed Doors. New York. 1950.

Сталинграда» — был потом тесно связан с генералами фон Паулусом и фон Зейдлицем, жил с ними в Дмитрове и фактически руководил «Союзом германских офицеров». Всё это — совершенный вздор от начала и до конца. «Во время Сталинграда» Чуйков был не полковником, а генерал-лейтенантом, и командовал знаменитой 62-ой армией, которой была доверена непосредственная оборона Сталинграда. В настоящее время генерал-полковник, дважды герой Советского Союза, он вовсе не был мало известен, а еще со времени Сталинграда принадлежал к числу наиболее прославляемых советских генералов. После Сталинграда он принимал участие в ряде больших операций и, например, именно его армия штурмовала Варшаву, так что совершенно непонятно, как он мог в это время жить вместе с Паулусом и Зейдлицем (которые, кстати, долгое время жили в разных местах) и заниматься «Союзом германских офицеров».

Выдуманные истории снабжаются будто бы точными конкретными деталями, чтобы производить впечатление, будто «информаторы» отличаются особой осведомленностью. В другом месте той же книги (стр. 223) рассказывается, как «на утро после Хирошимы пять руководящих советских атомных физиков были вызваны к Сталину в Потсдам... Они заверили советского премьера, что они изготовят советскую атомную бомбу к концу 1945 года». Беда только в том, что «на утро после Хирошимы», т. е. 7-го августа, Сталина в Потсдаме уже не было, т. к. конференция закончилась 2-го августа. Тем не менее, автор особенно горд своей исключительно точной информацией об изготовлении атомной бомбы в Советском Союзе. Он точно знает, — «из двух одинаково достоверных источников», — что первый взрыв атомной бомбы в России произошел еще осенью 1948 года, почти за год до того, как президент Трюман сообщил об «атомном взрыве». Но первый взрыв, согласно автору, был неудачным, «не контролированным», и был вызван тем, что советские ученые «перегрузили» бомбу, зарядив ее 60 килограммами (какая точность!) У-235. Неудача окончательно раскрыла «секрет» и к июлю 1949 г. была готова уже правильно изготовленная бомба. Закарайас, на основании этих данных, рассчитал, что «русские не будут иметь фабрично-изготовленной бомбы до апреля 1952 г.», а сколько нибудь значительного запаса бомб до 1956 (дата, которую надо заметить). Это установлено на стр. 222, но уже на стр. 226 подносится новая сенсация: 17-го ноября 1948 г. был получен полный отчет об ин-

формации, исходившей от советского ученого, работавшего в одном из атомных центров и бежавшего из России. Согласно этому, уже сверхдостоверному источнику, «Советский Союз производит теперь четыре бомбы в месяц». И это в то время, как согласно двум другим «одинаково достоверным» источникам, в России еще не произвели правильно заряженной бомбы! Автор до такой степени лишен критической способности, что даже не замечает кричащего противоречия между показаниями различных источников, и передает все росказни, как несомненную истину.

Но самой большой сенсацией в книге является рассказ о двух решающих — «исторических» — заседаниях Политбюро, на которых была выработана и утверждена окончательная программа политической стратегии Советского Союза, вплоть до открытого конфликта с Западом. Здесь опять детали потрясающе точны, вплоть до часа, когда председательствовавший, Маленков, закрыл «историческое заседание Политбюро» (так озаглавлена глава) в ночь на 28 января 1949 г. Но и фальсификация была на этот раз особенно груба. К концу августа того же года пришлось созвать новое «историческое» заседание (на этот раз на квартире Сталина!), чтобы исправить установленный план «в свете некоторых новых факторов» (будто бы подлинное «их» выражение, в кавычках в книге). Одним из этих факторов был «выход Югославии из орбиты», а Югославия была «одним из бастионов», на котором покоилась большая часть плана Политбюро (стр. 18). Тут достаточно вспомнить, что конфликт с Тито произошел не между январем и августом 1949 г., а еще в предыдущем, 1948 г.

Нет смысла передавать весь мнимый «план» Политбюро. Но очень важно отметить, что, основываясь на этом «плане» и на «информации» из других источников, адмирал Закарайас делает вывод, что решающим критическим годом будет 1956, и поэтому «дает миру еще пять лет мира» (стр. 66). Правда, еще до 1954 г. можно ожидать в п я т и опасных пунктах (Югославия, Иран, Турция, Швеция и Юговосточная Азия) советскую агрессию, но б е з в о о р у ж е н н о й б о р ь б ы. Любопытно, что ни в этом месте (стр. 14), ни в других, где говорится о советских планах, Корея не упоминается. Повидимому, «информаторы знали, о чем молчать». Вспомним теперь, что и значительного запаса атомных бомб у Советского Союза, согласно автору, не будет до того же 1956 г. Перед нами та, вплоть до корейской войны очень распространенная теория,

которой верили и многие ответственные западные, в том числе и американские, политики, что еще в течение нескольких, а может быть, и многих лет, советская агрессивная политика будет действовать только методами «холодной войны», избегая вооруженных конфликтов. Кому было выгодно внушать убеждение, что Запад имеет еще несколько — 4 или 5, как говорили и писали — лет для организации своей обороны? Открытая советская пропаганда об этом, конечно, ничего не говорила, а изо дня в день твердила, что советское правительство больше всего хочет мира. Факты, однако, слишком противоречили этой пропаганде. Не следует ли заключить, что были пущены в ход «достоверные источники», чтобы по крайней мере внушить убеждение, что Западу с подготовкой к войне особенно торопиться не нужно?

Откуда же был получен отчет о заседаниях Политбюро? На это мы имеем обстоятельный ответ. Авторы книги имели возможность ознакомиться с докладом молодого советского гвардейского полковника, которого они называют Храловым, оговаривая, что это — вымышленное имя. «Полковник Хралов» принадлежал к руководимой Ворошиловым «Особой военной подкомиссии» при Политбюро и в этом качестве присутствовал на обоих исторических заседаниях. После каждого, его посылали курьером в Лигниц (в Силезии) к маршалу Рокоссовскому с документами, касающимися заседания, и инструкциями. После второй поездки в Лигниц он дезертировал «с полной историей великого решения» (стр. 17-19). Понятно, что такой эмигрант должен очень тщательно скрываться и увидеть его, конечно, нельзя. Но зачем же скрывать его имя? От кого? Ведь в Москве-то не могут не знать, кто участвовал в заседаниях Политбюро, кого дважды посылали к Рокоссовскому и кто затем исчез. Заметим, что и советский атомный физик также не был назван настоящим именем, хотя личность профессора, работавшего в атомном центре и затем исчезнувшего, не могла остаться неизвестной. Ссылка на оставшихся в Союзе родных в таких случаях не имеет смысла, и единственным основанием скрывать имена именно таких «информаторов» может быть только то, что они в действительности не существуют.

В одном примечании (стр. 335) имеется ссылка на полковника Кирилла Калинова, связанного (an "associate of") с «Храловым». Этот Калинов будто бы был начальником технического отдела при главной квартире советской оккупационной

армии в Германии, откуда он и бежал весной 1949 г. Под этим именем появился в Швейцарии, Франции и Германии ряд статей, а затем в Париже вышла «его» книга о советских маршалах*). Я не могу здесь рассказывать о сомнениях, которые появились у меня при чтении этой, очень живо написанной книги, с рядом данных, которые были бы очень интересны, если бы были подлинными. Но после долгих поисков и размышлений (поэтому о них и было бы слишком долго рассказывать) я пришел к заключению, что книга является подделкой и что «полковник Калинов» не существует. Почему, — чтобы привести один из аргументов, — в свое время ничего не стало известно о бегстве лица, занимавшего такой важный пост? В парижском «Возрождении» (август-сентябрь 1950) Врага поместил о книге Калинова статью, в которой он категорически заявляет, что такого полковника не существует. Насколько мне известно, никаких попыток опровергнуть утверждение Враги сделано не было. В двух номерах американского журнала «Репортер», от 26 сентября и 10 октября 1950 г., появились статьи того же «Калинова» о том, «Как Россия создавала северно-корейскую армию». В этой статье «Калинов» поведал, что в конце декабря 1948 г. он, вместе с группой советских офицеров, был послан в Корею. Оттуда он — не раньше начала марта — был вызван обратно в Москву, а из Москвы «назначен в Берлин», откуда и бежал. Странно, однако, что в его книге нет никаких следов его корейской миссии. Читатель остается под впечатлением, что он был в Германии несколько лет — при Жукове, Соколовском и Чуйкове. Более того, в книге он рассказывает, что в н о я б р е 1948 года, в отпуску из Берлина, он провел в Москве «десяток дней». Там он видел маршала Василевского и советовался с ним по поводу сделанного ему, Калинову, предложения ехать в Китай. Василевский отосоветовал, считая поездку в Китай бесполезной, так как правительству Чан-Кай-Шека осталось жить не более года. Казалось бы, это был случай упомянуть, что вскоре после того он был послан в Корею. В статье «Калинов» рассказывает о конференции в Москве, на которой было решено организовать северно-корейскую армию. Председательствовал Булганин. В книге, в главе о Булганине, об этом ни слова, и глава кончается тем, почему Булганин впал в немилость! Зато он передает в статье слова принадлежав-

---

*) Cyrille Kalinov. Les Maréchaux soviétiques vous parlent. Paris. 1950.

шего к миссии генерала Захарова о том, что с северными корейцами надо быть осторожными. Если им дать хорошую авиацию и броневую армию, то они смогут быстро дойти до конца Кореи, а затем атаковать дальше: «это означало бы войну с Соединенными Штатами, а мы не заинтересованы в том, чтобы вызвать такую войну». И сам «Калинов» пришел к заключению, что «мы (т. е. советское правительство) не имеем намерения превратить Корею в бастион для наступления в Тихом океане». Рука советской пропаганды тут уже слишком видна.

«Калинов», «Хралов», а затем еще «Крылов», бывший секретарем и Шапошникова, и Булганина, тоже, конечно, посвященный во все тайны — мутный поток фальсификаций, растекающийся, повидимому, в Париже, где были напечатаны книги «Крылова» и «Калинова». Скоро, вероятно, появится и книга «Хралова». Кроме этих, существуют источники, если не доказанно поддельные, то по меньшей мере сомнительные. В некоторых случаях сомнительно существование их мнимых авторов, в других авторы могут быть известны, но сами являются «сомнительными личностями», с той или иной целью выдумывающими или искажающими факты. А между тем, их цитируют, на них ссылаются, нисколько не заботясь о критической проверке источников. Правилом должно быть: не пользоваться источником, не имея данных о его достоверности. Конечно, новые эмигранты часто имеют вполне законные основания не называть публично своих настоящих имен, но в большинстве случаев с необходимыми предосторожностями можно, по крайней мере, убедиться в их существовании. Если такой возможности нет, источник должен считаться сомнительным, как бы он ни казался интересным: это во всяком случае неизмеримо лучше, чем, как это произошло с адмиралом Закарайасом, стать распространителем опасных фальсификаций.

2

Не всегда благополучно обстоит дело и с использованием подлинных источников — показаний свидетелей и документов. Что касается первых, рассматривая, как «свидетелей», всю массу новых эмигрантов, то методика их использования связана с целым рядом сложных психологических вопросов и требует совершенно особого подхода, так что в нашей связи лучше ограничиться некоторыми соображениями только о документах. Чтобы хоть отчасти пояснить принципиальное разли-

чие, укажу только на то, что документ остается всегда неизменным — таким, как он написан, тогда как показания свидетеля, даже при его полной искренности, могут меняться: в зависимости от времени, отделяющего его от фактов, о которых он рассказывает, от обстановки, в которой он дает свои показания, от его данного душевного состояния, от его отношения к спрашивающему, а также — и это очень важно — от того, как его спрашивают, от характера вопросов, формы их постановки и т. д. Правда, и документ надо уметь «опрашивать», но тут, как мы увидим, «опрос» имеет совсем другой характер.

Огромное изобилие источников само по себе может поставить исследователя перед очень большими трудностями. Но в случае документов, захваченных в Германии, имеется особое препятствие, пока что непреодолимое. В принципе эти документы являются недоступными для исследователей, не имеющих определенных правительственных заданий. Та часть их, которая была опубликована, или была отобрана под особым углом зрения, или попала в печать случайно. За очень немногими исключениями, мы имеем перед собой документы, отобранные для нюренбергских процессов, в особенности — многотомная публикация документов для большого процесса (Геринга и других). Но документы эти отбирались не историками и не в целях исторического исследования, а представителями обвинения в процессе для обоснования обвинения. Основная цель была дать возможно более полную и яркую картину всей чудовищности нацистского режима, и эта цель была достигнута. Но отбор был односторонним и тенденциозным: не в том смысле, что игнорировались «смягчающие обстоятельства» — для большинства обвиняемых таких обстоятельств не было, — а главным образом потому, что союзные обвинители избегали материала, который был бы неприятен советской стороне. Поэтому на основании нюренбергских документов можно только догадываться, что в общей массе документов имеется богатый материал и относительно Советской России, а в особенности — о жизни и деятельности советских людей, так или иначе попавших во время войны в Германию. Одним из исключений является речь Гиммлера с яростными нападками на генерала Власова.

Одним из примеров усердия не по разуму явилась попытка со стороны американского обвинения отрицать серьезность борьбы немцев против русского партизанского движения и обос-

новать утверждение, что «борьба против партизан» была для немцев только условным названием (code name) для истребления евреев. Вряд ли эта неуклюжая попытка особенно понравилась советской стороне! Она была и прямым искажением исторической истины. Партизанская борьба представляла очень серьезное препятствие для действий германской армии, а для зверского истребления евреев наци в псевдонимах не нуждались. Печальным результатом игнорирования значения партизанской борьбы было то, что из картины германской оккупации выпал ряд элементов, особенно ценных для выяснения условий жизни и поведения русского населения. Еще следует предостеречь против пользования английскими переводами, которые часто чрезвычайно безграмотны. Подлинными можно считать только документы, опубликованные в немецком оригинале.

Несколько документов, случайно оказавшихся доступными, опубликованы в русском переводе в книжке Б. Двинова «Власовское движение в свете документов». Один из них — протокол совещания у Гитлера от 8 июня 1943 г., — чрезвычайно интересен, и опубликование его можно только приветствовать. Но качество публикации, к сожалению, очень неудовлетворительно. Это относится и к редакции текста и, в еще большей степени, к комментированию. Большим препятствием для Б. Двинова было прежде всего недостаточное знание немецкого языка. В тексте книги, он цитирует, напр., из дневника Геббельса, что «генерал Власов... был з д о р о в о о ш а р а ш е н нашим министерством Востока». Стоящее у Геббельса "kaltgestellt" никак не значит «ошарашен». Власов был поставлен на лед, или что нибудь в этом роде, т. е. устранен от активной деятельности. Если Б. Двинов пользовался английским переводом, то там стоит "shelved", что передает смысл достаточно точно. В этом случае, было, конечно, проявлено недостаточное знание не немецкого, а английского языка или же просто небрежное отношение к тексту. Но перевод упомянутого протокола сделан, уже несомненно, с немецкого. Тем не менее, там, например, фигурирует «командующий восточными а р м и я м и», какого никогда не было и быть не могло. Ведь тут же говорится, что «восточные» добровольцы не группировались в единицы больше баталионов. Откуда же могли взяться целые армии? Речь идет, очевидно, о восточных войсках или отрядах (Truppen). В книжке воспроизведены в оригинале только первые страницы некоторых документов, но и по ним можно установить несколько неточностей перевода, а это заставляет с

осторожностью относиться ко всему тексту. Тем не менее, с осторожностью им пользоваться можно.

С другим документом произошло недоразумение совершенно фактическое — отчасти в результате недостаточного знания языка, но главным образом вследствие полного незнакомства с основными фактами. Б. Двинов публикует меморандум Гиммлера от ноября 1940 г. По его мнению, этот документ показывает, как уже тогда Гиммлер понимал те «специальные задания», которые он позднее получал для политического управления, при будущей оккупации частей Советского Союза. По мнению Двинова, «общий смысл и цель его (документа) просты: уничтожение народов Востока, как самостоятельной национальной единицы, со всей их культурой» (стр. 18). Чтобы не оставить никакого сомнения, Двинов в приводимой цитате к словам «на Востоке» в скобках прибавляет «Европы». Между тем, в документе речь идет совсем о другом. Уже сравнивая воспроизведенную в оригинале первую страницу с переводом, видно, что Двинов совершенно не разобрался в тексте и не понял, что Гиммлер говорит о какой-то области, в которой он различает основное население — поляков и евреев, и мелкие народности — украинцев, белоруссов, горалов, лемков и кашубов. Ясно, что речь идет не о Советском Союзе; и нетрудно догадаться, какая именно область имеется в виду. А дальше прямо говорится о 15-ти миллионах человек в генерал-губернаторстве, т. е. в Польше и 8-ми миллионах в других восточных провинциях. Ясно, что это области, присоединенные к Германии после разгрома Польши, в 1939 г. «Восток» в этом документе не «Восток Европы», как «поясняет» Двинов, а новые провинции на востоке. Так как в 1939 г. украинская часть Польши отошла к Советскому Союзу, то понятно почему в документе украинцы отнесены не к главным группам населения, а к мелким народностям: в отошедших к Германии областях их осталось немного.

Не лучше обстоит дело с «пояснениями», которые автор делает к наиболее важному из опубликованных им немецких документов. Грубые ошибки в его примечаниях к протоколу совещания у Гитлера приводят к полному искажению перспективы, в которой надо рассматривать этот протокол. А между тем объяснительные примечания в данном случае необходимы.

Совещание было посвящено вопросу о разного рода добровольцах, из населения Советского Союза. Участвовали в нем, кроме самого Гитлера, генералы Кайтель, Цайцлер, Шмундт

и — безмолвно — полковник Шефф (историограф войны). В тексте очень существенны упоминания генералов Клюге и Кюхлера. О Кайтеле Двинов пишет: «Фельдмаршал Кайтель состоял при ставке Гитлера, возглавляя Верховное Командование всеми вооруженными силами Германии». Но если Кайтель «возглавлял», то что же делал Гитлер? На самом деле возглавлял Верховное Командование, конечно, Гитлер. Двинова, очевидно, ввело в заблуждение то, что Кайтель назывался «шефом Верховного Командования». В немецком языке шеф не означает вождя или, в армии, командующего генерала (во французском это иначе). Кайтель не имел командной власти, и «возглавлял» не Верховное Командование, а его административный аппарат. Чтобы понять его действительные функции, надо знать о том преобразовании, которое Гитлер провел в феврале 1938 г. После отставки Бломберга, Гитлер упразднил военное министерство и создал «Верховное Командование», как особый орган; «возглавление» этого органа он взял на себя, а своим помощником по административной части (вместо прежнего военного министра) он назначил Кайтеля, со званием «шефа Верховного Командования». Для правильного «чтения» документа очень важно знать, что перед лицом Гитлера, Кайтель ни в коей мере не представлял армии, ее взглядов и настроений, а был только совершенно покорным исполнителем воли Гитлера.

Генерала Цайцлера Двинов не очень точно называет начальником Генерального штаба «при ставке Гитлера». На самом деле, он был в то время начальником Генерального штаба армии, сменив на этом посту Гальдера, который был начальником Ген. штаба до и первые три года войны. (На стр. 24 Двинов утверждает, что в сентябре 1941 г. начальником штаба был Гудериан!). Гальдер никогда не был наци; он имел самостоятельные идеи, которые старался отстаивать. Он был смещен 24 сентября 1942 г., т. к. уже тогда видел опасность сталинградской операции и настаивал на ее прекращении. Цайцлер более покорно подчинился воле Гитлера, но всё же не так слепо, как Кайтель, будучи по своему положению более восприимчивым к мнениям и запросам командующих генералов.

Протокол показывает, как резко отрицательно Гитлер относился к идее усиления роли русских добровольческих частей и, в частности, роли генерала Власова, которую он, наоборот, фактически приказал свести на нет. Но спорил он не с участниками совещания, а с отсутствующими инакомысля-

щими: генералами, Розенбергом, и — не называя его — с Геббельсом. В частности, он определенно был на стороне Коха против Розенберга, т. е. за политику самой брутальной эксплоатации оккупированных областей. Как генералы, представлявшие другую точку зрения, упоминаются Клюге и Кюхлер. Гитлер заметил кое у кого «опасную психологию»: «даже у Клюге это несколько раз прозвучало. Мы, мол, получим огромное облегчение, если построим русскую армию». Кайтель жаловался на то, как трудно внедрить идеи Гитлера по данному вопросу «нашим генералам»: «Я должен открыто сказать: я сам это знаю по Кюхлеру и Клюге». Кто же это были такие? О Кюхлере Двинов не сообщает ничего, а о Клюге говорит, что он «командовал армией на юге России». Это — очень грубая ошибка, которую не мог бы сделать автор, сколько-нибудь знакомый с историей войны на восточном фронте, в которой Клюге играл очень большую роль. В течение долгого времени, и в том числе в июне 1943 г., он был командующим всей центральной группой армий, а Кюхлер в то время командовал всей северной группой. К этому надо добавить, что совещание имело место за четыре недели до начала знаменитого курского наступления немцев, в котором Клюге был особенно заинтересован, и неудача которого должна была иметь решающее значение для всего дальнейшего хода войны, что командующие генералы понимали.

Теперь мы имеем хотя бы в общих очертаниях, «перспективу» совещания, и только теперь (еще пополнив анализ) мы имели бы право пользоваться его протоколом, как источником. Здесь мы коснемся только одного вопроса, имеющего для Двинова центральное значение. Как мог Власов надеяться играть значительную роль? Зная отношение Гитлера к нему и возглавляемому им движению, следует как будто считать его чуть ли не идиотом или по крайней мере совершенно ослепленным человеком. Совсем иначе выглядит дело, если учесть и тот разброд мнений о политике на Востоке, и в частности, по отношению к добровольцам в германских правительственных кругах, и ту поддержку, на которую Власов более или менее мог рассчитывать. Клюге и Кюхлер были не дураками, и Гитлера они знали. Если же по крайней мере два из трех в то время важнейших командующих генералов не считали бесплодным добиваться мероприятий, шедших навстречу стремлениям Власова, то и сам Власов был уже не так наивен, надеясь этого добиться. К тому же он имел некоторую поддержку со сто-

роны Розенберга и в гораздо большей степени — в министерстве иностранных дел. Под конец он ведь и дождался «признания», но когда это было уже слишком поздно.

Я не вхожу здесь в политическую оценку власовского движения. И при точном знании фактов она может быть различной, но во всяком случае не такой, какую дает Б. Двинов на основании *неверного* чтения документов. Для него оно «геббельсовский трюк» (стр. 47). Между тем, ни к возникновению пропаганды вокруг имени Власова, ни к возникновению власовского движения, Геббельс никакого отношения не имел. Двинов мог бы это заключить даже из приводимой им самим цитаты из дневника Геббельса. 29 апреля 1943 г., т. е. несколько месяцев после начала власовской пропаганды, Геббельс был еще так плохо осведомлен, что писал о Власове, как о «сражающемся на нашей стороне в сепаратистской армии» (по английскому переводу), тогда как Власов тогда вовсе не сражался, и никакой власовской армии не было. Геббельс сам возмущался тем, что он был устранен от восточной политики. Да и в одном из опубликованных Двиновым документов (приложение № 8) обстоятельно разъяснено, какую роль министерство пропаганды играло на Востоке: «Розенбергу принадлежало политическое руководство, а министерству пропаганды оставалось только техническое выполнение пропаганды» (стр. 116).

В своей недавно вышедшей книге*), голландский историк Ренир делает очень ценное указание: «читая документ, историк должен всё время спрашивать себя: следом каких событий он (документ) является? Это гораздо более плодотворный подход, чем спрашивать: для какого знания это источник?» (стр. 103). Но если документ попадает в руки, не историка, а журналиста с полемическими склонностями, то он спрашивает: какую пользу я могу извлечь из него для моей полемики? При таком подходе искажение источника почти что неизбежно, даже при субъективной добросовестности автора. Вполне естественно, что Б. Двинов хотел опубликовать попавшие ему в руки интересные документы; за это он заслуживает не порицания, а благодарности. Понятно, что он хотел их использовать для обоснования своей полемической позиции. Но прежде всего он должен был позаботиться о том, чтобы правильно передать

*) G. N. Renier. History. Its Purpose and Method. Boston, 1950.

текст и дать, поскольку они были необходимы, правильные пояснения. Для этого ему было бы необходимо заручиться сотрудничеством человека (или людей) с достаточным знанием языка и основных фактов, относящихся к данной эпохе. Он, наверное, своих выводов и в этом случае не изменил бы, потому что они имелись у него уже готовыми, еще до ознакомления с опубликованными им документами. Но удовлетворительная публикация помогла бы использованию этих документов также и тем, кого они интересуют, как средство познания, а не только полемики, — всем тем, кто руководствуется предостережением одного из мастеров историографии, Фюстель-де-Куланжа, что тот, кто подходит к тексту с предвзятой идеей, будет читать в нем только то, что он хочет читать.

Ю. Денике.

КОММУНИЗМ И ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПА

РОКОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

«Я убежден в том, что политическое объединение мира в близком будущем — факт безусловно предрешенный...

Я считаю, что огромный и поистине страшный политический вопрос нашего дня заключается не в том, произойдет-ли политическое объединение мира, а в том, каким из двух возможных способов произойдет это объединение, осуществление которого — вопрос недалекого будущего».

Так пишет один из самых интересных философов и историков нашего времени — Арнольд Тойнби, в своей, вышедшей в 1948 году, книге "Civilization on Trial". Под теми двумя способами, которыми может произойти политическое объединение, Тойнби подразумевает — с одной стороны, мировую войну, в результате которой — если под ударами атомных бомб не погибнет наша цивилизация — мир будет объединен путем «военного нокаута» (либо под руководством Москвы, либо под руководством Вашингтона); с другой стороны — добровольное объединение путем создания мирового правительства.

Это мнение английского историка — не политическая теория, а выражение глубоко живущего в сознании (или подсознании) каждого европейца убеждения, что сейчас всего лишь — антракт между предпоследним и последним актом великой трагедии, название которой «судьба одной цивилизации».

Несмотря на многообещающие официальные лозунги последней войны: "the war to end wars", вторая мировая война ни в ком (по крайней мере в Европе) не вызывала чувства какой-то окончательности; теперь же у всех какое-то чувство окончательности (не обязательно конца), убеждение, что дальше по старому продолжаться не может и что нужно что-то радикально изменить не только в политической структуре Европы, но и в самой основе нашего политического мышления.

«ТВОРЧЕСКИЙ ЦИНИЗМ»

Это чувство, что должно произойти нечто окончательное, выражается не только в нашей философии, но и в тысяче мелких повседневных фактов: в стремлении обывателя расходовать большую часть своих денег на предметы потребления, не задумываясь над завтрашним днем и не делая никаких капиталовложений; в какой-то выжидательной позиции, заставляющей смотреть на все явления наших дней, как на нечто переходное; в равнодушии, а часто, прямо таки, в презрении к политике; в жажде удовольствий, во всюду растущем интересе к изучению Библии и, в частности, Апокалипсиса (здесь сотни обществ, занимающихся изучением «Откровения Иоанна Богослова») и в тысяче других чрезвычайно знаменательных явлений.

Я хочу сразу же ответить на возможное возражение, что всё это было также и после первой мировой войны, как бывало и раньше после всех больших потрясений. Конечно, бывало, но, как говорят французы, «важно не ч т о, а к а к».

После первой мировой войны, во Франции, например, было возмущение политиками из убеждения, что всюду коррупция, фаворитизм, интриги. Было возмущение политиками, но не политикой. Сейчас же равнодушие к самой политике среднего француза имеет совершенно иной характер, с одной стороны, более грозный, с другой, если мы сумеем правильно оценить и использовать этот «психологический климат», более утешительный. Корни его уходят в сознание, что хотя вопросы внутренней политики: бюджет, социальное законодательство, уровень цен и т. д. и имеют большое значение на сегодняшний день, они — невесомы на чаше «настоящей» международной политики, которая определит судьбы отдельных стран Европы. Сегодня каждый француз сознает, что судьба Франции зависит в очень малой степени от французского народа и будет в конечном счете определена прежде всего тем, кто из двух гигантов — США или СССР — выйдет победителем из наростающего конфликта.

Если прежде решение французского правительства стать в вопросах внешней политики на одну или другую сторону могло в значительной степени определить судьбы Европы, сейчас государства нашей раздробленной Европы чувствуют себя стушевавшимися в тени двух гигантов. Отсюда либо равнодушие, либо цинизм, либо анахронизм националистического воинствующего комплекса неполноценностей; либо, наконец

— вера в спасительность интернациональной политической формулы Кремля, гарантирующей соблазнительный мир, после создания «Мирового Союза Социалистических Республик».

Цинизм, воцарившийся во всем мире после первой мировой войны был цинизмом разочарования. 45 лет мирной жизни, предшествовавшие в Европе первой мировой войне, небывалый экономический, промышленный и научный прогресс — всё заставляло верить, что параллельно с культурным прогрессом шло повышение морального уровня. Первая мировая война развеяла эту иллюзию, показав, как неглубок тонкий слой нашей цивилизации, под которым кроется попрежнему первобытный дикарь. Люди вдруг поняли, что моральная жизнь человека и развитие науки и цивилизации — два совершенно различных потока и 45-летний мир в Европе был обусловлен не тем, что мы стали лучше, а лишь тем, что мы применяли избыток своей жизненной энергии на других континентах.

Этот цинизм разочарования, вошедший особенно ярко в историю, как безумные двадцатые годы нашего века, мы пережили. Цинизм же сегодняшнего дня — да простит мне читатель несколько парадоксальное выражение — цинизм творческий. Он порожден горечью еще неполностью осознанного нами разрыва между политикой, руководимой тяжелодумами нашего дня, всё еще глубоко увязшими в традиционных узконациональных политических понятиях, и огромным сдвигом в нашей психологии, еще смутно, но безошибочно сознающей, что только настоящая смелость, инициатива, призыв к нашим лучшим чувствам, ставка на сверхнациональное объединение могут спасти нас от того объединения «нокаутом», о котором говорит Тойнби.

КОНКВИСТАДОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

Октябрьскую революцию идеологи большевизма не напрасно называют началом новой эры (хотя в ином смысле, чем это подразумевает пишущий эти строки). Большевицкий переворот доказал всему миру, что в современных условиях захват власти в стране и управление ею, вопреки воле большинства, прежде всего — вопрос организационный. И в прежние времена власть в стране часто принадлежала относительному меньшинству, обычно опиравшемуся на военную касту. И в прежние времена «правление страхом» — было нередким явлением. Но рост значения рабочего класса и демократизация

войска в корне изменили ту несложную схему, по которой в прежнее время тираны захватывали и держали власть.

В современных условиях для того, чтобы сложная государственная машина исполняла все свои функции, необходимо, чтобы все нервные узлы были под контролем власти. Поэтому всё сводится к созданию костяка государственного аппарата и постоянному контролю над ним. Организованность — сама по себе стала огромной силой; в наш технический век даже количественно значительная оппозиция бессильна, если она не может создать технической организации и аппарата.

Знаменитое Ленинское «кадры решают всё» было первым выражением признания большевиками примата идеи организованности, впоследствии зафиксированного в сталинской конституции. От господства военно-дворянской касты (до Французской революции) через господство количеств (век демократии), мы неожиданно пришли к возможности суверенитета принципа организации, против которого еще вчера всесильный принцип количеств оказался во многих странах бессильным.

Я отнюдь не хочу сказать, что Советский Союз — самая идеально организованная страна в мире. Конечно, в Соединенных Штатах и Великобритании государственный аппарат организован значительно лучше и работает более четко, чем в СССР. Я говорю не об этом, а о том, что Кремль сделал не только фактической, но также и правовой основой государственной власти не волю большинства, а организационный принцип, на который он опирается, вопреки народной воле.

Фактически, во всех нервных узлах страны, на всех ключевых позициях — свой человек, для которого не существует ничего, кроме воли партийного аппарата. Юридически, этот принцип введен в сталинскую конституцию, уже как основа государственного права. Коммунистическая партия охарактеризована в конституции, как авангард рабочего класса, как организация самых сознательных граждан страны, при чем за ними признается руководящая роль. Количественный принцип демократии заменен принципом политической организации. Это не случайное положение, а основа государственного порядка. Историко-философская основа этой революции в области государственного права очень проста: большевизм, пришедший к

власти в России в результате революции, с помощью конспиративной, малочисленной и замкнутой в себе организации, сделал то, что раньше было его революционной тактикой, постоянной основой своего государственного права.

Отсюда невероятное для нас правовое конквистадорство: введение в сталинскую конституцию, в применении к коммунистам, таких терминов как: «самые сознательные граждане», «авангард трудящихся» и, наконец, «руководящее ядро организаций трудящихся», (статья 126). В статье же 141-ой конституции указано, что право выставлять кандидатов на выборы имеют... организации трудящихся и больше никто. Тем самым руководящее коммунистическое ядро официально объявлено вершителем судеб России, ибо выборы, а следовательно, и состав Верховного Совета и состав правительства, находятся под контролем организаций, деятельность которых определена какими-то внеконституционными, чисто организационными положениями: страной руководит замкнутый в самом себе организационный аппарат, пополняющийся путем кооптации и отделенный непроницаемой броней от народа.

Чрезвычайно важно, чтобы человечество себе уяснило, что это новое революционное толкование государственного права, внесенное большевиками — один фактор, а политическая программа коммунизма — совершенно иной фактор, не только логически, но фактически отличный и отделимый от первого. Лишь их совокупность составляет большевизм. Это совершенно верно учли и Гитлер, и Муссолини. Несмотря на то, что коммунизм им был совершенно чужд, они полностью переняли силовой принцип государственного управления. И, как я указываю ниже, в соответствии с этими двумя принципами, коммунистическая 5-ая колонна во всем мире разделяется на две различные, морально противоположные группы: на «реалистов», ориентирующихся на организационный принцип и составляющих во всем мире костяк коммунистической 5-ой колонны, и на идеалистов, приверженность которых коммунизму основана на искреннем идеализме и на непонимании того факта, что основа сталинизма — не столько политическая доктрина, сколько суверенитет принципа закрытой организации.

Нельзя закрывать глаза на то, что, если в мире появляется какой-то фактор, заключающий в себе силу и власть, всегда найдутся люди, которые попытаются им воспользо-

ваться. Коммунистическая пятая колонна во всем мире и есть та группа людей, которая знает о существовании этого клада, знает, что, если 10.000 человек поставлены в каком-то определенном порядке по какому-то определенному организационному плану, они смогут добиться власти над миллионами себе подобных, наивно верящих в свою количественную правоту и не подозревающих о тайной магической динамике бога (или демона) организованности, ставшего в наш технический век более могущественным, чем арифметика количеств.

Идеологические и моральные вопросы играют для большинства этих конквистадоров государственного права очень относительную роль. Всё оправдано будущим счастьем в «Союзе Коммунистических Республик Земного Шара». Критика советского марксизма или моральное осуждение сталинизма не производят на них никакого впечатления. Что касается тех, кто по незнанию, примыкает к сталинскому коммунизму из искреннего политического идеализма, то они почти никогда не подымаются выше уровня серого болота, в котором посвященные жрецы бога организации вызывают бури, чтобы, парализовав с их помощью нормальную жизнь в стране, осуществить уже не бесплотные видения будущего рая, а всю полнокровную, горячую реальность власти. А идеалисты, исполнившие свой долг, кончают свою жизнь в концлагере.

ДВЕ ПЯТЫХ КОЛОННЫ: ЭЛИТА И МАССА

Я знал многих агентов коммунистической пятой колонны заграницей и могу сказать без преувеличения, что 80% их были людьми, страдавшими от затаенной обиды, нанесенной их раздраженному, обычно больному самолюбию буржуазным обществом. И именно это, в соединении с коммунизмом, делало их исключительно опасными и решительными людьми. Мстя обычно из чисто субъективных побуждений буржуазному обществу, человек неожиданно убеждался в том, что, став на платформу компартии, он, и в оценке единомышленников и в своих собственных глазах, вдруг становился героем, пионером великого дела. Я далек от того, чтобы оправдывать социальную несправедливость; я полностью солидаризируюсь с борьбой социалистов за социальную справедливость и отнюдь не отношу к категории только-что описанных мною фанатиков те массы итальянских или французских рабочих или крестьян, которые верят в то, что коммунизм (о котором они

не знают ровно ничего), осуществит в их стране социальную справедливость. Но эти маленькие люди, если и становятся 5-ой колонной, то лишь в самом низу, как «масса», но никогда не как тот организационный скелет, на котором зиждется коммунизм. Опора коммунистической 5-ой колонны вербуется, главным образом, из числа людей, страдающих раздвоением личности — шизофренией; люди, у которых воинствующий комплекс неполноценности (социальная несправедливость, воспринятая не как общественное зло, а как л и ч н а я о б и д а), вызывает каррикатурную реакцию — комплекс воинствующего превосходства («мы им еще покажем, кто будет править миром»).

По моему глубочайшему убеждению именно здесь — на трудно-определимой грани между комплексом субъективности и комплексом объективности и находится весь психологический узел политической проблемы. Недаром психоанализ считает «субъективное чувство безусловной личной правоты» самым опасным тоталитарным комплексом. Если человек воспринимает социальную несправедливость, как общественное зло, то он пойдет по пути служения, на вершинах которого он встретит Жореса и Ганди. Если же он пойдет по субъективному пути, он опустится до уровня Ежова и Гиммлера. Это самая страшная категория людей, ибо их нельзя переубедить, так как их убеждения имеют эмоциональную основу, заключающуюся в неизжитой и обычно никогда неизживаемой личной обиде и жажде мести, нашедшей псевдо-объективное обоснование в принципе классовой борьбы.

Единственный успешный способ борьбы с ними заключается в с о з д а н и и и с т и н н о д е м о к р а т и ч е с к о г о с о ц и а л ь н о г о к л и м а т а, к о т о р ы й и с к л ю ч а л б ы п о я в л е н и е с о ц и а л ь н ы х п р и в и л л е г и й и г р у б о г о э к о н о м и ч е с к о г о н е р а в е н с т в а, п о р о ж д а ю щ е г о п о л и т и к о - п с и х о л о г и ч е с к у ю ш и з о ф р е н и ю к р а с н о й «э л и т ы» и м а с с о в о е н е д о в о л ь с т в о и б е с п о к о й с т в о «н и з о в».

Вот почему истинными противниками коммунизма во всём мире являются не правые, а социалистические партии. Между тем во всём мире, а в особенности среди русской эмиграции, всё еще не изжито стремление противопоставить коммунизму наивную систему, построенную на политическом каламбуре, на бессмысленной игре слов: коммунисты-де «левые» и социалисты тоже «левые», значит это — два сапога — пара. Нет-с,

«левизну» можно вышибить только «правизной». Понятия «левый» и «правый» давно утеряли свой смысл в применении к коммунизму, и его нельзя уничтожить каламбурами.

Но в век атомной бомбы одной социальной программы недостаточно, нужно еще успешно разрешить основную политическую проблему сегодняшнего дня: проблему международных отношений. Демократия должна стать международной.

5-АЯ КОЛОННА — НЕ ТОЛЬКО БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НО И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

Нужно признать, что в борьбе против коммунистической 5-ой колонны западные демократии показали себя до сих пор очень неловкими. Борьба ведется не на той плоскости, на которой она должна вестись.

Во-первых, она ведется чисто оборонительными способами, вместо того, чтобы вести ее способами наступательными.

Во-вторых, она ведется, главным образом, чисто механическим способом в то время, как ее нужно вести в плоскости психологии и идеологии.

Конечно, в Советском Союзе нельзя организовать активную анти-коммунистическую 5-ую колонну, которая могла бы опрокинуть власть Кремля. Методы НКВД слишком действительны и решительны, чтобы можно было создать большое анти-коммунистическое движение в пределах СССР. Но там возможна потенциальная пятая колонна, армия недовольных властью, готовых обратиться против Кремля, при первой в о з м о ж н о с т и. События прошлой войны, когда миллионы красноармейцев сдавались, в первые месяцы войны, немцам, не желая защищать свое колхозное счастье, подчас желая активно выступить против Кремля — политический урок огромной важности. Урок, который, правда, нельзя легкомысленно обобщать.

В 1939-40 году недовольство властью было поистине стихийным, а вера в «Запад» столь же искренней, как и наивной. Освобождение от больших страданий всегда несет в себе комплекс какого-то положительного творческого заряда, заставляющего верить (подчас, вопреки рассудку) во что-то светлое и хорошее. Этот заряд был в России очень силен в 1939-40 годах, в особенности в результате занятия Красной Армией Прибалтики и Восточной Польши, где сотни тысяч простых бойцов воочию убедились, насколько лучше жизнь в «капиталистических» странах, чем в СССР. Ведь слухи и рассказы

знакомых и друзей определяют настоящее общественное мнение в СССР в значительно бóльшей степени, чем официальная пропаганда. Жестокое разочарование, пережитое русским народом из-за политики Гитлера, если оно и не разрушило антикоммунистический комплекс среднего советского обывателя, нанесло страшный удар его вере в «Запад». То же, что ему в Германии продемонстрировали союзники: насильственная выдача «остовцев» с погоней за людьми, бесправие и беспомощность в лагерях Ди Пи; то, что сейчас ему известно о судьбе перебежчиков «избирающих свободу» (а, поверьте мне, ему известно очень и очень многое), та безотрадная картина беспомощности, какую являет ООН, жалкая раздробленность европейских стран, всё это вместе взятое нанесло чувствительный удар той едиственно возможной потенциальной психологической анти-коммунистической 5-ой колонне, которая должна быть главной опорой демократического Запада в его борьбе против Сталина. И не только в случае открытого конфликта.

Коммунистическая верхушка Кремля, вообще, хорошо осведомлена о настроениях в стране, и чем сильнее будет внутреннее недовольство властью, тем с бóльшей осторожностью эта власть будет смотреть на возможность открытого конфликта. Самое сильное и самое действительное оружие западных демократий в борьбе против Кремля это — их престиж в сознании советского обывателя.

Престиж этот, однако, сильно пострадал и демократии могут восстановить его только одним способом: смело и решительно приступить к осуществлению сверхнационального объединения Европы и сделав, наконец, демократию не только мерилом внутренне-политической жизни каждой отдельной страны, но и действительно международным принципом.

ДЕМОКРАТИЯ НА РАСПУТЬИ

Разрыв между слишком неэластичной политикой государственных деятелей «наверху» и потоком народных стремлений «внизу» — та почва, на которой растут и часто, в конце концов, вызревают революции. Если в Азии коммунизм сумел использовать «разрыв» между стремлением масс и политикой верхов в социальной области, то в Европе он сейчас не без успеха делает ставку также и на «разрыв» между верхом и низом в области международной политики. Всё чаще приходится слышать мнение:

— «Ну что-ж, если всюду будет коммунизм, то хоть раз

навсегда конец войнам! А там мы уж сами понемногу перестроим коммунизм. Конечно, первое время будет хуже, ограничат свободу, заставят много работать. Но, с другой стороны, на что мне свобода в гробу?»

«Посмотрите на ООН, посмотрите на Страсбургский Совет Европы. И больно и смешно. Вспомните Лигу Наций».

В этой психологической ориентации — огромная опасность. Какими политически недостаточными и бледными кажутся на этом фоне благородные (пишу без малейшей иронии) слова Клемента Эттли: «Задача нашей эпохи — позаботиться о том, чтобы пирог был разделен справедливо». Вне всяких сомнений, проблема справедливого распределения — вопрос огромной важности: и что бы ни возражали против социализма, несомненно и то, что тот путь, по которому идет разрешение проблемы распределения в социалистической Англии, значительно больше соответствует нашему чувству справедливости, чем то положение, которое описывал Диккенс или Достоевский. Но видеть основную задачу нашей трагической эпохи в споре о дележе пирога, испеченного (на 95%) усилиями десятков поколений наших предков, труды которых сделали возможным теперешний уровень благосостояния, значит — вынести поистине убийственный приговор нашему поколению. Ибо всякое творческое поколение стремится прежде всего испечь и преподнести миру свой собственный, новый, особенный, единственный в своем роде, пирог. Никогда молодежь Европы (да и России) не вдохновится мыслью о том, что ее миссия в том, чтобы делить родительское добро, а если она, действительно, удовлетворится этой миссией, то горе нам!

Нет, задача нашего поколения в чем-то совсем другом, в чем-то, чему политики сегодняшнего дня боятся посмотреть в глаза: в необходимости признать принцип *сверхнациональной демократической свободы*, чтобы спасти мир от рабства или гибели. Я далек от того, чтобы упрощать эту, не только очень серьезную, но и очень сложную проблему. Национальные государства выросли в Европе органически, в течение столетий, а некоторые даже в течение тысячелетий. Ограничить их суверенитет и превратить демократический принцип из вопроса внутренней политики — в международный принцип, т. е. подчинить в какой-то мере судьбу отдельных европейских стран сверхнациональному парламенту или правительству — кажется подавляющему большинству наших политиков опасным экспериментом. Оставаться же на

принципе демократии в национальных границах означает слабость раздробленности.

Именно здесь кроется гордиев узел Европы. Никто в Европе, кроме Сталина, не ведет сверхнациональной политики и вся психологическая динамика сверхнациональных устремлений среднего обывателя пока не имеет другого доступного русла, кроме московского.

Большинство же демократических политиков пошло по самому опасному и политически вредному пути: по пути компромиссов между демократической теорией, с одной стороны, и весьма реалистической политикой, с другой. Атлантическая Хартия обещала «свободу от страха и нужды» *всем народам*, а на практике — Ялтинское соглашение с насильственной выдачей советских граждан Москве и унизительное бесправие политических беженцев в Европе.

Я взял этот пример из области политического беженства потому, что в этом микрокосмосе особенно отчетливо отражается всё то роковое внутреннее противоречие между теоретической сверхнациональной универсальностью демократической идеи, зафиксированной в Атлантической Хартии, и политикой беспомощных компромиссов на практике.

В психологии же среднего европейца всё это отражается самым роковым образом, внедряя в сознание ужасную мысль, что демократические политики Европы имеют два различных нравственных кодекса: один, истинно демократический, применяемый во внутренней политике, по отношению к своим гражданам, другой — весьма реалистический, без демократических «предрассудков», применяемый во внешней политике. Ничего более убийственного для демократии, чем это убеждение, нельзя себе представить.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПУТЬ

Так политическая волна, стремящаяся к созданию какого-то всемирного, сверхнационального единения, разбивается о дамбу национальных границ (значительно более непроницаемую, чем 50 лет тому назад), и либо стекает по подземным каналам коммунизма, преодолевающего ее *своим* интернационализмом, либо откатывается назад, взбаламучивая в своих границах старый, бесплодный национализм. Парадоксальным образом даже в самом Советском Союзе, являющемся носителем интернациональной идеи, после войны идет несомненный рост советского патриотизма, порожденного сначала

Гитлером, а потом беспомощностью европейских политиков, не могущих подняться над старой идеей национальной обособленности, грозящей нам гибелью.

По моему глубокому убеждению, неудача идеи сверхнационального объединения в Европе объясняется тем, что это объединение ведется лишь сверху, как политический эксперимент, проводимый профессиональными политиками, вместо того, чтобы проводить его главным образом снизу, как народное движение. Кроме того, — и это самое скверное, — политики, призванные осуществить идею европейского объединения, выросли в традициях национального суверенитета и эти традиции определяют их действия.

Вот почему Страсбургский Европейский Совет вреден для идеи европейского объединения, т. к. он создает в народных массах впечатление, что делается всё возможное для создания европейского объединения, а поскольку «воз и ныне там», то возникает мысль, что очевидно ничего нельзя сделать. Память о Лиге Наций, не предотвратившей последней катастрофы, углубляет этот скептицизм еще больше.

Идею сверхнационального единения можно спасти только радикально изменив методы ее осуществления.

Прежде всего надо перенести ее «сверху» в народ, т. е. начать энергичную агитацию за создание Соединенных Штатов Европы путем выборов в европейский парламент. Такие выборы несомненно выдвинули бы на политическую арену многих новых, свежих людей и, наконец, зажгли бы в сердцах народов веру в то, что «сверхнациональное» спасение от атомной бомбы возможно и иными путями, чем путем подчинения всемирному интернационализму Москвы. Даже один только шаг в этом направлении произвел бы колоссальное впечатление и на Европу и на население Советского Союза, где национализм обусловлен на 75% не шовинизмом и не притягиванием к Москве, а страхом перед возможностью новой оккупации России победителем и отталкиванием от национальной замкнутости западных держав.

Одновременно с агитацией за созыв европейского парламента необходимо все важные и большие вопросы, так или иначе затрагивающие международное право, уже теперь решать по возможности не в плоскости региональных соглашений, а в плоскости международной.

Это относится к целому ряду вопросов: армия ООН, права политических беженцев, унификация социального законо-

дательства, обмен в культурной области. Практическое сотрудничество в этих областях по меньшей мере столь же важно и существенно, как наша далекая мечта об экономической унификации. В этом отношении делается поразительно мало. Не будучи специалистом по вопросам экономики, я не берусь судить о том, в какой степени сдержанность Великобритании в вопросе обще-европейской экономической унификации оправдана, но почему же стоять на точке зрения, что если нельзя иметь общего хозяйства, то вообще незачем искать никаких других путей сближения друг с другом?

Создание психологического климата взаимного расположения — первая и основная предпосылка обще-европейского объединения. А этого сближения нет. Дело ограничивается обсуждением специалистами где-то наверху, какой-то унифицированной экономической системы, в которой средний обыватель (включая сюда и автора этой статьи) очень плохо разбирается. Видеть в проблематичном осуществлении экономической унии оружие против соблазна чрезвычайно реального и уже осуществляемого Кремлем сверхнационального объединения — кажется мне большим легкомыслием.

Величайшее несчастье нашей эпохи в том, что именно сейчас, когда перед демократией поставлены огромные творческие задачи, для решения которых у нее достаточно жизненных сил — у нее в Европе слишком мало настоящих защитников, способных с этими задачами справиться. Полем деятельности демократической идеи сегодня стал земной шар, а ее защитники в Европе продолжают мыслить в рамках политического провинциализма.

А. Анисимов

БИБЛИОГРАФИЯ

М. А. АЛДАНОВ. ИСТОКИ. Тт. 1-2. Париж, YMCA-Press, 1950.
В. А. МАКЛАКОВ. РЕЧИ (СУДЕБНЫЕ, ДУМСКИЕ И ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ, 1904-1926). Париж, 1949.

Бóльшая часть «Истоков» М. А. Алданова уже знакома читателям «Нового Журнала». Но помимо того, что отдельное издание романа включает ряд глав, которые в журнале напечатаны не были, только перечтя его целиком можно по-настоящему понять замысел автора и оценить мастерство его выполнения.

Скажу прямо, что на мой вкус «Истоки» — лучшее из появившихся до сих пор произведений Алданова. Как и ранняя его «тетралогия», это роман исторический, но отмеченный своеобразным подходом автора к истории. Сходство Алданова с Толстым и Анатолем Франсом указывалось неоднократно, но говоря об «Истоках» без этих сравнений обойтись трудно. Как у Толстого и Франса (у каждого из которых это, конечно, проявляется по-своему), у Алданова история подается не в ее «парадном» аспекте, а в ее «человеческом, слишком человеческом» обличьи. Алданова-романиста интересуют кулисы, а не фасад истории. История важна для него не сама по себе, а лишь поскольку она отражается на судьбе людей, и в первую очередь людей «неисторических». Как и у Толстого, исторические деятели у Алданова «низводятся» до уровня «простых людей», показываются читателям не в мундирах, а в каждодневных своих одеждах. И как у Толстого, процесс «разоблачения» у Алданова на этом не останавливается. Подобно Толстому, он зорко следит за своими героями, будь то император всероссийский или цирковая наездница, не прощая им неверных интонаций и искусственных жестов, стремясь добраться до того, что они д е й с т в и т е л ь н о думают и чувствуют.

Это «опрощение» и «очеловечение» истории достигается путем искусного применения литературных приемов, типичных для Алданова. Так, за главой о лунной ночи в Эмсе, где Александр II появляется в роли влюбленного мужчины и галантного кавалера, непосредственно следует глава, описывающая случайную встречу на железнодорожной станции двух молодых людей — Перовской и Же-

лябова. Так, во втором томе, в идиллической атмосфере, внешне напоминающей обыкновенный пикник, группа молодых людей на поляне в лесу обсуждает вопрос о цареубийстве. В тех же целях, в одной из последних глав романа читатель вводится в уютно-патриархальную атмосферу семьи Ульяновых, где отец-педагог интересуется больше учебником Евтушевского, а маленький Володя — химическими опытами, чем только-что полученным известием об убийстве царя.

Алдановская философия истории глубоко пессимистична. В этом отношении «Истоки» не отличаются от прежних его произведений Только из полного текста романа уясняется, для чего Алданову понадобился цирк. «Цирк — самый простой символ жизни», говорит он устами одного из своих героев. И еще: «люди тройного сальтомортале» это не только акробат Карло, но и исторические вожди — Бакунин, Бисмарк, Желябов. Разница в том, что цирковой акробат приносит в жертву лишь самого себя, а от «тройных сальтомортале» исторических деятелей могут пострадать миллионы людей — иногда через несколько поколений. В них «Истоки» и современных наших бедствий.

Исторический пессимизм Алданова глубже толстовского. Отрицая историю, Толстой уходил от нее одновременно к двум вечным полюсам: «высокому бесконечному небу», которое раненый князь Андрей видел над собой на поле аустерлицкого сражения, и укорененной в земле родовой человеческой жизни (знаменитые «пеленки» в эпилоге «Войны и Мира»). Кажется, ни то, ни другое Алданова не утешает. Во-первых, он и не может уйти от истории, так как в отличие от Толстого, обладает высоко развитым историческим чувством. Во-вторых, в нем нет и следа толстовского руссоизма, нет никакого бунта против культуры. Напротив, человеческая культура и есть то, что он по-настоящему ценит и любит,—ценит и любит тем больше, чем яснее представляется ему ее хрупкость и, может быть, обреченность. Алданов — гуманист неверящий в прогресс. И это придает его мироощущению трагический характер. Это он сам вместе с Билльротом задумывается над судьбой «последнего поколения». Вот почему нельзя обвинять его в ироническом скептицизме и в этом смысле сравнивать его с Франсом. Он очень далек от франсовского интеллектуального сибаритства.

В «Истоках» много больших художественных удач. И хотя их больше в «исторической» части романа, последняя связана с частью «неисторической» более органически, чем это имело место в «тетралогии». Мамонтов — одно из главных связующих звеньев — не Шталь с его чисто «функциональным» назначением. Он убедителен и интересен сам по себе. Местами однако автор заставляет его

размышлять так, как мог бы размышлять только человек, обладающий редким историческим предвидением (Берлинский конгресс, «Каннский план» фон Шлиффена). Превосходны почти все силуэты исторических знаменитостей. Но в двух случаях включение их в роман кажется недостаточно оправданным. Ни Гладстон, ни Вагнер никак не связаны с фабулой романа, а Гладстон как-будто не связан и с его символикой.

Но лучше всего главы о народовольцах, составляющие центральную часть второго тома (главы 9-15). На этих страницах чувствуется дыхание рока. Сцена убийства Александра II незабываема.

Иногда говорят о холодном блеске алдановского мастерства. К «Истокам» эта характеристика во всяком случае не подходит: они читаются с чувством наростающего волнения.

Сборник речей В. А. Маклакова — настоящий подарок для каждого любителя русского слова. Что В. А. Маклаков один из лучших русских ораторов нашего времени, всем давно и хорошо известно. Но перечитывая его речи и публичные лекции, собранные в этом юбилейном издании, еще раз воспринимаешь всё своеобразное очарование маклаковского красноречия. В своем интересном и остроумном предисловии М. А. Алданов удивляется тому, что Маклаков стал адвокатом. Не знаю, нужно ли этому удивляться, но знаю, что ораторское искусство Маклакова в моем восприятии существенно отличается от того, что я бы назвал типичным адвокатским красноречием. Признаюсь, что я не особенный поклонник последнего и что меня оставляют холодным речи таких знаменитых судебных ораторов, как Карабчевский, Грузенберг и даже Плевако, о котором с таким увлечением говорит В. А. Маклаков. Возможно, что их речи надо было слышать, а не читать. Впрочем, это верно и относительно многих из наших лучших политических ораторов.

И вот первое, что мне хочется сказать о речах Маклакова, это то, что они ничего или почти ничего не теряют в чтении. Как и М. А. Алданов, я не знаю, насколько тщательно Маклаков подготовляет свои речи, пишет ли он их перед произнесением. Но это и не важно. Важно то, что они производят впечатление импровизации, или вернее, что когда их слушаешь или читаешь, то кажется, что присутствуешь при самом процессе облечения мысли в слово. Даже на бумаге они сохраняют то обаяние свежести, непосредственности и задушевности, которое так покоряет слушателей Маклакова-оратора. Самые слова «оратор» и «красноречие» как-то мало подходят к Маклакову. Его речи — это разговор со слушателями, но разговор, который ведется большим мастером слова.

Читая сборник, видишь и то, в чем заключается основной пафос Маклакова. Это пафос права, защите которого посвящена бóльшая часть судебных и политических речей Маклакова. Если Ф. И. Родичев был паладином свободы, то В. А. Маклаков может быть назван рыцарем законности. Но это не та самодовлеющая законность, ради которой, по известному изречению, можно было бы примириться и с погибелью мира. Для Маклакова на первом месте всегда остается живая человеческая личность, а главным врагом — всемогущее государство. Недаром он с такой симпатией относится к Плевако, этому, по его определению, «анархисту по чувству», и недаром его публичные лекции о Толстом принадлежат к лучшему, что когда-либо было сказано о великом «христианском анархисте». Последней в сборнике напечатана речь о «Русской культуре и Пушкине», произнесенная в 1926 году. В ней Маклаков с особой силой обрушивается на «модное суеверие о всемогуществе государства» и подчеркивает «бессилие государства» в области культуры. «Истинное назначение государства», говорит он, «создавать для народа условия, в которых может развиваться и процветать его свободная деятельность». Это очень близко к тому, что писал Константин Аксаков в своей знаменитой записке, переданной Александру II. Из воспоминаний В. А. Маклакова мы знаем, что в молодости он испытал сильное влияние славянофильства. Славянофильские мотивы звучат и в его лекции о «Толстом и суде», прочитанной в 1914 году (см., например, стр. 166). Но и в этом отношении Маклаков своеобразен: его можно назвать славянофилом, убедившимся в необходимости правовых гарантий.

М. Карпович.

OLIVER HENRY RADKEY. *The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917.* Harvard Historical Monographs XXI, — Cambridge. 1950, — $2.50.

Молодой ученый Оливер Радки написал небольшую, но блестящую работу о выборах во Всероссийское Учредительное Собрание. Она вышла только-что в качестве 21-ой исторической монографии Харвардского университета.

Такой работы нет и на русском языке.

Не жалея ни труда, ни времени, автор кропотливо проверил весь материал, который использовали его предшественники, и произвел самостоятельные изыскания. Он просмотрел всё, что было опублико-

вано на интересовавшую его тему не только в отдельных изданиях и в столичной печати, но и в местной, поскольку она сохранилась в тех библиотеках и архивах, к которым он обращался. А обращался он — к Русскому Заграничному Архиву в Праге, к московскому Институту Маркса-Энгельса-Ленина, к московской Публичной библиотеке (бывшей РРумянцевской), к Библиотеке Войны в Венсен (близ Парижа) и к библиотекам Харварда и Хувера в Соединенных Штатах. В результате всех этих усилий Оливеру Радки удалось собрать данные, которые исправляют и дополняют написанное на ту же тему его предшественниками, — в частности Н. Святицким, Лениным, М. Покровским и Я. Яковлевым (Архив Октябрьской Революции) и другими.

Радки пользуется тем же методом эмпирического измерения — статистического подсчета и сопоставления цыфр, которым пользовался Ленин в своей работе «Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата». Но выводы, к которым приходит Радки, очень далеки от выводов Ленина. И это естественно: перед Лениным стояла необходимость осмыслить поражение, которое понесла партия большевиков, несмотря на то, что она была у власти, когда происходили выборы, и объяснить, — почему она продолжала себя считать правомочной управлять страной, невзирая на понесенное поражение.

Ленину надо было доказать, что 9 миллионов голосов, или 25% поданных за «партию пролетариата», могут быть политически больше 22 миллионов, или 62%, поданных против этой партии. И он это «доказал» очень простым способом — «город не может быть равен деревне». Свободный от прославляемой и поныне «большевистской партийности» (даже в науке), Радки был свободен и от необходимости доказать недоказуемое. Как подлинный ученый, он подошел к исследуемому им явлению без страсти и гнева и без заранее сделанного вывода.

Перед ним стояла неблагодарная задача: технически трудно выполнимая и политически оспаривавшаяся. Он успешно справился с тем и с другим. Ему удалось внести поправки в цыфры, собранные Святицким непосредственно после выборов в Учредительное Собрание, — ими пользовался и Ленин, — и в цыфры, опубликованные большевиками в 1930 г. Радки обнаружил новые 2.569.650 голосов, поданных по округам Олонецкому, Эстонскому, Подольскому и Балтийского Флота и «затерявшихся» при предшествовавших подсчетах. Одно это уже оправдывает и труд, затраченный автором, и факт опубликования его специального труда.

Но главная заслуга Радки не в блестящем разрешении технической — или статистической — задачи и, в частности, в сводке всех данных голосования по 70 избирательным округам (вертикально) и

по партийной принадлежности (горизонтально): эс-эры, большевики, меньшевики, другие социалистические партии, ка-дэ, другие несоциалистические партии, украинские, мусульманские, инонациональные, необозначенные. Главная его заслуга в том, что он не убоялся сделать и ряд политических или, если хотите, исторических и социологических обобщений, идущих вразрез с широко распространенным заграницей — в частности, в Соединенных Штатах — неведением русской истории и русского народа.

***

Так называемые тоталитарные либералы, не говоря уже о «крипто-коммунистах», свою защиту всякого последнего слова Кремля неизменно выдают за нелицеприятное собственное мнение. Их «независимое» мнение при этом оказывается свободным от знания не только общеизвестных и элементарных фактов русской истории, но и того, что утверждали в своих писаниях даже Ленин и Сталин, делу коих эти либералы и крипто-коммунисты фактически служат.

Кто-кто, но большевики отлично знают, что к всенародной революции, свергнувшей самодержавие в феврале 17-го года, они имели самое отдаленное отношение. Соответственно свое честолюбие и гордость они полагали не в февральской революции, а в партийно-большевистском перевороте, названном позднее великой социалистической революцией, в 10 дней изменившей лицо мира.

Тоталитарные либералы и крипто-коммунисты ничего этого не знают. Для них проще думать и удобнее утверждать, что не народу в целом, а партии большевиков принадлежит заслуга свержения самодержавия. И потому без всякого стеснения они проглатывают восьмимесячный период существования демократического режима в России, между февралем и октябрем 17-го года, который «сам Ленин» признавал наиболее свободным в мире. Отсюда и утверждение, что русский народ не только от природы чужд свободы и демократии, но никогда и не знал их. Для России, как в значительной мере азиатской державы, характерны Иван Грозный и его опричники, кнут и бунт, мучение и мучительства. И Ленин со Сталиным — в духе и традиции всей русской истории, вполне ей адэкватны.

Эти судьи России и ее судеб и не слыхивали ничего о самоуправлении русских городов, о конкурировавшей с единодержавием власти бояр, Земских Соборов, патриарха и Церкви, как и позднее о четырех Государственных Думах, в которых, невзирая на весь произвол и ограничения при выборах, всё же в течение десятилетия представлены были все оттенки политических мнений — от крайних реставраторов до выдававших себя тогда за особо ревнивых

сторонников свободы большевиков. Кто из иностранных либералов знает и упоминает о том, что за последние годы царского самодержавия большевики имели возможность **легально** выступать в цензовой Думе, в печати, в профессиональных и иных союзах и собраниях? И кто помнит и упоминает о том, что по захвате власти Ленин публично пообещал на Съезде Советов, что если «демократические низы» «дадут в Учредительное Собрание большинство» не партии большевиков, а эс-эрам, — «мы скажем пусть так!» — «мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам»?

В деле просвещения невежественных и уличения недобросовестных небольшая книжка Радки может сослужить незаменимую службу.

***

Владеющий английским языком читатель получил сейчас возможность ознакомиться с более или менее полной картиной того, как произошли и к чему привели выборы в Учредительное Собрание 12 и 26 ноября 1917 г., т. е. через 3 и 5 недель после прихода к власти большевиков. Выборы были произведены на основании наиболее демократического в мире избирательного закона, выработанного еще при Временном Правительстве, т. е. до октябрьского переворота.

Отдельные главы автор посвящает анализу общего числа поданных — 41.686.876 — голосов и анализу голосования по различным округам, типичным географически или политически. Этот анализ позволяет автору ответить на два основных вопроса: было ли голосование свободным и выборы правильными? и — отдавал ли себе народ отчет в том, что делал?

Радки ничего не скрывает. Он учитывает атмосферу начатого большевиками междуусобия — буйство разнузданной черни, дезертиров в тылу и на фронте, демагогию победителей и проч. Он приводит случаи эксцессов, насилия, даже убийств в связи с выборами — численно ничтожные, по убеждению автора, если учесть размеры страны и населения. «Такое же число несчастных случаев бывает во время выборов в одном штате Кентуки», замечает он (47). Его заключительный вывод: «Как ни многочисленны были неправильности, нормальный характер выборов далеко превысил их. Всё другое в данном случае меркнет по сравнению с тем, что у большевиков была власть и они на выборах потеряли. Итоги говорят сами за себя».

Не было желания исказить выборы или фальсифицировать итоги,

может быть только потому, что правящая партия первоначально расчитывала на победу, а может быть и потому, что она еще не ощущала за собой достаточной силы, чтобы дозволить такое искажение или фальсификацию. Выборы в Учредительное Собрание, может быть, не были образцовыми, но «они наверное не были фарсом», утверждает автор после подробного обследования.

Понимали ли народы России, что они делали в ноябре 17-го года, когда большевикам, правительству переворота, они отдали всего 9.844.637 голосов из общего числа 41.686.876?

Автор дает утвердительный ответ на этот главнейший вопрос.

Он упоминает о чрезвычайной изменчивости настроений у русского избирателя за самые короткие сроки. Но подчеркивает, что это не исключительное явление в России 17-го года. Таково общее правило «безумных лет» и в других странах. Психология русского избирателя мало чем отличается от избирательной психологии других народов. Как и всюду, был в России и индивидуальный, сознательный избиратель, был и групповой, чтобы не сказать стадный, следовавший указке или действовавший из подражания другим. Последнее по времени впечатление, как и везде, часто оказывало решающее влияние.

Были, однако, и своеобразные отличия. Во многих случаях крестьяне отправлялись к избирательным урнам всей деревней или даже всем селом, отслужив молебен, под звон церковных колоколов. Здесь тайна голосов часто не соблюдалась, но к самому голосованию относились как к некоему таинству формирования народной воли.

«Большевики обещали в это время крестьянам луну, в каждом отдельном пункте (программы) перекрывая эс-эров так, что было бы только естественным, если бы простые люди, неосведомленные в существе марксистской программы, стали легкой жертвой демагогов, тщательно скрывавших всё то, что ожидало народ в период военного коммунизма и в эпохи пятилеток».

Несмотря, однако, на все большевистские посулы немедленного мира и всей земли сейчас же, русская деревня в своем огромном большинстве не поддалась соблазну, не поддержала диктатуру. В городах процент голосовавших в общем не превышал 50 — иногда достигал 70 или падал до 30. В деревне же 60-80% голосующих было правилом, а местами голосовало и 90% избирателей. Вывод американского исследователя: «деревенская Россия, как следует из цыфр, была не так плоха, как можно было ожидать».

***

Желая сохранить до конца научную объективность, Радки отказывается высказать свое мнение о политическом значении Учредительного Собрания. Он предоставляет это будущему, ограничиваясь

утверждением: тяжелое прошлое не определило результата выборов в Учредительное Собрание — **«в единственном случае когда русский народ был свободен произвести выбор, он голосовал в пользу самоуправления».**

Не связанные «социологическим» подходом автора, мы можем быть смелее в своих выводах.

Как результаты выборов оправдали веру в стихийную мудрость русского народа, так самое Учредительное Собрание, несмотря на все его изъяны и ошибки, оказалось одним из наиболее ярких и неопровержимых отрицаний большевизма. Разгон Учредительного Собрания, с соблюдением всех демократических требований избранного, остается до сего дня одним из наиболее очевидных и непростительных для международного общественного мнения преступлений большевизма. Отрицать это и умалять значение У. С. потому, что ему отпущено было всего 17 часов жизни или что большинство его составляли эс-эры, можно было 33 года тому назад в состоянии партийной запальчивости и раздражения. Сейчас это звучит глубочайшим анахронизмом.

Во всяком случае рядом с неизжившими в себе партийно-политических пристрастий русскими авторами, претендующими быть и историками того, в чем они сами непосредственно участвовали, исследователь со стороны, в обладании всеми доступными сейчас материалами, много выигрывает в исторической объективности и убедительности.

С отдельными оценками О. Радки можно спорить и не соглашаться.

Правильно ли утверждение, будто западный либерализм был чужд русскому избирателю? Факт неудачи русских либералов — ка-дэ — не может служить достаточным доводом. Автор сам подчеркивает, что выборы в Учредительное Собрание свелись к «дуэли» между различными формами социализма — народничеством, марксизмом и др. Но ведь и социализм, и революция, во время которой выборы происходили, — не специфически русская выдумка: возникнув на Западе, и революция, и социализм неотделимы от развития либерализма.

Почему говорить о «туманности» эс-эровских идей, наполнявших энтузиазмом русское население? Какие или чьи идеи вообще не «туманны» в известном смысле? Марксизма? Истории? Религии? Социологии, — если даже признавать ее наукой?

Вряд ли можно утверждать, будто «большевики не контролировали избирательной машины». Автор сам упоминает о том, что работе Всероссийской по выборам Комиссии «серьезно мешали, а потом ее и упразднили», членов Комиссии арестовали и надзирать за выборами назначили будущего председателя ВЧК, недоброй памяти Урицкого. Радки с чрезмерным благодушием прибавляет, что «через несколько

дней членов Комиссии отпустили без того, чтобы предъявить им обвинение».

Монополизация правящей партией транспорта (людей и литературы), почты и телеграфа, не говоря уже о финансах, сама по себе достаточна для того, чтобы признать особое влияние, которое оказала на избирателей большевистская машина в центре и на местах. В ноябре 17-го года большевики еще не успели раскрыть во всю свою волчью пасть — они чаще виляли лисьим хвостом. Вспоминаю, как допрашивал нас Урицкий и как мы, арестованные члены Комиссии: Брамсон, Гронский, Добраницкий, Набоков, Нольде и др., ему отвечали: не он обвинял, а мы обвиняли его в насилии и намерении извратить «народную волю». Повторяю: это был начальный период большевистского властвования. И освободили нас потому, что, когда стали известны результаты выборов по тверскому округу, по которому среди других был избран я, перед большевиками стал вопрос о нарушении иммунитета члена Учредительного Собрания. Если освободить одного, — как удержать под замком других членов Комиссии? К тому же расчеты на «свое» Учредительное Собрание еще не испарились, поэтому решили «не срамиться» и освободить всех членов Комиссии.

Эти критические замечания имеют, конечно, совершенно второстепенное значение, никак не умаляя того главного, чего удалось достичь американскому ученому. Он собрал новый материал, несмотря на все существенные вопросы политического порядка, несмотря на всю их остроту.

М. Вишняк.

«ЮНОСТЬ» БОРИСА ЗАЙЦЕВА

Душой возвращаясь к художественной прозе начала нынешнего века, часто задерживаешься на том новом, что эта проза внесла в русскую литературу. Нова, в произведениях плеяды молодых писателей, зачинателей нашего столетия, была отчетливо проступавшая лирическая основа, что иногда сказывалось даже в самом языке, словно некоторые романы и повести были сперва написаны стихами, а потом уж переложены на прозу. Это лирическое начало характерно для многих вещей Чехова, для Бунина, Белого и др. Сквозь прошедшее мятежное полустолетие эту особенность как-то заново переосмысливаешь. Не был ли этот лиризм уже тогда предчувствием конца старой России и грядущих геологических сдвигов русской жизни? Может быть, не случайно эта доминирующая нота нашла подтвержде-

ние в серии «Кащеевой цепи» Михаила Пришвина, написанной уже в советский период. И той же взволнованностью проникнута проза молодого Леонида Леонова (см. его романы «Барсуки» и «Вор»). Вспомним леоновского писателя Фирсова, который, странствуя по закоулкам советской Москвы, зорко всматривается в каждую, уже осужденную на исчезновение, деталь ее веками складывавшихся окраин!

«Прощальный» смысл этой лирической основы художественной прозы начала века ярко проступает в последнем романе Бориса Зайцева «Юность». «Юность» — следующее звено в длинной автобиографической повести, задуманной Зайцевым (см. его «Тишину» и «Путешествие Глеба»).

Хотя «Юность» печаталась в «Новом Журнале» и содержание ее известно читателям, хочется тем не менее остановиться на некоторых особенностях Зайцевского литературного письма. Чудесен зайцевский пейзаж как сельской, так и городской России, будь то Москва, Балыковская глушь или провинциальные углы. Оживают под его пером и ушедшие образы старой России. Но, вспрыскивая «живой водой» отошедшую Россию, Зайцев не впадает в умиление, умея, где надо, показать не только человечное в ней, но и грубость или тупость представителей власти.

Верный традициям дореволюционной литературы, Зайцев не только тщательно обрисовывает главных действующих лиц, с тем же зорким и любящим вниманием относится он ко всем даже эпизодическим фигурам романа. Этим Зайцев выгодно отличается от большинства современных советских писателей, внимание которых поглощено «ведущими» героями. Зайцеву одинаково дорог не только его главный герой Глеб, но и тощий старичок — начальник тюрьмы Иннокентий Иванович, чем-то напоминающий пушкинского коменданта Белогорской крепости, и учитель латыни Никифор Иванович, «заикающийся, кособокий, в пуху и перхоти» вдохновенный толкователь Цезаря.

«Юность» — выражаясь словами Пастернака — «как тишина осенняя подробна» и каждая подробность в ней рождает искры в душах читателей. Думая о «Юности» в целом, вспоминаешь «Жизнь в цвету» (1924 г.) Анатоля Франса. Эту автобиографическую повесть автор писал в старости. Он много раз начинал ее и много раз прерывал работу над ней пока ему, наконец, удалось взглянуть на маленького Пьера только глазами художника. В несколько неожиданном, полу-беллетристическом «послесловии» к «Жизни в цвету» Анатоль Франс пишет, что порой ему кажется, что давно уже мино-

вала юность не только его маленького героя, но и вся прежняя жизнь Франции и всей Европы: придут новые люди, которым не будет дела ни до проблем маленького Пьера, ни до всей старой, но милой и уютной жизни. И автор слышит уже кованный шаг нового поколения. В отличие от скептицизма Франса, от грустного лиризма Зайцева не веет безысходностью, и читатель закрывает книгу со смутным ощущением неувядаемости каких-то общечеловеческих ценностей.

В. Александрова.

Д. КЛЕНОВСКИЙ. СЛЕД ЖИЗНИ. 1950.
ВЛАДИМИР ВАРШАВСКИЙ. СЕМЬ ЛЕТ. Париж, 1950.

Кленовский вырос в Царском Селе, знал Гумилева, начал писать стихи более тридцати лет тому назад, печатался редко, и вот, наконец, выпустил книгу итогов. Стихи — прекрасные. В них слышатся отголоски столь рано оборвавшегося Серебряного века русской поэзии. Но голос у Кленовского — свой: тихий, мелодический, слегка надтреснутый.

Он радостно довольствуется малым, для него «никакая рана нестрашна, если бережно она обмыта, перевязана и прощена»... Он благословляет легкую старость, верную любимую подругу, прославляет чудо прорастающего стебля, говорит о вечности настоящего, не боится смерти и предчувствует райскую тишину. Это светлая, печальная мудрость отречения от всего того, чем обычно живет человек, отречение от страстей, за которые так часто расплачиваются отчаянием. Но ведь и в страстях есть счастье, есть правда, и они — «бессмертья, может быть, залог...» Но Кленовскому не надо залога бессмертья, он и так блаженно уверен в нем, хотя и не без грусти прощается с миром, который он хотел бы забыть в своем раю. Нельзя не поддаться очарованию его резиньяции, которая кажется чем-то близкой индийской мистике. Христианскому сознанию такая резиньяция чужда... Слушая голос Кленовского, хочется безмятежно уснуть навеки, погрузиться в покой безветрия — нирваны. Его мудрость отречения и грустная доброта вызваны не столько любовью, сколько огромной усталостью: и эта усталость не только «частное» настроение Кленовского. После бурь войны и в ожидании новых катастроф — эта усталость овладела очень многими, и старыми и молодыми. Нет настоящего творческого пыла. Всех отпугивает риск, сопряжен-

ный со всяким действенным творчеством. Нет сил для бескорыстного и радостного строительства мира. Очень многие стали добрее, отзывчивее, но не стали сильнее. Теперь очень часто даже за слезами и смехом скрывается усталость.

Об этой общей усталости и спел свою тихую песнь Кленовский. Замечательны его стихи, помеченные 1946-1949 г.г. Они в какой-то мере соответствуют духу времени. Увы — если усталые люди и выиграют на небе, то на земле они обязательно проиграют. Но, может быть, в современном мире, кроме умудренной усталости, найдутся также умудренно-добрые силы. Без этой надежды было бы слишком трудно жить.

«Семь лет» — удивительно правдивая, серьезная книга. Это не «человеческий документ», а художественная вещь в форме дневника-повести; и в ней нет той расплывчатости, которая была в других прозаических отрывках Варшавского, печатавшихся в «Числах» и в «Круге».

Герой этой повести всё тот же: это молодой эмигрант, который знает Россию только по детским воспоминаниям. Он живет в Париже, где усердно посещает литературные и философские собрания, увлекается Бергсоном; часто бедствует и терпит унижения при выдаче вида на жительство для иностранцев. Жизнь для него — ненастоящая, и сам он — ненастоящий, «лишний». Так, по крайней мере, ему кажется. В 1939 году он поступает добровольцем во французскую армию. Он хочет защищать Францию, а потом и Россию, против Гитлера. Но более всего он хочет настоящей жизни, и на фронте он временами как будто приближается к действительности...

К своему удивлению — он, робкий книжник, оказывается отличным солдатом. В окружении он мужественно отстреливается от немецких танков. Вот его признание: «...когда я добровольно вызвался на самое опасное, я был доволен собой. В первый раз я держал себя по отношению к другим людям до конца порядочно, без всякого соучастия в несправедливости. Меня удивило, как это легко было».

На фландрском фронте и позднее, в прусском лагере для военнопленных, он впервые находит какое-то «общественное положение»: живет, как тысячи других товарищей по несчастью, и это дает ему моральное удовлетворение.

Красная армия освобождает его из плена, и он знакомится с советскими порядками. Отдельные советские люди, напр., жертвен-

ный санитар Федя или «незаметный» лейтенант Данилов, чем-то похожий на толстовского Тушина, лучше многих других людей, который он встречал, но за ними, как и за немцами нацистской Германии, злая сила «тотального державного могущества»; и вот, многие, по существу хорошие, советские люди превращаются в покорных служителей этой силы...

Но трагизм книги Варшавского не в том, что оказалась битой ставка на Сов. Россию, и не в том, что после войны для его героя опять началась всё та же эмигрантская жизнь в Париже. Трагизм в том, что жажда настоящей жизни, жажда Бога и «ответа оттуда», едва ли могла бы быть утолена и в условиях другой, более счастливой «объективной» действительности, которую Варшавский не соглашается принять.

Единственный выход заключается в постоянном противлении этой действительности — иначе жизнь была бы сплошным кошмаром. По своему противятся ей и «незаметный» лейт. Данилов, и жалостливый, больной немецкий вахман Вицке, и пылкий польский мальчик-пастух, который, с большим риском для себя, помогает пленным.

По любви к правде и к добру, Варшавский сродни русским «задумчивым мальчикам» прошлого века... В наши дни он, один из немногих, говорит на языке старых «совестных судей» русской литературы. Он сохранил русское моральное сознание, которое начало ослабевать еще задолго до революции и теперь почти утеряно. Сила Варшавского — в правдивости и в нравственной требовательности, а слабость — в чрезмерной занятости самим собой (тут сказалось влияние парижской среды) и в некотором пренебрежении к работе мысли, к культуре (как у Толстого). Чтобы в мире стало лучше, чтобы не погиб Париж, не погибла Европа, а может быть и весь мир, кто-то мыслящий и одаренный должен указать — в чем именно правда и за что следует бороться. В прошлом веке русские писатели именно это и делали. Конечно, последнего ответа и они не могли дать. Но они стремились к этому с бóльшим напряжением, чем кто либо теперь.

Ю. Иваск.

А. М. РЕМИЗОВ. «ПЛЯШУЩИЙ ДЕМОН», Париж, 1940.

В анналах русской литературы за рубежом редкое событие: вышла книга Ремизова. После военной разрухи, несмотря на печальное состояние издательского дела и книжного рынка, все наши

известные писатели во Франции уже успели выпустить хоть по одной книге — последняя же книга Ремизова вышла в 1931 году («Образ Николая Чудотворца»). Причина известна: «меня не хотят издавать», говорит он сам; «писатель для немногих», объясняют его поклонники. И вот теперь, через 18 лет, перед нами этот «Пляшущий Демон», красиво, почти роскошно сделанный небольшой сборник «в количестве 475 экземпляров». При том положении, в котором сейчас автор, это из всех его чудес чудо: «висеть в воздухе — моя судьба... «неподходяча» (безграмотная отметка прислугам из наемной конторы **К. С.**) и до сих пор в моем русском советском паспорте, а в эмигрантском удостоверении внушительная «похерь» (стр. 50).

Литературный портфель или по-нынешнему продукция Ремизова огромны. И дело не в том, что его «не издавали» почти 20 лет, а в неустанном кропотливом труде писателя, исполняющего «по вся дни живота своего» завет далекого ему Салтыкова о любви к русской литературе. Понимаю, как нелегко было сделать выбор из заготовленного наследства писателю, который работает сразу над целыми циклами произведений и прибавляет к ним еще новый, увлекаясь какой-нибудь темой в разговоре или случайным замечанием собеседника. Поверхностный любитель занимательного чтения вряд ли найдет в сборнике большее, чем случайное соединение разных видений с разной действительностью, истории с современностью, но даже и «профан», если он внимателен, легко увидит строгое единство книги и гармонию трех ее частей и глав — тем внутри каждой части.

Название книги «Пляшущий Демон» обнимает почти всё ее содержание. Говорю с уступкой, для меня — всё целиком. Это книга о танце, о пляске и затем о словесной одержимости, производной в этом случае из «пляса — плескания». Танец-пляс — наша историческая, вековечная «русалия». Внешний толчок, повод книги — впечатление от Лифаря-Икара на подмостках парижской Оперы: «почитатели... готовы были провозгласить его диктатором... кругосветным. В моей памяти, через «Икара», как «распахнулось», (стр. 28). Писателя «взмело», пронесло по десяти векам русской жизни, и «вызвучало» его слово. Вся наша русальная история в изящных миниатюрах разделена на отдельные этапы, но так, что и сам автор «волей-неволей попал в русальный хоровод» (стр. 15). Это «исследование» (с хронологией!) о русских русалиях от стен Киевской Софии до парижской Оперы имеет даже свое теоретическое введение (стр. 9-13).

Вторая часть — «Петербургская русалия». Сюда выделено то,

чего не допускает история старая, ученая и книжная, — воспоминания автора о петербургских «русальных действах». В них он сам был не только живым свидетелем («Бесприданница» — В. Ф. Комиссаржевская, «Послушный **Самокей**» — М. А. Кузмин), но и одним из главных («Кикимора») или даже единственным героем («Бесовское действо»). Русалия-пляска расширяется тут уже в песнюмузыку и скоморошье действо — театр вообще. Много уже написано об этом замечательном десятилетии петербургской культуры (1905-1915). Но здесь и известное наш автор рассказал по-своему, поремизовски, а в 1-ой и 4-ой главах дал почти всё целиком новое. Сколько тут высокого комизма, какую симпатию вызывает подгрунивающий над собой наш старый знакомец, всюду попадающий, «как кур во щи», всегда «в растере и пропаде». Пропало и его «Бесовское действо» после первого представления. Не помогло и то, что до этого 5 лет вылеживалось оно в заднем кармане у Зонова, «для интереса публики». А публика взяла да и освистала за свои потерянные рублики... Мало утешения было и в лавровом венке от почитателей: 80 рублей стоил, а соседи и знакомые его растащили... «для щей»: «больше всех нael . . . М. М. Пришвин, прославленный русский писатель» (стр. 52-53). С театром Ремизову не везло. Продолжать его пришлось уже для себя в знаменитом «Обезвелволпале».

Друзья давно просили А. М-ча рассказать в печати историю этого загадочного «ордена», слава которого идет через десятилетия и континенты; ее несут рассеянные повсюду старые и новые члены. Щедро, но и строго избирал и наделял их грамотами таинственный царь обезьяний **Асыка.** Теперь начало положено: на стр. 56-59 **вы** найдете краткий, «эпизодический» очерк этой истории. Меня однако он не вполне удовлетворяет. Многочисленные еще живые члены «обезьяней палаты» вправе ожидать далее настоящего «ученого исследования» по этому «вопросу». Во время революции игра перерастала в серьезную сатиру, захватывая широкие литературные круги: обезьянам разрешалось то, чего не дозволяли людям. Отражение этого я встретил в таком интересном памятнике тогдашней петербургской жизни, как комплект журнала «Записки мечтателей» (6 номеров в 5 тетрадях, 1921 г.). Впрочем, и сейчас уже «царь Асыка» передает интереснейший эпизод, как Горький был призван обманывать или уламывать самого петербургского «генерал-губернатора» Зиновьева, косившегося на «палату», — видел или чуял подвох.

Третья часть — поэма в пяти песнях «Писец-Воронье Перо». Ее тема — слово, писаное и печатное. По всем мукам ходит автор со своими любимцами: с петровскими недорослями-навигаторами

забирается на кружевные верхи Миланского собора; горит на пустозерском срубе с Аввакумом, любимым соратником в борьбе за коренное, не **«правленное»** русское слово; не брезгует сомнительной компанией Ваньки-Каина, с которым у них общие дела по письменной и скоморошьей части. Очерк «Первопечатник Иван Федоров» хоть бы в школьную историческую хрестоматию — реальный, художественно-поданный материал. Буква — слово — письмо — книга — специальная и давняя сфера и страсть Ремизова. Она только внешне удалена от русалий. Ведь именно русалия, думает он, породила звук и слово, предметы страсти писателя.

Книга получает полную законченность от двух приложений: дано по великолепному образцу ремизовской скорописи и графики.

К. Солнцев.

TAMARA TALBOT RICE: Russian Art, a Survey of the Development of Russian Architecture, Painting, Sculpture and Peasant Arts from the Tenth Century to the Present Day. Penguin books (Pelican series), 276 pp. 1949.

Книг, посвященных русскому искусству, выходит на Западе так мало, что каждая новая книга не может не привлечь к себе внимания.

Вышедшая прошлой зимой в Англии и только недавно поступившая в продажу в Америке, книжка Тамары Тальбот Райс была написана для издательства «Пингвин» и является, таким образом, первым «карманным» изданием, трактующим историю всех отраслей русского искусства. Она очень дешева — 2½ шиллинга в Англии, 65 ц. в Америке. Ее дешевизна отразилась не только на качестве бумаги и на шрифте — очень мелком, но, главным образом, что очень досадно, — на количестве и качестве иллюстраций: их всего 65; они миниатюрны и ничуть не украшают книгу, — скорее наоборот.

Тамара Тальбот Райс уроженка Петербурга, живущая в Англии с 1919 г.; дважды ездила в Россию: в 1931 и в 1935 гг. После своей второй поездки она стала печатать в английской прессе статьи по различным вопросам русского искусства. Названная книга является ее первым отдельно напечатанным трудом. На 276 страницах трудно в достаточной полноте представить все отрасли художественного творчества, и некоторые страницы представляют собою лишь перечень фамилий и дат. Этот недостаток искупается отношением автора

к предмету. Она не только делится своими знаниями, она пытается передать читателям свое увлечение русским искусством. В введении она пишет: «По своему характеру русский человек не раболепен. Он всегда сохранял свою независимость, будь то в своих убеждениях, или в сношениях с иностранцами. Особенно это заметно в X и XI вв., когда Россия переняла христианство у Византии вместе с ее искусством, культом и учением... И новое для России искусство очень скоро превратилось в чисто русское».

Тамара Тальбот Райс справедливо скорбит о том, что русское искусство мало известно за рубежом России. Описывая, например, храм Успения на Нерли и суздальское зодчество, она говорит: «Эти чудесные церкви, с их изумительными архитектурными достижениями, достойны стоять в ряду лучших памятников зодчества Европы».

План книги хронологический и разделен на две основные части: до-петровская и после-петровская Русь. Это план, которому обычно следуют все историки русского искусства; хотя, в свете последних археологических и исторических изысканий, такое разделение отнюдь не представляется бесспорным. Иностранные зодчие и иностранные живописцы работали в Москве еще задолго до Петра. В Московию иностранные влияния шли через Украину. Царский живописец, Симон Ушаков (1560), писал свои иконы под несомненным иностранным влиянием. Аввакум нападал на иконы, писанные «по плотскому умыслу», то-есть, — на западный лад. Гравюры Тимофея Петровича и мастера Илии писаны с немецких оригиналов. Можно привести много примеров, свидетельствующих об искусственности деления русского искусства на резко отличающиеся периоды до Петра и после него, в особенности, когда дело касается иностранных влияний.

Глава о новгородской живописи одна из наиболее удачных. Уделив много внимания вопросам формы, красок и иконографии, автор дает очень выпуклый и четкий обзор новгородского творчества, которому не отведено достаточно места даже в таком сравнительно большом труде, как «История русского искусства» Никольского.

Напротив, глава отведенная автором русскому деревянному зодчеству, содержащая всего лишь три с небольшим страницы, очень слаба. Непонятно, как мог автор оставить совершенно неосвященной эволюцию этого зодчества, его многочисленные стили и его громадное влияние на русскую каменную архитектуру. Очень мало места отведено также передвижникам, и совсем не освещена идеология советского искусства. Попадаются в книге ошибки. Так, например, автор пишет о Рокотове, что «этот удивительный художник был учеником Клода Лоррена». Рокотов умер в 1810 году 70 лет отроду,

а Клод Лоррен умер за полстолетия до рождения Рокотова. Говоря о царском живописце Ушакове и об его эстетической дискуссии с Иосифом Владимировым, которого автор почему-то называет просто Иосифом, она пишет: «Неизвестно, что Ушаков ответил Иосифу»... Это непонятное упущение, — ответ Ушакова хорошо известен; даже в маленьких монографиях об Ушакове можно найти, что в ответ Владимирову Ушаков написал «Слово к люботщателям иконного писания», в котором он перечисляет все свободные художества и называет главным из них живопись. Так как сочинение Ушакова является к тому же одним из первых русских произведений по вопросам живописи и эстетики, то тем досаднее, что автор о нем не упоминает.

Но, несмотря на попадающиеся недочеты, книжка Тамары Райс, написанная с любовью к русскому искусству и его творцам, откроет иностранному читателю мало ему знакомый мир и будет им прочитана с большой пользой.

Вера К-ая

В следующей книге «Нового Журнала» будут напечатаны отзывы о следующих книгах:

Сборники стихов Г. Иванова, И. Чиннова и др. W Weidle, "La Russie absente et presente"; Boris Shub, "The Choice".

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

•

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.
Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

•

Адрес редакции и конторы:
Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка